Я встретил Вас...
Пушкин и любовь
Анна Керн
Чудное мгновенье
Дневник музы Пушкина

SHOUT
SHARE IT

Annotation

Имя Анны Петровны Керн обессмертил Пушкин своим лирическим шедевром «Я помню чудное мгновенье». Общество этой незаурядной, редкого обаяния женщины любили Пушкин и Глинка, Дельвиг и Веневитинов… Какой она была, реальная Анна Керн, из рода состоятельного чиновного дворянства, в замужестве Маркова-Виноградская? Каким она видела боготворившего ее русского гения? Какие чудные мгновенья испытала в жизни, не всегда благосклонной к ней? Как нельзя лучше об этом свидетельствуют страницы ее собственных воспоминаний и дневников, которые читаются как увлекательный роман.

- Анна Петровна Керн
  - Воспоминания о Пушкине
  - Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке
  - Дельвиг и Пушкин
  - Три встречи с императором Александром Павловичем
  - Из воспоминаний о моем детстве
  - Дневник для отдохновения,
  - Письма А. П. Керн к Пушкину и Пушкина к А. П. Керн
  - Примечания
    - Воспоминания о Пушкине
    - Воспоминания о Пушкине, Дельвиге, Глинке
    - Дельвиг и Пушкин
    - Три встречи с императором Александром Павловичем
    - Из воспоминаний о моем детстве
    - Дневник для отдохновения,
    - Письма А. П. Керн к Пушкину и Пушкина к А. П. Керн
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35

Анна Петровна Керн
Чудное мгновенье. Дневник музы Пушкина

Воспоминания о Пушкине

Вам захотелось, почтенная и добрая Е.Н., узнать некоторые подробности моего знакомства с Пушкиным. Спешу исполнить ваше желание. Начну с начала и выдвину перед вами, еще кроме Пушкина, несколько лиц, вам очень знакомых и всем известных.

Я воспитывалась в Тверской губернии, в доме родного деда моего по матери, вместе с двоюродною сестрою моею, известною вам Анною Николаевною Вульф, до 12 лет возраста. В 1812 г. меня увезли от дедушки в Полтавскую губернию, а 16 лет выдали замуж за генерала Керна.

В 1819 г. я приехала в Петербург с мужем и отцом, который, между прочим, представил меня в дом его родной сестры, Олениной. Тут я встретила двоюродного брата моего Полторацкого[1], с сестрами которого я была еще дружна в детстве. Он сделался моим спутником и чичероне в кругу незнакомого для меня большого света. Мне очень нравилось бывать в доме Олениных, потому что у них не играли в карты, хотя там и не танцевали, по причине траура при дворе[2], но зато играли в разные занимательные игры и преимущественно в charades en action[1], в которых принимали иногда участие и наши литературные знаменитости – Иван Андреевич Крылов, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол и другие.

В первый визит мой к тетушке Олениной батюшка, казавшийся очень немногим старше меня, встретясь в дверях гостиной с Крыловым, сказал ему: «Рекомендую вам меньшую сестру мою». Иван Андреевич улыбнулся, как только он умел улыбаться, и, протянув мне обе руки, сказал: «Рад, очень рад познакомиться с сестрицей». На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина[3] и не заметила его: мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев[4] и другие. Не помню, за какой-то фант Крылова заставили прочитать одну из его басен. Он сел на стул посередине залы; мы все столпились вкруг него, и я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего Осла. И теперь еще мне слышится его голос и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес: «Осел был самых честных правил!»[5]

В чаду такого очарования мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и, когда я держала корзинку с цветами, Пушкин, вместе с братом

Александром Полторацким, подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал: «Et c'est sans doute Monsieur qui fera l'aspic?[2]» Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла.

После этого мы сели ужинать. У Олениных ужинали на маленьких столиках, без церемоний и, разумеется, без чинов. Да и какие могли быть чины там, где просвещенный хозяин ценил и дорожил только науками и искусствами? За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как, например: «Est-il permis d'être ainsi jolie![3]» Потом завязался между ними шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады. Спроси у m-me Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. «Ну, как же ты теперь, Пушкин?» – спросил брат. «Je me ravise[4],– ответил поэт, – я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины…»

Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я уезжала и брат сел со мною в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами.

Впечатление его встречи со мною он выразил в известных стихах:

Я помню чудное мгновенье,

и проч.

Вот те места, в 8-й главе Онегина[6], которые относятся к его воспоминаниям о нашей встрече у Олениных:

…Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал,
К хозяйке дама приближалась…
За нею важный генерал.
Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязанья на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей;
Все тихо, просто было в ней.
Она, казалось, верный снимок
Du comme il faut… прости,
Не знаю, как перевести!

К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей,
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей,
Девицы проходили тише
Пред ней по зале: и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал
. . . .
Но обратимся к нашей даме.
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
. . . .
Сомненья нет, увы! Евгений
В Татьяну, как дитя, влюблен.
В тоске любовных помышлений
И день и ночь проводит он.
Ума не внемля строгим пеням,
К ее крыльцу, к стеклянным сеням,
Он подъезжает каждый день,
За ней он гонится, как тень;
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок поднимет ей!

Прожив несколько времени в Дерпте, в Риге, в Пскове, я возвратилась в Полтавскую губернию, к моим родителям. В течение 6 лет я не видела Пушкина, но от многих слышала про него, как про славного поэта, и с жадностью читала: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Разбойники» и 1-ю главу «Онегина»[7], которые доставлял мне сосед наш Аркадий Гаврилович Родзянко, милый поэт, умный, любезный и весьма симпатичный человек. Он был в дружеских отношениях с Пушкиным и имел счастие принимать его у себя в деревне Полтавской губернии, Хорольского уезда. Пушкин, возвращаясь с Кавказа, прискакал к нему с ближайшей станции, верхом, без седла, на почтовой лошади, в хомуте…[8]

Во время пребывания моего в Полтавской губернии я постоянно переписывалась с двоюродною сестрою моею, Анною Николаевною Вульф, жившею у матери своей в *Тригорском*,

Псковской губернии, Опочецкого уезда, близ деревни Пушкина *Михайловского*.

Она часто бывала в доме Пушкина[9], говорила с ним обо мне и потом сообщала мне в своих письмах различные его фразы; так, в одном из них она писала: «Vous avez produit une vive impression sur Pouchkine à votre rencontre, chez Olenine; il dit partout: elle était trop brillante»[5]. В одном из ее писем Пушкин приписал сбоку, из Байрона: «Une image qui a passé devant nous, que nous avons vue et que nous ne reverrons jamais»[6]. Когда же он узнал, что я видаюсь с Родзянко, то переслал через меня к нему письмо, в котором были расспросы обо мне и стихи:

Наперсник Феба иль Приапа,
Твоя соломенная шляпа
Завидней, чем иной венец,
Твоя деревня Рим, ты папа,
Благослови ж меня, певец!

Далее в том же письме он говорит: «Ты написал «Кохлачку, Баратынский Чухонку, я Цыганку, что скажет Аполлон?» и проч. и проч.[10], дальше не помню, неверно цитировать не хочу. После этого мне с Родзянко вздумалось полюбезничать с Пушкиным, и мы вместе написали ему шуточное послание в стихах. Родзянко в нем упоминал о моем отъезде из Малороссии и о несправедливости намеков Пушкина на любовь ко мне. Послание наше было очень длинно, но я помню только последний стих:

Прощайте, будьте в дураках!

Ответом на это послание были следующие стихи, отданные мне Пушкиным[11], когда я через месяц после этого встретилась с ним в Тригорском.

Вот они:

Ты обещал о романтизме,
О сем Парнасском афеизме
Потолковать еще со мной;
Полтавских муз поведать тайны,—
А пишешь лишь об ней одной.
Нет, это ясно, милый мой,
Нет, не влюблен Пирон Украины.
Ты прав, что может быть важней
На свете женщины прекрасной?

Улыбка, взор ее очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной;
Поговорим опять об ней.
Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей,
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу,
Не наведет она зевоту.
Дай бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту!
Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода,
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа…
А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы:
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви.

А. Пушкин Михайловское.

Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки моей, в Тригорском, в 1825 г.[12] в июне месяце. Вот как это было. Мы сидели за обедом и смеялись над привычкою одного г-на Рокотова[13], повторяющего беспрестанно: «Pardonnez ma franchise» и «Je tiens beaucoup à votre opinion»[7]. Как вдруг вошел Пушкин с большой, толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол; он обедал у себя, гораздо раньше, и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками, chien-loop[8]. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость видна была в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться; он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, – и

нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Раз он был так нелюбезен, что сам в этом сознался сестре, говоря: «Ai-je été assez vulgaire aujoud'hui![9]» Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его… Так, один раз мы восхищались его тихою радостью, когда он получил от какого-то помещика при любезном письме охотничий рог на бронзовой цепочке, который ему нравился. Читая это письмо и любуясь рогом, он сиял удовольствием и повторял: «Charmant! Charmant![10]» Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров[14]. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в Подснежнике. Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество. Однажды с этою целью явился он в Тригорское с своею большою черною книгою, на полях которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих «Цыган»[15]. Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу!.. Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения; он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих «Цыганах»:

И голос шуму вод подобный.

Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское[16]. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июньская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах: тетушка с сыном в одном; сестра, Пушкин и я в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так добродушно веселым и любезным. Он шутил без острот и сарказмов; хвалил луну, не называл ее глупою[17], а говорил: «J'aime la lune quand elle éclaire un beau visage»[11], хвалил природу и говорил, что он торжествует, воображая в ту минуту, будто Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных, а он уехал со мною; это был намек на то, как он завидовал при нашей первой встрече А. Полторацкому, когда тот уехал со мною. Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в

старый, запущенный сад, «Приют задумчивых дриад»[18], с длинными аллеями старых деревь, корни которых, сплетясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавши туда вслед за нами, сказала: «Mon cher Pouchkine, faites les honneurs de votre jardin à Madame»[12]. Он быстро подал мне руку и побежал скоро, скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Подробностей разговора нашего не помню; он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно и в конце разговора сказал: «Vous aviez un air si virginal; n 'est ce pas que vous aviez sur vous quelque chose comme une croix?»[13]

На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрою Анной Николаевной Вульф. Он пришел утром и на прощанье принес мне экземпляр 2-й главы Онегина[19], в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами:

Я помню чудное мгновенье

и проч. и проч.

Когда я сбиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, который их поместил в своих Северных цветах. Михаил Иванович Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя[20].

Во время пребывания моего в Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова:

Ночь весенняя дышала
Светлоюжною красой,
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной, и проч.[21]

Мы пели этот романс Козлова, на голос «Benedetto, sia la madre»[14], баркаролы венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку и Писал в это время Плетневу: «Скажи старцу Козлову, что здесь есть одна прелесть, которая поет его ночь. Как жаль, что он ее не увидит! дай бог ему ее слышать!»[22]

Итак, я переехала в Ригу. Тут гостили у меня сестра,

приехавшая со мною, и тетушка со всем семейством. Пушкин писал из Михайловского к ним обеим; в одном из своих писем тетушке он очертил мой портрет[23] так:

«*Хотите знать, что такое г-жа К…? – она изящна; она все понимает; легко огорчается и так же легко утешается; у нее робкие манеры и смелые поступки, – но при этом она чудо как привлекательна*»[15].

Его письмо к сестре очень забавно и остро, выписываю здесь то, что относилось ко мне:

«*Все Тригорское распевает: не мила ей прелесть ночи, и сердце мое сжимается, слушая эту песню. Вчера я четыре часа сряду говорил с Алексисом; никогда еще не было у нас такого длинного разговора. Что же вдруг соединило нас? Скука? Сродство чувств? Право, и сам не знаю. Каждую ночь я гуляю в своем саду и говорю себе: «Здесь была она… камень, о который она споткнулась*[1)]*, лежит на моем столе подле увядшего гелиотропа*[2)]*. Наконец я много пишу стихов. Все это, если хотите, крепко похоже на любовь, но божусь вам, что о ней и помину нет. Будь я влюблен, – я бы, кажется, умер в воскресенье от бешеной ревности, – а между тем мне просто было досадно*[3)]*. Но все-таки мысль, что я ничего не значу для нее, что, заняв па минуту ее воображение, я только дал пищу ее веселому любопытству, – мысль, что воспоминание обо мне не нагонит на нее рассеянности среди ее триумфов и не омрачит сильнее лица ее в грустные минуты, – что прекрасные глаза ее остановятся на каком-нибудь рижском фате с тем же пронзающим и сладострастным выражением, – о, эта мысль невыносима для меня… Скажите ей, что я умру от этого… нет, лучше не говорите, а то это восхитительное создание станет смеяться надо мною. Но скажите ей, что если в сердце ее не таится сокровенная нежность ко мне, если нет в нем таинственного и меланхолического влечения, – то я презираю ее – слышите ли – презираю, не обращая внимания на удивление, которое вызовет в ней такое небывалое чувство.*

21 июля».

[1)] Никакого не было камня в саду, а споткнулась я о переплетенные корни деревьев. *(Примеч. А. П. Керн.)*

[2)] Веточку гелиотропа он точно выпросил у меня. (*Примеч. А. П. Керн*)

[3)] Ему досадно было, что брат поехал провожать сестру свою в меня и сел вместе с вами в карету (*Примеч. А. П. Керн*.)

Вскоре ему захотелось завязать со мной переписку, и он написал мне следующее письмо[24]:

«*Я имел слабость просить у вас позволения писать к вам, а вы, по ветрености или кокетству, позволили мне это. Я знаю, что переписка не ведет ни к чему; но у меня нет силы устоять против искушения – иметь у себя хоть одно слово, написанное вашей хорошенькой ручкой. Ваш приезд в Тригорское произвел на меня впечатление гораздо живее и тягостнее, чем некогда наша встреча у Олениных. Теперь, в глуши моей печальной деревни, мне ничего не остается лучше, как перестать думать о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости, – вы должны бы сами желать мне этого; но ветреность всегда жестока; и вся ваша братья, вертя как попало чужие головы, восхищается сознанием, что есть на свете душа, страдающая в честь и славу вам. – Прощайте, божество; я мучусь от бешенства и целую ваши ножки… Тысячу любезностей Ермолаю Федоровичу и сердечный поклон Вульф.*

25 июля.

Я снова берусь за перо, потому что умираю от скуки и могу заниматься только вами. Надеюсь, что вы прочтете это письмо украдкой… Скажите, спрячете ли вы его опять на груди? станете ли отвечать мне подробно? Ради бога, пишите мне все, что придет вам в голову. Если вы боитесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, – переменитe почерк, подпишите какое хотите имя, сердце мое и так узнает вас. – Если слова ваши будут так же сладки, как и ваши взгляды, тогда, увы! я постараюсь поверить им, или же обмануть себя – это одно и то же. Знаете что, я перечитываю то, что написал, и стыжусь их сентиментального тона… что скажет… Анна Николаевна? Ах вы чудотворка или чудотворица!»

Получа это письмо, я тотчас ему отвечала и с нетерпением ждала от него второго письма; но он это второе письмо вложил в пакет тетушкин, а она не только не отдала мне его, но даже не показала. Те, которые его читали, говорили, что оно было прелесть как мило.

В другом письме его было:

«*Пишите мне, да побольше, и вдоль, и поперек, и по диагонали*».

Мне бы хотелось сделать много выписок из его писем; они все

были очень милы, но ограничусь еще одним:

«*Не правда ли, что в письмах я гораздо любезнее, чем в натуре? Но приезжайте в Тригорское, и я обещаю вам, что буду необыкновенно любезен. Я буду весел в понедельник, экзальтирован во вторник, нежен в среду, проворен и ловок в четверг, пятницу, субботу и воскресенье – я буду всем, чем вы прикажете, и целую неделю у ваших ног*».

Через несколько месяцев я переехала в Петербург и, уезжая из Риги, послала ему последнее издание Байрона, о котором он так давно хлопотал, и получила еще одно письмо, чуть ли не самое любезное из всех прочих, так он был признателен за Байрона! Не воздержусь, чтобы не выписать вам его здесь:

«*Я никак не ожидал, что вы вспомните обо мне, – и благодарю вас sa это от всей души. Теперь Байрон получил в глазах моих новую прелесть, и все героини его примут в воображении моем те черты, которых нельзя позабыть. В Гюльнаре и Лейле я буду видеть вас… Итак, вы, опять вы посылаетесь мне судьбою и проливаете очарование на мое уединение, – вы, ангел утешения… Но я неблагодарный – потому что смею еще роптать… Вы едете в Петербург – теперь мое изгнание тяжеле для меня, чем когда-либо. – Может быть, недавно случившаяся перемена сблизит меня с вами – но я не смею надеяться на это. – Надежде нельзя верить; она – хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем… Кстати, моя милая фея, что делает ваш? Знаете ли, что в его образе я представлял себе всех врагов Байрона, в том числе и жену его?*

8 декабря.

Я снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, а подчас ненавижу, что третьего дня я рассказывал о вас ужасные вещи, что я целую ваши прекрасные ручки, и снова целую их, в ожидании больших благ, – что положение мое невыносимо, что вы божественны и пр. и пр. и пр.»

С Пушкиным я опять увиделась в Петербурге, в доме его родителей, где я бывала почти всякий день и куда он приехал из своей ссылки в 1827 году, прожив в Москве несколько месяцев[25]. Он был тогда весел, но чего-то ему недоставало. Он как будто не был так доволен собою и другими, как в Тригорском и Михайловском. Я полагаю, что император Александр I, заставляя

его жить долго в Михайловском, много содействовал к развитию его гения. Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась. Друзья не покидали его в ссылке. Некоторые посещали его, а именно: Дельвиг, Баратынский и Языков[26], а другие переписывались с ним, и он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей.

Тотчас по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута[27], его родители на Фонтанке, у Семеновского моста, я с отцом и сестрою близ Обухова моста[28], и он иногда заходил к нам, отправляясь к своим родителям. Мать его, Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, гордилась им и была очень рада и счастлива, когда он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник. В год возвращения его из Михайловского именины[29] свои праздновал он в доме родителей, в семейном кружку и был очень мил. Я в этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности. После обеда Абрам Сергеевич Норов[30], подойдя ко мне с Пушкиным, сказал: «Неужели вы ему сегодня ничего не подарили, а он так много вам писал прекрасных стихов?» – «И в самом деле, – отвечала я, – мне бы надо подарить вас чем-нибудь: вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне». Он взял кольцо, надел на свою маленькую, прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое. В этот вечер мы говорили о Льве Сергеевиче, который в то время служил на Кавказе[31], и я, припомнив стихи, написанные им ко мне, прочитала их Пушкину.

Вот они:

Как можно не сойти с ума,
Внимая вам, на вас любуясь;
Венера древняя мила,
Чудесным поясом красуясь,
Алкмена, Геркулеса мать,
С ней в ряд, конечно, может стать,
Но, чтоб молили и любили
Их так усердно, как и вас,
Вас спрятать нужно им от нас,
У них вы лавку перебили!

А. Пушкин

Пушкин остался доволен стихами брата и сказал очень наивно: «И он тоже очень умен». Il a aussi beaucoup d’esprit!» На

другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами и хотел было провести у меня несколько часов; но мне нужно было ехать с графинею Ивелич[32], и я предложила ему прокатиться к ней в лодке. Он согласился, и я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Триторском. Он шутил с лодочником, уговаривая его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове[33], и он сказал: «*Отчего вы позволили ему умереть? Он ведь тоже был влюблен в вас, не правда ли?*»

На это я отвечала ему, что Веневитинов оказывал мне только нежное участие и дружбу и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут, кстати, я рассказала ему о наших беседах с Веневитиновым, полных той высокой чистоты и нравственности, которыми он отличался; о желании его нарисовать мой портрет и о моей скорби, когда я получила от Хомякова[34] его посмертное изображение. Пушкин слушал мой рассказ внимательно, выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт… Вскоре мы пристали к берегу, и наша беседа кончилась.

Коснувшись светлых воспоминаний о Веневитинове, я не могу воздержаться, чтобы не выписать стихов Дельвига, написанных на смерть его в моем черном альбоме, рядом с портретом Веневитинова: они напоминают прекрасную душу так рано оставившего нас поэта.

На смерть веневитинова
Д е в а
Юноша милый! на миг ты в наши игры вмешался.
Розе подобный красой, как филомела ты пел.
Сколько любовь потеряла в тебе поцелуев и песен,
Сколько желаний и ласк новых, прекрасных, как ты!

Р о з а
Дева, не плачь! я на прахе его в красоте расцветаю.
Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим.
Ах! и любовь бы изменою душу певца отравила!
Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой[35].

Зимой 1828 года Пушкин писал Полтаву[36] и, полный ее поэтических образов и гармонических стихов, часто входил ко мне в комнату, повторяя последний, написанный им стих; так, он раз вошел, громко произнося:

Ударил бой, Полтавский бой!

Он это делал всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему, или почему-нибудь запавший ему в душу. Он, напр., в Тригорском беспрестанно повторял:

Обманет, не придет она!..[37]

Посещая меня, он рассказывал иногда о своих беседах с друзьями и однажды, встретив у меня Дельвига с женою, передал свой разговор с Крыловым, во время которого, между прочим, был спор о том, можно ли сказать: бывывало? Кто-то заметил, что можно даже сказать бывы-вывало. «Очень можно, проговорил Крылов, да только этого и трезвому не выговорить!»

Рассказав это, Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом – совершенный слепок с того уездной барышни альбома, который описал Пушкин в Онегине, и он стал в нем переводить французские стихи на русский язык и русские на французский.

В альбоме было написано:

Oh, si dans L'immortelle vie
Il existait un etre parfait.
Oh, mon aimable et douce amie,
Comme toi sans doute il est fait etc., etc.

Пушкин перевел:

Если в жизни поднебесной
Существует дух прелестный,
То тебе подобен он,
Я скажу тебе резон:
Невозможно!

Под какими-то весьма плохими стихами было написано: «Ecrit dans mon exil»[16]. Пушкин приписал:

Amour, exil[17] —
Какая гиль!

Дмитрий Николаевич Барков[38] написал одни, всем известные стихи не совсем правильно, и Пушкин, вместо перевода, написал

следующее:

Не смею вам стихи Баркова
Благопристойно перевесть
И даже имени такова
Не смею громко произнесть!

Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток, и я никогда не забуду его игривой веселости, его детского смеха, которым оглашались в тот день мои комнаты.

В подобном расположении духа он раз пришел ко мне и, застав меня за письмом к меньшой сестре[39] моей в Малороссию, приписал в нем:

Когда помилует нас бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
В тени украинских черешен.

В этот самый день я восхищалась чтением его Цыган в Тригорском и сказала: «Вам бы следовало, однако ж, подарить мне экземпляр Цыган в воспоминание того, что вы их мне читали». Он прислал их в тот же день, с надписью на обертке всеми буквами: Ее Превосходительству А.

П. Керн от господина Пушкина, усердного ее почитателя. Трактир Демут, № 10[40].

Несколько дней спустя он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня как святыня), написал на какой-то записке:

Я ехал к вам. Живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Осеребрял мой бег ретивый.

Я ехал прочь. Иные сны…
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло!

Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты,

Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души[41].

Писавши эти строки и напевая их своим звучным голосом, он, при стихе:

И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло! —

заметил, смеясь: «Разумеется, с левой, потому что ехал назад!»

Это посещение, как и многие другие, полно было шуток и поэтических разговоров.

В это время он очень усердно ухаживал за одной особой, к которой были написаны стихи: «Город пышный, город бедный…» и «Пред ней, задумавшись, стою…»[42]. Несмотря, однако ж, на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, он никогда не говорил об ней с нежностию и однажды, рассуждая о маленьких ножках, сказал: «Вот, например, у ней вот какие маленькие ножки, да черт ли в них?» В другой раз, разговаривая со мною, он сказал: «Сегодня Крылов просил, чтобы я написал что-нибудь в ее альбом». – «А вы что сказали?» – спросила я. «А я сказал: Ого!» В таком роде он часто выражался о предмете своих воздыханий.

Когда Дельвиг с женою уехали в Харьков[43], я с отцом и сестрою перешла на их квартиру. Пушкин заходил к нам узнавать о них и раз поручил мне переслать стихи к Дельвигу, говоря: «Да смотрите, сами не читайте и не заглядывайте».

Я свято это исполнила и после уже узнала, что они состояли в следующем:

Как в ненастные дни, собирались они
Часто.
Гнули, бог их прости, от пятидесяти
На сто.
И отписывали, и приписывали
Мелом.
Так в ненастные дни, занимались они
Делом[44].

Эти стихи он написал у князя Голицына, во время карточной игры, мелом на рукаве. Пушкин очень любил карты и говорил,

что это его единственная привязанность. Он был, как все игроки, суеверен, и раз, когда я попросила у него денег для одного бедного семейства, он, отдавая последние 50 руб., сказал: «Счастье ваше, что я вчера проиграл».

По отъезде отца и сестры из Петербурга я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвиг[45], и была свидетельницею свидания его с Пушкиным. Последний, узнавши о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия; они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях.

В эту зиму Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его: Лангер, князь Эристов, Яковлев, Комовский и Илличевский[46].

Илличевский написал мне следующее послание:

Близ тебя в восторге нем,
Пью отраду и веселье,
Без тебя я жадно ем
Фабрики твоей изделье[1)].
Ты так сладостно мила,
Люди скажут: небылица,
Чтоб тебя подчас могла
Мне напоминать горчица.—
Без горчицы всякий стол
Мне теперь сухоеденье;
Честолюбцу льстит престол —
Мне ж – горчичницей владенье.
Но угодно так судьбе,
Ни вдова ты, ни девица,
И моя любовь к тебе
После ужина горчица.

Он называл меня:

Сердец царица,
Горчичная мастерица!

([1)] Отец мой имел горчичную фабрику.)

Кроме этих, приходили на вечера: Подолинский, Щастный[47], молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг,

как патриарх. Иногда также являлся Сергей Голицын[48] и Михаил Иванович Глинка, гений музыки, добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу.

Тут кстати заметить, что Пушкин говорил часто: «Злы только дураки и дети». Несмотря, однако ж, на это убеждение, и он бывал часто зол на словах, но всегда раскаивался. Так, однажды, когда он мне сказал какую-то злую фразу и я ему заметила: «*Нехорошо нападать на такого беззащитного человека*», – обезоруженный моею фразою, он искренно начал извиняться. В поступках он всегда был добр и великодушен.

На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич[49]. Вот кто был постоянно любезен и приятен. Какое бесподобное существо! Нам было всегда весело, когда он приезжал. Не помню, встречался ли он часто с Пушкиным, но знаю, что

Пушкин и Дельвиг его уважали и любили. Да что мудреного? Он был так мягок, благодушен, так ласково приноровлялся ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые он тут же сочинял, и был занимателен для всех и каждого.

Сказки в нашем кружке были в моде, потому что многие из нас верили в чудесное, в привидения и любили все сверхъестественное. Среди таких бесед многие из тогдашних писателей читали свои произведения. Так, например, Щастный читал нам Фариса, переведенного им тогда, и заслужил всеобщее одобрение. За этот перевод Дельвиг очень благоволил к нему, хотя вообще Щастный как поэт был гораздо ниже других второстепенных писателей. Среди этих последних видное место занимал Подолинский, и многими его стихами восхищался Пушкин[50]. Особенно нравились ему следующие:

Портрет
Когда, стройна и светлоока,
Передо мной стоит она,
Я мыслю: Гурия Пророка
С небес на землю сведена.
Коса и кудри темно-русы,
Наряд небрежный и простой,
И на груди роскошной бусы
Роскошно зыблются порой.
Весны и лета сочетанье
В живом огне ее очей
Рождают негу и желанье
В груди тоскующей моей.

И окончание стихов под заглавием: «К ней»:

Так ночью летнею младенца,
Земли роскошной поселенца,
Звезда манит издалека,
Но он к ней тянется напрасно…
Звезды златой, звезды прекрасной,
Не досягнет его рука.

Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена[51]:

Неумолимая, ты не хотела жить…—

передразнивая его и голос и выговор.

Зима прошла. Пушкин уехал в Москву[52] и хотя после женитьбы и возвратился в Петербург, но я не более пяти раз с ним встречалась. Когда я имела несчастие лишиться матери[53] и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал, со свойственною ему живостью, по всем соседним дворам, пока наконец нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме[54], которая принимала во мне участие; ласкал мою маленькую дочь Ольгу[55], забавляясь, что она на вопрос: «Как тебя зовут?» – отвечала: «Воля!» – и вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им, как гением добра. Пусть этим словом окончатся мои воспоминания о великом поэте.

Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке

То зеркало лишь хорошо, которое верно отражает.

При воспоминании прошедшего я часто и долго останавливаюсь на том времени, которое ознаменовалось поэтическою деятельностью Пушкина и отметилось в жизни общества страстью к чтению, литературным занятиям и, если не ошибаюсь, необыкновенною жаждою удовольствий. И тогда снова оживает передо мною доброе старое время, кипевшее избытком молодых сил. Я вижу веселый, беспечный кружок поэтов той эпохи, живший грезами о счастии и по возможности избегавший тягости труда. Из него выделяются в моем воспоминании с особенною ясностью: Пушкин, Дельвиг и Глинка.

Художественные создания Пушкина, развивая в обществе чувство к изящному, возбуждали желание умно и шумно повеселиться, а подчас и покутить. Весь кружок даровитых писателей и друзей, группировавшихся около Пушкина, носил на себе характер беспечного, любящего пображничать русского барина, быть может, еще в большей степени, нежели современное ему общество. В этом молодом кружке преобладала любезность и раздольная, игривая веселость, блестело неистощимое остроумие, высшим образцом которого был Пушкин. Но душою всей этой счастливой семьи поэтов был Дельвиг, у которого в доме чаще всего они и собирались[1].

Дельвиг соединял в себе все качества, из которых слагается симпатичная личность. Любезный, радушный хозяин, он умел счастливить всех, имевших к нему доступ.

Благодаря своему истинно британскому юмору он шутил всегда остроумно, не оскорбляя никого. В этом отношении Пушкин резко от него отличался: у Пушкина часто проглядывало беспокойное расположение духа. Великий поэт не был чужд странных выходок, нередко напоминавших фразу Фигаро: «*Ах, как они глупы, эти умные люди*», и его шутка часто превращалась в сарказм, который, вероятно, имел основание в глубоко возмущенном действительностию духе поэта. Это маленькое сравнение может объяснить, почему Пушкин не был хозяином кружка, увлекавшегося его гением. Не позволяя себе дальнейшей параллели между характерами двух друзей, перехожу к моим воспоминаниям о Дельвиге, в которых коснулся также нескольких

случаев из жизни Пушкина и Глинки, нашего гениального композитора.

Мы никогда не видали Дельвига скучным или неприязненным к кому-либо. Может быть, та же самая любовь спокойствия, которая мешала ему быть деятельным, делала его до крайности снисходительным ко всем, и даже в особенности к слугам. Они обращались с ним запанибрата, и, что бы ни сделали они, вместо выражений гнева Дельвиг говорил только «забавно». Но очень может быть, что причина его снисходительности к служащим ему людям была разумнее и глубже и заключалась в терпимости, даже в великодушии.

Дельвиг любил доставлять другим удовольствия и мастер был устраивать их и изобретать. Не помню, чтобы он один или с женою езжал когда-нибудь на балы или танцевальные вечера; но зато любил загородные поездки, катанья экспромтом или же ужин дома с хорошим вином, которым любил потчевать дам, посмеиваясь, что действие вина всегда весело и благодетельно. Между многими катаньями за город мне памятна одна зимняя поездка в Красный Кабачок[2], куда Дельвиг возил нас на вафли. Мы там нашли совершенно пустую залу и одну бедную девушку, арфянку, которая чрезвычайно обрадовалась нашему посещению и пела нам с особенным усердием. Под звуки ее арфы мы протанцевали мазурку и, освещенные луною, возвратились домой. В катанье участвовали, кроме Дельвига, жены его[3] и меня, Сомов[4], всегда интересный собеседник и усердный сотрудник Дельвига по изданию «Северные цветы», и двоюродный брат мой А.Н. Вульф.

Кроме прелести неожиданных импровизированных удовольствий, Дельвиг любил, чтобы при них были и хорошее вино, и вкусный стол. Он с детства привык к хорошей кухне; эта слабость вошла у него в привычку. Любя хорошо поесть, он избегал обедов у хозяев не гастрономов; так, однажды, по случаю обеда у Пушкиных, не любивших роскошного стола, он написал Александру Сергеевичу шуточное четверостишие, которое начинается так:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать…

Юмор Дельвига, его гостеприимство и деликатность часто наводили меня на мысль о Вальтер Скотте, с которым, казалось мне, у него было сходство в домашней жизни. В его поэтической душе была какая-то детская ясность, сообщавшая собеседникам безмятежное чувство счастия, которым проникнут был сам поэт. Этой особенностью Дельвига восхищался Пушкин. Прочитав в

Одессе романс Дельвига «Прекрасный день, счастливый день, и солнце и любовь…», в котором так много ясности и счастия, он говорил, что прочувствовал вполне это младенческое излияние поэтической души Дельвига и что самое стихосложение этого романса верно передало ему всю светлость чистого чувства любви поэта. Он восхищался притом другими пьесами Дельвига, равно как и поэзиею Баратынского. Эти три поэта были связаны глубокой симпатией. Баратынский присылал Дельвигу свои сочинения до отсылки в печать, и последний отдавал их переписывать жене. Баратынский никогда не ставил знаков препинания, кроме запятой; Дельвиг знал эту особенность своего друга и, отдавая жене стихи его, всегда говорил: «Пиши, Сонинька, до точки». Дельвиг рассказывал однажды, будто Баратынский спрашивал у него: «Что называешь ты родительным падежом?»

Дельвиг жил на Владимирской улице, в доме Кувшинникова, ныне Олферовского. По утрам он обыкновенно занимался в своем маленьком кабинете, отделенном от передней простою из зеленой тафты перегородкой. В этом кабинетике случилось однажды несчастие с песнями Беранже: их разорвал маленький щенок тернёв, и Дельвиг воспел это несчастие в юмористических стихах, из которых, к сожалению, я помню только следующие:

Хвостова кипа тут лежала,
А Беранже не уцелел!
За то его собака съела,
Что в песнях он собаку съел.

Эта песня была включена в репертуар, который распевали мы у него по вечерам целым хором. Два раза в неделю собирались к нему лицеисты – товарищи и друзья. Как веселы бывали эти беседы!..

Одно время я занимала маленькую квартиру в том же доме. Софья Михайловна, жена Дельвига, приходила по утрам в мой кабинет заниматься корректурою «Северных цветов»; потом мы вместе читали, работали и учились итальянскому языку у г. Лангера, тоже лицеиста. Остальную часть дня я проводила в семействе Дельвига. У них собирались не с одною только целью беседовать, но и читать что-нибудь новое, написанное посетителями, и услышать мнение Дельвига, пользовавшегося репутацией проницательного и беспристрастного ценителя. Во всем кружке была родственная простота и симпатия; дружба, шутка и забавные эпитеты, которые придавались чуть не каждому члену маленькой республики, могут служить характеристикою

этой детски веселой семьи.

Однажды Дельвиг и его жена отправились, взяв с собою и меня, к одному знакомому ему семейству; представляя жену, Дельвиг сказал: «Это моя жена», и потом, указывая на меня: «А это вторая». Шутка эта получила право гражданства в нашем кружке, и Дельвиг повторил ее, надписав на подаренном мне экземпляре поэмы Баратынского «Бал»: «Жене № 2-й от мужа безномерного». Кроме этого подарка на память, он написал в мой альбом свои стихи: «Дева и Роза» и «На смерть Веневитинова»[5]. В семье Дельвига я чувствовала себя как дома, а когда они уехали в Харьков, баронесса пересылала мне экспромты Дельвига. Из числа их я помню следующий:

Я в Курске, милые друзья,
И в Полторацкого таверне
Живее вспоминаю я
О деве Лизе, даме Керне!

Преданный друзьям, Дельвиг в то же время был нежен и к родным. Я помню, как ласкал он своих маленьких братьев[6], семи– и восьмилетних малюток, выписав их вскоре по возвращении своем из Харькова. Старшего, Александра, он звал классиком, а меньшего, Ивана, романтиком и под этими именами представил их однажды Пушкину. Александр Сергеевич нежно ласкал их, и когда Дельвиг объявил, что меньшой уже сочинил стихи, он– пожелал их услышать, и малютка-поэт, не конфузясь нимало, медленно и внятно произнес, положив обе ручонки в руки Пушкина:

Индиянди, Индиянди, Индия!
Индиянда! Индиянда! Индия!

Александр Сергеевич, погладив поэта по голове, поцеловал и сказал: «Он точно романтик».

Дружба Пушкина с Дельвигом так тесно соединяла их, что, вспоминая о последнем, нельзя умолчать о Пушкине, завоевавшем себе внимание всего кружка и бывшем часто предметом разговоров и даже переписки его дружных членов; так, например, незадолго до женитьбы Пушкина Софья Михайловна Дельвиг писала ко мне с дачи в город[7]: и «*Лев уехал вчера… Александр Сергеевич вернулся вчера. Говорят, влюблен больше, чем когда-нибудь, между тем почти не говорит о ней. Свадьба будет в сентябре*».

Действительно, в этот период, перед женитьбою своей, Пушкин казался совсем другим человеком. Он был серьезен, важен, молчалив, заметно было, что его постоянно проникало сознание великой обязанности счастливить любимое существо, с которым он готовился соединить свою судьбу, и, может быть, предчувствие тех неотвратимых обстоятельств, которые могли родиться в будущем от серьезного и нового его шага в жизни и самой перемены его положения в обществе. Встречая его после женитьбы всегда таким же серьезным, я убедилась, что в характере поэта произошла глубокая, разительная перемена. Но мои воспоминания в доме Дельвига относятся более ко времени первой беспечной поры жизни Пушкина. Помню, как он, узнав о возвращении Дельвига из Харькова и спеша обнять его, вбежал на двор; помню его развевающийся плащ и сияющее радостию лицо… Другое воспоминание мое о Пушкине относится к свадьбе сестры его[8]. Дельвиг был тогда в отлучке. В его квартире я с Александром Сергеевичем встречала и благословляла новобрачных. Расскажу подробно это обстоятельство.

Мать Пушкина, Надежда Осиповна, вручая мне икону и хлеб, сказала: «*Замените меня, мой друг, вручаю вам образ, благословите им мою дочь!*» Я с любовью приняла это трогательное поручение и, расспросив о порядке обряда, отправилась вместе с Александром Сергеевичем в старой фамильной карете его родителей на квартиру Дельвига, которая была приготовлена для новобрачных. Был январь месяц, мороз трещал страшный, Пушкин, всегда задумчивый и грустный в торжественных случаях, не прерывал молчания. Но вдруг, стараясь показаться веселым, вздумал заметить, что еще никогда не видал меня одну*: «А ведь мы с вами в первый раз вдвоем, сударыня»*; мне показалось, что эта фраза была внушена желанием скрыть свои размышления по случаю важного события в жизни нежно любимой им сестры; а потому, без лишних объяснений, я сказала только, что этот необыкновенный случай отмечен сильным морозом. «*Вы правы, 27 градусов*», – повторил Пушкин, плотнее закутываясь в шубу. Так кончилась эта попытка завязать разговор и быть любезным. Она уже не возобновилась во всю дорогу. Стужа давала себя чувствовать, и в квартире Дельвига, долго дожидаясь приезда молодых, я прохаживалась по комнате, укутываясь в кацавейку; по поводу ее Пушкин сказал, что я похожа в ней на царицу Ольгу. Поэт старался любезностью и вниманием выразить свою благодарность за участие, принимаемое мною в столь важном событии в жизни его сестры.

Он всегда сочувствовал великодушному порыву добрых стремлений. Так, однажды отец госпожи Н.[9], рассказывая

Пушкину про случай с одним семейством, при котором необходимо было присутствие близкого человека, осуждал неблагоразумную чувствительность своей дочери, которая прямо с постели, накинув салоп, побежала к нуждавшимся в ее помощи, сказал: «И эта дура, несмотря на морозную ночь, в одной почти рубашке побежала через Фонтанку!»

Пушкин сидел на диване, поджав ноги; услышав этот рассказ, он вскочил и, схватив обе руки у госпожи П., с жаром поцеловал их. Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное. Сам он почти никогда не выражал чувств; он как бы стыдился их и в этом был сыном своего века, про который сам же сказал, что чувство было дико и смешно[10]. Острое красное словцо – la repartie vive – вот что несказанно тешило его. Впрочем, Пушкин увлекался не одними остротами; ему, например, очень понравилось однажды, когда я на его резкую выходку отвечала выговором: «*Зачем вы на меня нападаете, ведь я такая безобидная*!» И он повторял: «*Как это верно сказано: действительно, такая безобидная!*» Продолжая далее, он заметил: «Да, с вами не весело и ссориться*, то ли дело ваша кузина, вот тут есть с кем ссориться*!

Причина того, что Пушкин скорее очаровывался блеском, нежели достоинством и простотою в характере женщин, заключалась, конечно, в его невысоком о них мнении, бывшем совершенно в духе того времени. При этом мне пришла на память еще одна забавная сцена, разыгранная Пушкиным в квартире Дельвига, занимаемой мною с семейством по случаю отсутствия хозяев. Сестра его и я сидели у окна, читая книгу. Пушкин подсел ко мне и, между прочими нежностями, сказал: «Дайте ручку, c’est si satin!», я отвечала: «Satan!» Тогда сестра поэта заметила, что не понимает, как можно отказывать просьбам Пушкина, что так понравилось поэту, что он бросился перед нею на колени; в эту минуту входит А.Н. Вульф и хлопает в ладоши… Сюда же можно отнести и отзыв поэта о постоянстве в любви, которою он, казалось, всегда шутил, как и поцелуем руки; но это, по всей вероятности, было притворною данью веку… Однажды, говоря о женщине, которая его страстно любила[11], он сказал: «*И потом, знаете ли, нет ничего безвкуснее долготерпения и самоотверженности*». Но, как я уже заметила, женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. С того времени он на все смотрел серьезнее, а все-таки остался верен привычке своей скрывать чувство и стыдиться его. В ответ на поздравление

с неожиданною способностью женатым вести себя как прилично любящему мужу, он шутя отвечал: «*Я просто хитер*». После женитьбы я видела его раз у его родителей во время их обеда. Он сидел за столом, но ничего не ел. Старики потчевали его то тем, то другим кушаньем, но он

«Настоящий атлас!» – «Сатана!» (Игра слов: satin – атлас, satan – сатана (*фр*.)

от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом своего батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему, предлагая гуся с кислою капустою: «*Это шотландское блюдо*», заметив при этом, что он никогда ничего не ест до обеда, а обедает в 6 часов. Быв холостым, он редко обедал у родителей, а после женитьбы почти никогда. Когда же это случалось, то после обеда на него иногда находила хандра. Однажды в таком мрачном расположении духа он стоял в гостиной у камина, заложив назад руки… Подошел к нему Илличевский и сказал:

> У печки погружен в молчаньи,
> Поднявши фрак, он спину грел,
> И никого во всей компаньи
> Благословить он не хотел[12].

Это развеселило Пушкина, и он сделался олень любезен. Потом я его еще раз встретила с женою у родителей, незадолго до смерти матери[13]. Она уже тогда не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам; Пушкины сидели рядом на маленьком диване у стены. Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовию; а Александр Сергеевич, не спуская глаз с матери, держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как бы выражая тем ласку к жене и ласку к матери; он при этом ничего не говорил.

Кроме Пушкина, еще один из друзей Дельвига, еще одна симпатичная личность влечет к себе мои воспоминания. Это наш поэт-музыкант Глинка; я познакомилась с ним в 1826 году.

В это время еще немногие живали летом на дачах. Проводившие его в Петербурге любили гулять в Юсуповом саду, на Садовой. Однажды, гуляя там в обществе двух девиц и Александра Сергеевича Пушкина[14], я встретила генерала Базена[15], моего хорошего знакомого. Он пригласил нас к себе на чай и при этом представил мне Глинку, говоря: «*Прекрасного чаю обещать не стану, ибо не знаю в нем толку, но зато обещаю чудесное общество: вы услышите Глинку, одного из первых наших пианистов*». Тогда молодой человек, шедший в стороне, сделал шаг вперед, грациозно поклонился и пошел подле Пушкина, с

которым был уже знаком и прежде[16]. Лишь только мы вошли в квартиру Базена, очень просто меблированную, и уселись на диван, хозяин предложил Глинке сыграть что-нибудь. Нашему хозяину очень хотелось, чтобы Глинка импровизировал, к чему имел гениальные способности, а потому Базен просил нас дать тему для предполагаемой импровизации и спеть какую-нибудь русскую или малороссийскую песню. Мы не решались, и сам Базен запел малороссийскую простонародную песню с очень простым мотивом:

Наварила, напекла
Не для Грицки, для Петра;
Ой лих, мой Петрусь,
Бело лично, черноусь!

Глинка опять поклонился своим выразительным, почтительным манером и сел за рояль. Можно себе представить, но мудрено описать мое удивление и восторг, когда раздались чудные звуки блистательной импровизации; я никогда ничего подобного не слыхала, хотя и удавалось мне бывать в концертах Фильда[17] и многих других замечательных музыкантов; такой мягкости и плавности, такой страсти в звуках и совершенного отсутствия деревянных клавишей я никогда ни у кого не встречала!

У Глинки клавиши пели от прикосновения его маленькой ручки. Он так искусно владел инструментом, что до точности мог выразить все, что хотел; невозможно было не понять того, что пели клавиши под его миниатюрными пальцами.

В описываемый вечер он сыграл, во-первых, мотив, спетый Базеном, потом импровизировал блестящим, увлекательным образом чудесные вариации на тему мотива, и все это выполнил изумительно хорошо. В звуках импровизации слышалась и народная мелодия, и свойственная только Глинке нежность, и игривая веселость, и задумчивое чувство. Мы слушали его, боясь пошевелиться, а по окончании оставались долго в чудном забытьи.

Впоследствии Глинка бывал у меня часто; его приятный характер, в котором просвечивалась добрая, чувствительная душа нашего милого музыканта, произвел на меня такое же глубокое и приятное впечатление, как и музыкальный талант его, которому равного до тех пор я не встречала.

Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою: «Я помню чудное мгновенье…», чтоб положить их на музыку, да и затерял их, бог ему прости! Ему хотелось сочинить на эти слова

музыку, вполне соответствующую их содержанию, а для этого нужно было на каждую строфу писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом.

Из числа моих знакомых Глинка посещал П(ушки)ных, бывал у Базена, своего доброго начальника, и у барона Дельвига, большого любителя музыки и почитателя Глинки. Там он часто услаждал весь наш кружок своими дивными вдохновениями. К нему присоединялись иногда князь Сергей Голицын, М. Л. Яковлев, а иногда и все мы хором пели какой-нибудь канон, бравурный модный романс или баркаролу. Для тех, которые не знали коротко Глинки, скажу, что он был один из приятнейших и вместе добродушнейших людей своего времени, и хотя никогда не прибегал к злоречию насчет ближнего, но в разговоре у него было много веселого и забавного. Его ум и сердечная доброта проявлялись в каждом слове, поэтому он всегда был желанным и приятным гостем, даже без музыки. В этом отношении он мог подать руку своему почтенному покровителю и начальнику Базену, отличавшемуся в своем тесном, дружеском кружке самою доброжелательной любезностью.

Сообществом их обоих и умной задушевной беседой дорожили все их друзья и знакомые. Глинка был чрезвычайно нервный, чувствительный человек, и ему было всегда то холодно, то жарко, чаще всего грустно, так что маленькая дочь моя иначе не называла его, как «Миша Глинка, которому грустно». Являясь ко мне, он просил иногда позволения надеть мою кацавейку и расхаживал в ней, как в мантии, или, бывало, усаживался в угол на диване, поджавши ножки. Летом, кажется, в 1830 году, когда я жила вместе с Дельвигом на даче у Крестовского перевоза[18], Глинка бывал у нас очень часто и своею веселостью вызывал на разные parties de plaisir[18]. Под таким влиянием однажды Дельвигу, любившему доставлять себе и другим удовольствия, часто весьма замысловатые, вздумалось совершить прогулку целым обществом на Иматру[19]. Не долго размышляя, а по-русски: вздумано, сделано! – мы проворно собрались в дорогу, отыскали напрокат допотопную линейку с черным кожаным фартуком и таким же верхом на столбиках; в одно прекрасное июньское утро уселись в нее, по возможности комфортабельно, и поехали.

Общество наше состояло из барона Дельвига, жены его, постоянного нашего посетителя Ореста Михайловича Сомова и меня. При баронессе была ее горничная. Подорожная для предотвращений задержки в лошадях была взята на мое имя, как генеральши, а барон и прочие играли роль будущих[20]. Глинка, без которого нам не хотелось наслаждаться удовольствиями этого путешествия, но которого задерживали на время дела, не мог

выехать вместе с нами и должен был нас догнать на половине дороги. Мудрено было придумать для приятного путешествия условия лучше тех, в каких мы его совершили: прекрасная погода, согласное, симпатичное общество и экипаж, как будто нарочно приспособленный к необыкновенно быстрой езде по каменистой гладкой дороге, живописно извивающейся по горам, над пропастями, озерами и лесами вплоть до Иматры, делали всех нас чрезвычайно веселыми и до крайности довольными. Конечно, дребезжание экипажа и слишком шибкая езда (по 20 верст в час) не позволяли нам разговаривать, но это и не предстояло большой необходимости. Очаровательные пейзажи, один за другим сменяющиеся то с одной, то с другой стороны линейки, возбуждали в нас такое восхищение, которое только и может быть выражено коротенькими восторженными восклицаниями, – и мы беспрестанно высказывали свои впечатления возгласами: «Ах, посмотрите, какая прелесть!», «А это-то, по моей стороне – чудо! какая роща! какая удивительная трава!» – и проч.

Одна картина сменяла другую, и каждая в своем роде отличалась красотою. Тут являлась между скалистыми уступами мрачная пропасть, там овраг, увенчанный и усыпанный цветами и ягодами, а впереди нас, и сбоку, и над головами выдвигались и висели целые утесы. Так, по дороге гладкой, как стол, мчались мы, окрыленные радостными мыслями, упоенные красотами горной природы! Глинка сдержал свое слово и догнал нас на половине пути; он приехал с своим товарищем, с которым жил на одной квартире[21], молодым человеком, очень сентиментальным.

Так как мы все не могли поместиться в линейке, то двое из нас, исключая, однако же, меня и Дельвига, самых ленивых из всей компании, по очереди ехали в чухонской тележке на двух колесах. Кроме поэтического настроения путешественников и высокого наслаждения изумительными красотами природы, наше путешествие имело много юмористического от разных дорожных приключений, встреч и смешных анекдотов, случавшихся на пути. К тому же влияние горного воздуха делало нас остроумнее, любезнее, и мы пользовались всем, чтоб посмеяться и пошутить. Барона Дельвига я никогда не видала таким милым и счастливым, а Глинка совсем забыл, что ему бывает грустно.

Лишь только мы выехали из Петербурга, как и начали смеяться; ямщик, везший нас до первой станции, на каждом повороте обращался к нам с вопросом – куда ехать? И когда мы спросили у него, как же он нанялся везти и не знает, куда ехать, он отвечал: «Так точно, я с тем и взялся, что не знаю куда». На границе уезда таможенный пристав осматривал наш багаж (которого, разумеется, не было: мы ехали на одни сутки), и я

спросила у него, как зовут его начальника, офицера. Он сказал какое-то имя и отчество, я заметила ему, что не имя, а фамилию офицера я спрашиваю. «А, фамилию? Фамилия его Настасья Ивановна!»[22]. Я, разумеется, донесла об этом важном известии моим спутникам, и нам опять было весело всю следующую станцию; жаль, что я теперь не помню названия всех станций, – а были преинтересные! Особенно смешили нас надписи на почтовых дворах, часто весьма замысловатые. Орест Михайлович Сомов описал это путешествие в «Литературной газете», издаваемой бароном Дельвигом, кажется, в 1830 или 31-м году. Хорошенько не помню. Помню, однако ж, что он, т. е. Сомов, назвал нас, меня и баронессу Дельвиг, «изящными произведениями природы».

Если хотите, можете справиться в «Литературной газете» того времени.

Таким образом мы приехали в Выборг, город, знаменитый своими кренделями, живописным замком и гостиницею синьора Мотти, у которого мы и остановились. При виде важной осанки спутников ее – то есть моего – превосходительства и такой большой свиты синьор Мотти принял нас с почестями, достойными каких-нибудь владетельных принцесс. Его итальянская напыщенная вежливость, подобострастные манеры и услужливость, несмотря на докуку, смешили нас до слез, а некоторых почти до истерики. Он состряпал нам ужин на славу: все было отлично приготовлено, в заключение же он явился сам с поклоном и с ужимками, ставя на стол два огромные канделябра. Вместе с ним вошла миловидная девушка с корзинкой свежих кренделей и на вопрос: точно ли они выборгские, – простодушно уверяла, что действительно выборгские. Мы долго шутили с Мотти, с нею, наконец разошлись спать.

Имея привычку не спать летом по ночам, я и эту ночь просидела у окна, любуясь видом на залив, прислушиваясь к плеску тихих волн его и вздрагивая по временам от успокоительных возгласов городского сторожа, вскрикивавшего иногда под самым окном: «Спите, добрые граждане, я вас не бужу!» На заре появился на берегу залива, почти против окна, у которого я сидела, охотник с ружьем, он отвязал челнок и поплыл куда-то за дичью. Этим началась дневная деятельность в городе; вскоре и наша компания собралась в дорогу и, напившись горячего, отправилась к цели нашей поэтической прогулки.

Пополудни, часу в 4-м пли в 5-м, мы услышали гул и шум Иматры и, несмотря что были голодны, испечены солнцем и запылены донельзя, забыли все путевые неудобства; а по предложению барона Дельвига, не доезжая до станции, вышли из

экипажа и направились пешком в ту сторону, откуда несся шум водопада, чтоб при ясном дне взглянуть на это чудо природы – на великолепную Иматру. Тропинка, ведущая к водопаду, извивается по густому дикому лесу, и мы с трудом пробирались по ней, беспрестанно цепляясь за сучья. По мере приближения нашего к водопаду его шум и гул все усиливались и наконец дошли до того, что мы не могли расслышать друг друга; несколько минут мы продолжали подвигаться вперед молча, среди оглушительного и вместе упоительного шума… и вдруг очутились на краю острых скал, окаймляющих Иматру! Пред нами открылся вид ни с чем не сравненный; описать этого поэтически, как бы должно, я не могу, но попробую рассказать просто, как он мне тогда представился, без украшений, тем более что этого ни украсить, ни улучшить невозможно. Представьте себе широкую, очень широкую реку, то быстро, то тихо текущую, и вдруг эта река суживается на третью часть своей ширины серыми, седыми утесами, торчащими с боков ее, и, стесненная ими, низвергается по скалистому крутому скату на пространстве 70 сажен в длину. Тут, встречая препятствия от различной формы камней, она бьется о них, бешено клубится, кидается в стороны и, пенясь и дробясь о боковые утесы, обдает их брызгами мельчайшей водяной пыли, которыми покрывает, как легчайшим туманом, ее берега. Но, с окончанием склона, оканчиваются ее неистовства: она опять разливается в огромное круглое озеро, окаймленное живописным лесом, течет тихо, лениво, как бы усталая; на ней не видно ни волнения, ни малейшей зыби.

При своем грандиозном падении она обтачивает мелкие камешки в разные фантастические фигуры, похожие на зверей, птиц, часы, табакерки и проч. Мы то опускались, то подымались, то прыгали на утесы, орошаемые освежительною пылью, и долго восхищались чудным падением алмазной горы, сверкающей от солнечных лучей разнообразными переливами света. На некоторых береговых камнях написаны были разные имена, и одно из них было милое и нам всем знакомое Евгения Абрамовича Баратынского[23]. Увлекшись подражанием, и мы написали там свои фамилии. Противоположный берег казался нам еще живописнее: там виднелась тропинка, усыпанная песком; тот же, где мы были, был совершенно дик, а потому, не пускаясь вдаль, как предполагали прежде, мы пошли к экипажу, чтоб, поевши чего-нибудь или напившись чаю на станции, переехать на ту сторону реки и уже при луне полюбоваться Иматрою с другого ее берега. Мы так устали от езды и восхищения, что нам необходимо было подкрепиться пищею. На весьма ветхой станции чухонской постройки спросили мы самовар и велели достать

чего-нибудь на ужин, приготовить его брались уже мы сами. Но – вообразите себе! – ничего не отыскалось нам на пропитание: ни курицы, ни даже одного яйца! По двору прохаживался весьма старый петух, но его мы не попытались добыть на жаркое; жаль было этой единой живой птицы. На все же наши вопросы касательно других съестных припасов нам говорили нет: яиц – нет, курицы – нет, молока – нет, сливок и подавно нет. Оказалась только плоховина (это, изволите видеть, рыба лоховина) и нечто вроде кваса, свадрик.

Для любителей кваса свадрик может быть очень приятным, даже очень здоровым питьем, потому что в состав его входят можжевеловые ягоды. Итак, не добившись ничего, то есть ровно ничего, для утоления голода, мы решились переехать на ту сторону Боксы, где прямо у пристани красовался довольно большой дом, называемый гостиницею.

Нам сказали, что там найдем мы и готовый обед, и молоко, и все, что угодно. С этою заманчивою перспективою мы поплыли на ту сторону реки в огромной почтовой лодке, управляемой двумя стариками гребцами – двумя харонами. Лодка наша, направляемая их старческими руками, плыла вверх по течению; это было необходимо для того, чтобы ее не отнесло в водопад. Плавание шло медленно, и чем дальше подвигались мы вверх, тем движение становилось тише, потому что быстрота реки усиливалась от близлежащих порогов; наконец, у самих порогов, лодку нашу течением стало нести к тому берегу, где виднелась гостиница; другую половину переправы мы совершили очень скоро и почти без помощи стариков, которые, направив лодку как следует, положили весла и только у пристани взялись за них, чтобы причалить. Приставши к берегу, мы заметили влево от гостиницы прехорошенький домик, и, прежде чем отправиться в знаменитую гостиницу, в которой, несомненно, надеялись найти обед, забыв голод и усталость, мы пошли к домику, чтобы им полюбоваться. И что это был за милый домик! Маленький, уютный, чистенький, осененный свежею зеленью сада, он приветливо выглядывал из окружающих его утесов, покрытых мхами, и манил к себе на ближайшую скалу послушать мелодический шум каскадов, во множестве и в разнообразных видах прыгающих вокруг него. Наглядевшись на домик, мы пошли наконец в гостиницу. «Соловья баснями не кормят», и, после всех восхищений, мы сильно чувствовали пустоту желудка, с самого утра ничем не подкрепленного. В гостинице нашлось несколько комнат с скамейками кругом; в одной из них стоял накрытый стол, а на нем – что бы вы думали?…селедки, селедки и селедки, приготовленные с молоком, и неизбежная соленая

плоховина, плавающая опять-таки в молочном соусе! Прибавьте к этому, что эти кушанья до того были отвратительны на вид, что не только решиться утолить ими голод, но и прикоснуться к ним нам и на ум не приходило. Отыскав после многих поисков живое существо, мы спросили, нет ли молока, – нам отвечали, что есть всякое, даже кислое, мы очень обрадовались, предполагая встретить любимую всеми простоквашу, с которою баронесса Дельвиг сравнивала петербургское небо. Но, увы! мы и в этом жестоко обманулись: то была не простокваша, не кислое молоко, а проквашенная, испорченная, заплесневшая зеленоватая гуща с нестерпимым запахом. Хоть бы хлеба достать! но вообразите: эти несчастные и о нем не имеют понятия; я у них не видела хлеба, он заменяется здесь, кажется, соленою и сушеною лоховиною, которую они едят походя: и в пищу и в лакомство. От этого, я думаю, и зубы у них испорчены, а около углов рта у всех белые пятна. Хотя между чухонцами и встречаются иногда красивые лица, особенно у женщин, но эти болезненные рты очень их портят.

Пока мы искали себе пищи, настал вечер, взошла луна, и мы, запив свой голод чаем, наняли тележки и поехали берегом к Иматре. У самого водопада луна выбралась из облаков и осветила прямо кипящие, бушующие волны! Эффект был неописанный! Иматра, осеребренная ее лучами, казалась чем-то фантастическим; невозможно было оторвать от нее глаз! Долго ходили мы по тропинке, усыпанной песком и грациозно извивающейся между деревьев, над клокочущей пучиной: заманчивость и обаяние такой бездны были невыразимы. В некоторых из нас не шутя на миг мелькало желание броситься в нее. Мы поняли предание о русалках и убедились, что та, которая живет в Иматре, – очаровательна! Сильнее других бездна манила к себе Ореста Михайловича Сомова; отдалясь от нас, он распростерся на одном из выдавшихся утесов и так долго на нем забылся, упиваясь росой и обаянием чарующих волн, что мы насилу могли его дозваться.

Место близ Иматры, во время нашего посещения, было почти в диком состоянии, и если проявлялись кое-где некоторые удобства, то они были так маловажны, что можно было подумать, будто сама природа устроила их. Я слышала, что потом, с нашей легкой руки, вошло в моду ездить любоваться великолепным водопадом, что около него настроили гостиницы, кофейни, разные павильоны и тем отняли всю поэзию у чудной Иматры, так что никто, никто (мне отрадно это думать) не мог уже восхищаться ее дикими, нетронутыми красотами, как восхищалось наше общество. Правду сказать, что дружное это

общество было недюжинное; в него входили: любящий, благородный, истинный поэт в душе Дельвиг и маленький, но чудный Глинка, заимствовавший, вероятно, множество оригинальных мотивов у гармонических, упоительных звуков водопада; наконец, и мы, остальные, чувствовали и понимали глубоко все красоты окрестной природы!

Возвратясь на станцию уже очень поздно, мы напились чаю и пошли спать, да так долго проспали, то есть мы, дамы, и Глинка тоже, что солнце было уже высоко, когда мы вышли на крыльцо и застали барона Дельвига, преважно заседающего за столом, накрытым белою скатертью, перед завтраком привлекательного вида. Он удосужился достать животрепещущую форель и некоторого рода сельдь, по его словам, очень вкусную; благодаря его распорядительности мы наконец могли поесть с удовольствием. Приглашая нас к завтраку, Дельвиг сказал четверостишие:

Увижу ль вас когда-нибудь,
С моею нежной половиной,
Увижу ль вас когда-нибудь,
О милый свадрик с плоховиной!

Позавтракав, мы поехали назад к Выборгу, но остановились, однако ж, чтобы еще в третий раз полюбоваться Иматрой. Солнце сияло прямо в лоно реки, водопад искрился золотом и огнем и был ослепителен: больно было смотреть. Прощай, Иматра, я, вероятно, уж больше тебя не увижу! Я прощаюсь с тобой навсегда, а когда мы были у берегов твоих, то каждый из нас давал себе и другим слово непременно опять когда-нибудь к тебе приехать!

Мы отправились обратно к линейке, а Глинка поехал с Сомовым в тележке. На одной станции, покуда перепрягали лошадей, мы заметили, что Михаил Иванович с карандашом в руке и листком бумаги, стоя за полуразрушенным сараем, что-то пишет, а его возница перед ним поет какую-то заунывную песню. Передав бумаге, что ему нужно было, он подвел чухонца к нам и заставил его пропеть еще раз свою песню. Из этого мурлыканья чухонца Глинка выработал тот самый мотив, который так ласково и грустно звучит в арии Финна, в опере «Руслан и Людмила». Надобно было слышать потом, как Глинка играл этот мотив с вариациями и что он сделал из этих нескольких полудиких и меланхолических тонов! Когда Глинка однажды спел арию Финна в присутствии Сергея Львовича Пушкина, то старик при стихе:

По бороде моей седой

Слеза тяжелая скатилась,—

расплакался и бросился обнимать Глинку, и у всех присутствующих навернулись на глазах слезы… я не помню наслаждения выше того, какое испытала я в этот вечер!

Мы приехали в Выборг под вечер, но Дельвиг не дал нам перевести духа и потащил осматривать редкости Выборга и сад барона Николаи. Несмотря на всю усталость нашу, мы пошли туда пешком, в сопровождении дочери синьора Мотти, высокой черной итальянки, которая с охотою взялась нас туда проводить. Лишь только мы вступили в этот очаровательный сад, называемый, кажется, владельцем *Мой отдых*, усталость была забыта, и восхищение сопровождало каждый наш шаг. Пройдя мимо разных хозяйственных построек, мы очутились перед обширным прекрасным лугом с изумрудною шелковою травою и за ним на высоком холме увидели прелестный замок, обогащенный затейливыми и вместе грациозными украшениями архитектурного искусства. Он нам казался дорогой изящной игрушкой – самой тонкой работы; на лугу разбросаны

кусты с душистыми роскошными цветами; тут же на самой средине стоит одна, всего только одна береза; но какая?., просто прелесть! большущая, развесистая, способная тенью своей защитить целое общество от палящего солнца; ветви с каждой стороны падали как-то ровно и, расширяясь книзу, придавали ей вид зеленеющей пирамиды; вокруг нее ни лавочек, ни скамеек, никаких украшений, никаких затей. Она, как великолепная красавица, отошла от роскошного замка, остановилась, глядит издали, чтобы вдоволь налюбоваться им и выказать на просторе и свою красоту. Позади замка раскидывается роща. При входе в нее, в тени группы разнообразных деревьев, над источником нас ожидала замечательной красоты мраморная наяда.

Проводница рассказывала нам, что вода источника славится целебною силою, вкусом и свежестью; действительно, я такой вкусной воды отроду не пивала. Она холодна, чиста, как горный хрусталь, и много имеет в себе живительного. У источника роскошный куст роз; далее, у подошвы горы, на которой построен замок, виднеется темная бесконечная аллея; ее образуют с одной стороны огромные нависшие над нею утесы, с другой – высокие деревья, которых вершины, склоняясь к оконечностям утесов, составляют темный зеленый свод.

Утесы эти, покрытые, по большей части, разноцветными мхами и ползучими растениями, совершенно дики и местами изрыты пещерами, внутри которых каменные плиты доставляют

возможность отдохновения. Эта аллея – рай в жаркий день. В конце ее открывается море – море без конца. По кремнистому его берегу извивается тропинка, усыпанная песком. По этой тропинке есть несколько прелестных мест, в которых природа так изящно соединилась с искусством, что трудно оторваться от них. Одно осталось у меня в памяти: это грот, или просто пещера, приютившаяся под скалою на самом берегу моря. В расщелинах же скалы, среди мхов и диких камней, растут пышные розы. Много вкуса и любви к делу было в человеке, умевшем так прекрасно украсить этот уголок, не изуродовав природы, как это часто делается. Он, так сказать, только приголубил, приласкал ее и тем помог ей выказать еще рельефнее все свои красоты.

Тут же в море, в двух шагах от берега, островок, среди которого надгробный памятник владельца. Туда нас не пустили. Должно быть, хорошо там отдыхать тому, кто жил здесь. На все наши восторги и возгласы синьора Мотти заметила, что здесь было бы еще лучше, еще веселее, если бы играла военная музыка. На возвратном пути из сада я едва уже тащилась, да и не мудрено: две версты туда и назад, а в саду, может быть, версты три выходила! Это хоть кому впору в жаркий день, а мне и подавно: я никогда ходить не умела. Все наши давно пришли и совсем уже смерклось, когда я с своей итальянкой добралась до гостиницы. Подходя к ней, я увидела в нижнем этаже за прилавком синьора Мотти, наливающего что-то пенящееся из бутылки; мне очень захотелось пить, и я спросила у синьоры, что это такое? «Это папенька пьет свадрик своего изделья», – сказала мне спутница. «Пожалуйста, попросите у него для меня». И синьор Мотти, исполняя мое желание, подал мне полный стакан пенящейся живительной влаги в окно. Признаюсь, я никогда ничего не пила с таким удовольствием и часто, вспоминая это питье, дивлюсь, как в Петербурге не вздумают его приготовлять: это было бы гораздо здоровее, приятнее и дешевле всякого пива. Мы переночевали еще раз в Выборге и возвратились в Петербург 1-го июля, в день рождения покойной государыни императрицы Александры Федоровны. Я помню это потому, что, усталые от всего испытанного, попеченные солнцем, запыленные, мы спешили домой освежиться и отдохнуть, но, вместо желанного покоя, попали в ряды тянувшихся на гулянье экипажей. Нас на Самсоньевском мосту поворотили назад и в запыленном, истерзанном виде заставили прокатиться по островам между блестящих городских колясок и карет и разряженных дам. При этом случае нас очень насмешил один полицейский чиновник, которого мы просили, ради бога, пропустить нас. На все наши просьбы он отвечал только: «Так как, по-видимому, вы уже очень

много проехали, то вам теперь уж немного осталось!» Нечего делать! Поехали далее скрепя сердце: за такие наслаждения, какие мы испытали в эту прогулку, можно было вытерпеть все безропотно.

По возвращении в Петербург Глинка посещал нас по-прежнему и познакомил нас с певцом Ивановым. Вскоре потом Глинка повез его в Италию, где Иванов приобрел европейскую известность[24]. Бывая у Дельвига, Иванов певал его Соловья и своим мягким, симпатичным голосом придавал этому романсу ту прелесть и значение, которых жаждал поэт. В это предпоследнее, кажется, лето жизни Дельвига все приятное сгруппировалось вокруг него, чтобы усладить последние годы его земного существования. Все, что он любил, что тешило, счастливило его, как бы предчувствуя скорую с ним разлуку, стремилось к нему, и он, среди тишины семейной жизни, услажденный друзьями, поэзиею и музыкою, мог назваться счастливейшим из смертных.

В это же время мечта его жизни осуществилась: у него родилась дочь[25]. Приветствуя его с этою радостью, князь Вяземский сказал: «Поздравляю тебя с новою юною Идиллией и желаю ей в свое время сделаться древнею». К довершению всех этих задушевных наслаждений, на ту пору вблизи нашей дачи, на берегу Невы жил на своей даче Дмитрий Львович Нарышкин[26], и его знаменитая, известная всей Европе роговая музыка была и для нас большим наслаждением. В праздничные дни она играла подле балкона, на котором сидел Дмитрий Львович, глядя на публику, гулявшую близ его дома по дорожкам между цветов. По будням же она разъезжала тихо в большой лодке по Неве и своими чарующими звуками, далеко разносившимися по реке, доставляла удовольствие тысячам людей. Беднейший из любителей музыки мог ежедневно слышать бесплатно восхитительный концерт. Так настоящий аристократ, русский барин, умел пользоваться своим богатством и делиться с другими изящными своими наслаждениями. Я имела привычку отдыхать после обеда и всегда пробуждалась под звуки этой дивной музыки.

Я сказала уже, что Михаил Иванович Глинка был такого милого, любезного характера, что, узнавши его коротко, не хотелось с ним расставаться, и мы пользовались всяким случаем, чтобы чаще его видеть.

Однажды он рассказывал нам, что у него прекрасная квартира, кажется, в Измайловском полку, и презанимательный сад с беседками, киосками, надписями и сюрпризами. Мы устроили так, что он пригласил весь наш кружок к себе на чай. Когда мы приехали к нему, он тотчас повел нас в сад и там

угощал фруктами, чаем и своей музыкой. Много мы шутили и долго смеялись над одною из надписей на беседке его садика: «Не пошто далече и здесь хорошо». В конце этого счастливого лета мы еще сделали поездку в обществе Глинки в Ораниенбаум. Там жила в то лето нам всем близкая по сердцу, дорогая наша О.С. Павлищева, она была больна и лечилась морским воздухом и купаньями. Мы тоже там выкупались в море все, кроме Глинки и барона Дельвига. Первый начинал уже чувствовать разные припадки, которые заставляли его уезжать по зимам в Италию. Ради правды нельзя не признаться, что вообще жизнь Глинки была далеко не безукоризненна. Как природа страстная, он не умел себя обуздывать и сам губил свое здоровье, воображая, что летние путешествия могут поправить зло и вред зимних пирушек; он всегда жаловался, охал, но между тем всегда был первый готов покутить в разгульной беседе. В нашем кружке этого быть не могло, и потому я его всегда видела с лучшей его стороны, любила его поэтическую натуру, не доискиваясь до его слабостей и недостатков. Богатые дарования этого маленького человека (Глинка был гораздо меньше обыкновенного среднего роста мужчины) чрезвычайно были привлекательны, и самый его ум и приятный характер внушали и дружбу и симпатию.

Барон Дельвиг тоже купаться в море не решился вследствие мнительности; он тогда все кушал какие-то пилюли отвратительного запаха и беспрестанно лечился от воображаемых болезней у разных эмпириков. Это-то, я думаю, и расстроило его здоровье и крепкую организацию и отняло у нее силы бороться с настоящею болезнью, когда она приключилась! Глинка, предполагая ехать в Италию, начал учиться итальянскому языку; так случилось, что и на нас с баронессою Дельвиг напала охота заняться тоже итальянским языком, и тут-то резко обозначился контраст между способностями обыкновенными и способностями высокого таланта, каков был Глинка. Пока мы в два месяца, занимаясь ежедневно у Лангера, товарища Дельвига и Пушкина по Лицею, едва выучились читать и говорить несколько слов, Михаил Иванович уже говорил бегло, быстро, с удивительно милым итальянским произношением, без иностранного акцента. Хотя способность к языкам и составляет принадлежность русских, хотя и говорит где-то *Эжен Сю: «Она говорила по-французски как русская!* – но все-таки быстрота, с какою Михаил Иванович усвоил знание итальянского языка, изумила нас. Оп впоследствии владел хорошо и испанским языком.

Вскоре после этого Глинка уехал за границу, и когда возвратился, чтобы переменить паспорт, намереваясь остаться в России только на сутки, то встретился с хорошенькой девушкой

Ивановой[27]. Он был, как все поэты, мягкосердечен, впечатлителен, а потому с одного взгляда влюбился в нее и, не долго думая, вместо того чтобы переменить паспорт и ехать за границу, женился. После этого я долго его не видала; он получил место при императорской капелле[28] и стал реже являться среди старых друзей.

Потом я встретила его глубоко разочарованным, скорбевшим оттого, что близкие его сердцу не поняли этого сердца, созданного, как он уверял, для любви. Но понял ли он и сам ту женщину, от которой ожидал любви и счастья?..

Мне всегда казалось, что истинная любовь должна быть не только прозорлива, но и ясновидяща, иначе она не истинна; а потому я думаю, что Глинка сам себя обманывал и называл любовью чувство, которое в нем было

только увлечением красотою этой женщины. Но как бы то ни было, Глинка был несчастлив. Семейная жизнь скоро ему надоела; грустнее прежнего он искал отрады в музыке и дивных ее вдохновениях. Тяжелая пора страданий сменилась порою любви к одной близкой мне особе[29], и Глинка снова ожил. Он бывал у меня опять почти каждый день; поставил у меня фортепиано и тут же сочинил музыку на 12 романсов Кукольника[30], своего приятеля. Когда он, бывало, пел эти романсы, то брал так сильно за душу, что делал с нами, что хотел; мы и плакали и смеялись по воле его. У него был очень небольшой голос, но он умел ему придавать чрезвычайную выразительность и сопровождал таким аккомпанементом, что мы его заслушивались. В его романсах слышалось и близкое искусное подражание звукам природы, и говор нежной страсти, и меланхолия, и грусть, и милое, неуловимое, необъяснимое, но понятное сердцу. Более других остались в моей памяти: «Ходит ветер у ворот…» и «Пароход» с его чудно подражательным аккомпанементом; потом что-то вроде баркаролы, наконец, и колыбельная песнь:

Уснули ль голубые
Сегодня, как вчера?[31]

Эту последнюю певала и я, укачивая маленького сына[32], который сквозь сон за мною повторял: уснули габые…

Моя маленькая квартира была в нижнем этаже на Петербургской стороне, в Дворянской улице. Часто народ собирался кучкой у окна, заслышавши Глинку. Однажды он передразнивал разбитую шарманку, наигрывавшую у моего окна, с такою точностью и комизмом, что мы помирали со смеху.

Бедный шарманщик пришел сначала в изумление, что у нас в комнате повторяются фальшивые звуки его шарманки со всеми дребезжащими ее нотками, а потом вошел в неописанный восторг и долго не мог надивиться искусству Глинки; а он, мой голубчик, увлекшись веселостью своих звуков, начал играть на темы шарманки вариации и ими восхитил не только нас, своих почитателей, но и толпу, стоявшую у окна, которая по окончании вариаций разразилась самым восторженным рукоплесканием. Он часто играл нам свою «Камаринскую», но когда хотел меня разутешить, то пел песнь Финна, на известный нам мотив, усвоенный им во время поездки на Иматру. За такие любезности я угощала его пирогами и ватрушками, которые он очень любил. Завидя перед обедом одно из таких кушаньев, он поворачивал свои стул несколько раз кругом, складывал руки на груди и отвешивал по глубокому поклону столу, ватрушкам и мне. Он говорил, что только у добрых женщин бывают вкусные пироги. Не знаю, насколько это справедливо, замечаю только, что это было его мнение; любимый же его напиток было легкое красное вино, а десерт – султанские финики. Чай он пил всегда с лимоном. Если все это являлось у нас для него, он был совершенно счастлив, играл, пел, шутил остроумно и безвредно для кого бы то ни было. Лучше и мягче характера я не встречала. Мне кажется, что так легко было бы сделать его счастливым. Он имел детские капризы, изнеженность слабой болезненной женщины; не любил хлопотать о мелочах житейских – и хотя был расчетлив, но никогда не брал медных денег в руки и оставлял такую сдачу купцу. Иногда лень и слабость до того одолевали его, что, как рассказывали мне люди, ему близкие, он не мог пошевелиться и просил, например, кого-нибудь из присутствующих, чтобы поправили полу его халата, если она была раскрыта. Изнеженность доходила у него до того, что когда поехал он со мной и моим семейством в Малороссию[33], то, извиняясь слабостью нервов, не позволявшею ему ехать спиною к лошадям, он допустил, несмотря на самую утонченную свою вежливость, сидеть ехавшую со мною девицу на переднем месте кареты, а сам занял в ней первое. На станциях я расплачивалась за лошадей, заказывала обед или завтрак и прочее, а он, выйдя из кареты, тотчас садился в угол станционного дивана и ни во что не вмешивался. Во время же переезда от станции до станции разговаривал, пел из задуманной уже оперы «Руслан и Людмила»[34] и особенно восхищал нас мотивом, который так ласково звучит в арии:

О Людмила,
Рок сулил нам счастье,

и проч., проч.

Ах, какая чудная музыка! Какая душа в этой музыке, какое гармоническое соединение чувства с умом и какое тонкое понимание народного колорита… Грустно мне было и больно, когда я, долго мечтавшая о счастье увидеть «Руслана и Людмилу» на театре и считавшая это почти невозможным по отдаленности жительства моего от Петербурга, наконец, увидела эту оперу в 1858 году!

Возможно ли любимое дитя гениального человека так исказить постановкою и то, над чем с такою любовью трудился гений – представить русской публике в жалком, во всех отношениях, виде? Я плакала от грустного воспоминания при знакомых, дорогих сердцу мотивах и разрывалась от досады за все остальное.

В артистическом мире все должно гармонировать, все должно быть отчетливо и достойно целого. Не говоря об исполнении самой музыки, что это были за декорации? Большая голова великана так близко поставлена к авансцене, что все чудесное и фантастическое, присвоенное ей поэтом, поневоле переходит в пошлый фарс; а поле, усеянное костями, разве похоже на то, о котором мечтал Пушкин?.. Наконец, сражение на воздухе Карла с Русланом разве не смешная штука? Неужели нельзя было придать этому всему той волшебной неясности и неопределенности, каких требует смысл поэмы и условие вкуса? Несмотря на разнохарактерность мотивов этой оперы, совершенно согласных с национальностью и особенностями действующих лиц, она мало действует на публику; я предполагаю, что причина тому именно неудачная обстановка.

Чтобы насладиться этой музыкою, надобно сидеть в театре, зажмуря глаза; я так делала и была минутами счастлива. Неужели у нас не найдется даже после смерти Глинки живая душа, которая бы взялась сделать то, что он желал? А он так страстно любил это последнее свое дитя! В этой опере он выражал свою последнюю любовь, это была мелодия лебединой песни и гармоническое сказание о чувствах души, которая изливалась в музыке, хотя и не всем доступной, но полной поэзии.

Приехавши из Малороссии в 1855 году, я тотчас осведомилась о Глинке, и когда мне сказали, что здоровье его сильно расстроено, я не решилась просить его к себе, а послала сына узнать, когда он может меня принять.

Обласкав сына, которого видел в колыбели и сам учил петь кукуреку, играя с ним на ковре, он усердно звал меня к себе. Когда я вошла, он меня принял с признательностью и тем чувством дружества, которым запечатлелось первое наше знакомство, не изменяясь никогда в своем свойстве. В большой комнате, в которой мы уселись, посредине стоял раскрытый рояль, заваленный беспорядочно нотами, а подле ломберный стол, тоже с нотами, и я радовалась, что любимым занятием Глинки по-прежнему была музыка. При этом свидании он не говорил о невозвратных прошлых мечтах и предположениях[35], которые так весело улыбались ему при отъезде моем в Малороссию. Вообще он избегал говорить о себе и склонял разговор к моему тогдашнему незавидному положению, расспрашивал о моих делах с живым участием и только мельком касался своих обстоятельств и намерений. Когда я ему сказала, что предполагаю приняться за переводы, чтобы облегчить мужу бремя забот о средствах существования, то он усердно предложил свои услуги и при этом употребил такие выражения: «*День, когда я смогу для вас что-нибудь сделать, будет прекрасным для меня».*

При этом он мне сообщил, что занимается духовною музыкою, сыграл, кстати, херувимскую песнь и даже пропел кое-что, вспоминая былые времена.

Несмотря на опасение слишком сильно его растревожить, я не выдержала и попросила (как будто чувствовала, что его больше не увижу), чтоб он пропел романс Пушкина «Я помню чудное мгновенье…», он это исполнил с удовольствием и привел меня в восторг! В конце беседы он говорил, что сочинил какую-то музыку, от которой ждет себе много хорошего, и если ее примут так, как он желает, то останется в России, съездив только на время на воды, чтобы укрепить свое здоровье для дальнейшей работы; если же нет, то уедет навсегда. «Вреден север для него»[36],– подумала я и рассталась с поэтом в грустном раздумье.

При расставании он обещал посвятить мне целый вечер и просил прийти к нему с близкими моими, когда он уведомит, что в состоянии принять. Я не собралась больше к Глинке, т. е. он не собрался меня пригласить, как мы условились, а через два года, и именно 3 февраля (в день именин моих), его не стало! Его отпевали в той же самой церкви, в которой отпевали Пушкина, и я на одном и том же месте плакала и молилась за упокой обоих! День был ясный, солнечный, светлые лучи его падали прямо из алтаря на гроб Глинки, как бы желая взглянуть в последний раз на бренные останки нашего незабвенного композитора.

Дельвиг и Пушкин

Письмо Павлу Васильевичу Анненкову при посылке воспоминаний о Глинке

Вы не можете себе представить, как барон Дельвиг был любезен и приятен, особенно в семейном кружке, где я имела счастие его часто видеть. Вспоминая анекдот о Пушкине, где Александр Сергеевич сказал Прасковье Александровне Осиновой в ответ на критику элегии: «Ах, тетушка! Ах, Анна Львовна!»[1]: «*Я думаю, мне и барону Дельвигу вполне позволительно не всегда быть умными,* не могу не сравнить их мысленно и, припоминая теперь склад ума барона Дельвига, я нахожу, что Пушкин был не совсем прав; нахожу, что он был так опрометчив и самонадеян, что, несмотря на всю его гениальность – всем светом признанную и неоспоримую, – он, точно, не всегда был благоразумен, а иногда даже не умен. В таком же смысле, как и Фигаро восклицает: «*Ах, как они глупы, эти умные люди!*» Дельвиг же, могу утвердительно сказать, был всегда умен! И как он был любезен! Я не встречала человека любезнее и приятнее его. Он так мило шутил, так остроумно, сохраняя серьезную физиономию, смешил, что нельзя не признать в нем истинный великобританский юмор. Гостеприимный, великодушный, деликатный, изысканный, он умел счастливить всех его окружающих. Хотя Дельвиг не был гениальным поэтом, но название поэтического существа вполне может соответствовать ему, как благороднейшему из людей. Его поэзия, его песни – мелодия поэтической души. Помните романс его:

Прекрасный день, счастливый день!
И солнце, и любовь![2]

Пушкин говорил, что он этот романс прочел и прочувствовал вполне в Одессе, куда ему его прислали. Он им восхищался с любовию, которую питал к другу-поэту. Он всегда с нежностью говорил о произведениях Дельвига и Баратынского. Дельвиг тоже нежно любил и Баратынского, и его произведения. Тут кстати заметить, что Баратынский не ставил никаких знаков препинания, кроме запятых, в своих произведениях и до того был недалек в грамматике, что однажды спросил у Дельвига в серьезном разговоре: «Что ты называешь родительным падежом?» Баратынский присылал Дельвигу свои стихи для напечатания, а

тот всегда поручал жене своей их переписывать; а когда она спрашивала, много ли ей писать, то он говорил: «Пиши только до точки». А точки нигде не было, и даже в конце пьесы стояла запятая!

Мне кажется, Дельвиг был одним из лучших, примечательнейших людей своего времени, и если имел недостатки, то они были недостатками эпохи и общества, в котором он жил. Лучший из друзей, уж конечно, он был и лучшим из мужей. Я никогда его не видала скучным или неприятным, слабым или неровным. Один упрек только сознательно ему можно сделать, это за лень, которая ему мешала работать на пользу людей. Эта же лень делала его удивительно снисходительным к слугам своим, которые могли быть все, что им было угодно: и грубыми, и пренебрежительными; он на них рукой махнул, и если б они вздумали на головах ходить, я думаю, он бы улыбнулся и сказал бы свое обычное: «Забавно!» Он так мило, так оригинально произносил это «забавно!», что весело вспомнить. И замечательно, что иногда он это произносил, когда вовсе не было забавно. Я с ним и его женою познакомилась у

Пушкиных, и мы одно время жили в одном доме, и это нас так сблизило, что Дельвиг дал мне раз (от лености произносить вполне мое имя и фамилию) название 2-ой жены, которое за мной и осталось. Вот как это случилось: мы ездили вместе смотреть какого-то фокусника. Входя к нему, он, указывая на свою жену, сказал: «Это жена моя»; потом, рекомендуя в шутку меня и сестру мою, проговорил: «Это вторая, а это третья».

У меня была книга (затеряна теперь), кажется, «Стихотворения Баратынского», которые он издавал[3]; он мне ее прислал с надписью: «Жене № 2-й от мужа безномерного б. Дельвига». Он очень радушно встречал обычных своих посетителей, и всем было хорошо близ него! *Подле него вы чувствовали себя столь непринужденно, столь надежно!* У меня были «Северные цветы» за все почти годы с подписью бароновой руки.

В альбоме моем (сделанном для портрета Веневитинова и подаренном мне его приятелем Хомяковым после его смерти) Дельвиг написал мне свои стихи к Веневитинову: «Дева и Роза». Я уже говорила вам, что в это время занимала маленькую квартиру во дворе (в доме бывшем Кувшинникова, тогда уже и теперь еще Олферовского). В этом доме, в квартире Дельвига, мы вместе с Александром Сергеевичем имели поручение от его матери Надежды Осиповны принять и благословить образом и хлебом новобрачных Павлищева и сестру Пушкина Ольгу. Надежда Осиповна мне сказала, отпуская меня туда в своей карете:

«*Замените меня, мой друг; вручаю этот образ – благословите им мою дочь от моего имени*». Я с гордостью приняла это поручение и с умилением его исполнила. Дорогой Александр Сергеевич, грустный, как всегда бывают люди в важных случаях жизни, сказал мне шутя: «*А ведь мы в первый раз одни – вы и я». – «И нам очень холодно, не правда ли?» – «Да, вы правы, очень холодно – 27 градусов*», а сказав это, закутался в свой плащ, прижался в угол кареты, и ни слова больше мы не сказали до самой временной квартиры новобрачных. Там мы долго прождали молодых, молча прогуливаясь по освещенным комнатам, тоже весьма холодным, отчего я, несмотря на важность лица, мною представляемого (посаженой матери), оставалась, как ехала, в кацавейке; и это подало повод Пушкину сказать, что я похожа на царицу Ольгу. Несмотря на озабоченность, Пушкин и в этот раз был очень нежен, ласков со мною… Я заметила в этом и еще нескольких других случаях, что в нем было до чрезвычайности развито чувство благодарности: самая малейшая услуга ему или кому-нибудь из его близких трогала его несказанно. Так; я помню, однажды потом батюшка мой, разговаривая с ним на этой же квартире Дельвига, коснулся этого события, т. е. свадьбы его сестры, мною нежно любимой, и сказал ему, указывая на меня: «А эта дура в одной рубашке побежала туда через форточку». В это время Пушкин сидел рядом с отцом моим на диване против меня, поджавши, по своему обыкновению, ноги, и, ничего не отвечая, быстро схватил мою руку и крепко поцеловал. Красноречивый протест против шуточного обвинения сердечного порыва! Помню еще одну особенность в его характере, которая, думаю, была вредна ему: думаю, t что он был более способен увлечься блеском, заняться кокетливым старанием ему нравиться, чем истинным глубоким чувством любви. Это была в нем дань веку, если не ошибаюсь; иначе истолковать себе не умею! *Острота, быстрый и находчивый ответ* всегда ему нравились. Он мне однажды сказал, да тогда именно, когда я ему сказала, что нехорошо меня обижать – *меня, такую безобидную*. Выражение ему понравилось, и он простил мне выговор, повторяя: *Это в самом деле верно, вы такая безобидная* и потом сказал: «Да с вами и не весело ссориться. *Вот ваша кузина – совсем другое дело, и это приятно: есть с кем поговорить*. Причина такого направления – слишком невысокое понятие о женщине – опять-таки, несмотря на всю гениальность, печать века. Сестра моя сказала ему однажды: «Здравствуй, Бес!» Он ее за то назвал божеством в очень милой записке. Любезность, остроумное замечание женщины всегда способны были его развеселить. Однажды он пришел к нам и сидел у одного окна с книгой, я у другого; он подсел ко мне и

начал говорить мне нежности *под пустым предлогом* и просить ручку, говоря: «C'est si satin». Я ему отвечала: «Satan»; а сестра сказала шутя: «Не понимаю, как вы можете ему в чем-нибудь отказать!» Он от этой фразы в восторг пришел и бросился перед нею на колени в знак благодарности. Вошедший в эту патетическую минуту брат Алексей Николаевич Вульф аплодировал ему от всего сердца. И, однако ж, он однажды мне говорил, кстати, о женщине, которая его обожала и терпеливо переносила его равнодушие: «*Ничего нет безвкуснее долготерпения и самоотверженности*».

Приятно жилось в это время. Баронесса приходила ко мне по утрам: она держала корректуру «Северных цветов». Мы иногда вместе подшучивали над бедным Сомовым, переменяя заглавия у стихов Пушкина, напр.: «Кобылица молодая…» мы поставили «Мадригал такой-то…». Никто не сердился, а всем было весело. Потом мы занимались итальянским языком, а к обеду являлись к мужу. Дельвиг занимался в маленьком полусветлом кабинете, где и случилось несчастие с песнями Беранже, внушившее эти стихи:

Хвостова кипа тут лежала,
А Беранже не уцелел,
За то его собака съела,
Что в песнях он собаку съел (bis).

Эти стихи, в числе прочих, пелись хором по вечерам. Пока барон был в Харькове, мы переписывались с его женою, и она мне прислала из Курска экспромт барона:

Я в Курске, милые друзья,
И в Полторацкого таверне
Живее вспоминаю я
О деве Лизе, даме Керне!

Я вспомнила еще стихи, сообщенные мне женою барона Дельвига, сложенные когда-то вместе с Баратынским:

Там, где Семеновский полк,
В пятой роте, в домике низком
Жил поэт Баратынский
С Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они.
За квартиру платили немного,
В лавочку были должны,

Дома обедали редко.
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком
В панталонах триковых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели),
Шли и твердили шутя:
Какое в Россиянах чувство!

А вот еще стихи барона: пародия на «Смальгольмского барона», переведенного Жуковским[4]:

До рассвета поднявшись, извозчика взял
Александр Ефимыч с Песков.
И без отдыха гнал от Песков чрез канал
В желтый дом, где живет Бирюков.
Не с Цертелевым он совокупно спешил
На журнальную битву вдвоем;
Не с романтиками переведаться мнил
За баллады, сонеты путем,
Но во фраке был он, был тот фрак заношен,
Какой цветом, нельзя распознать,
Оттопырен карман, в нем торчит, как чурбан,
Двадцатифунтовая тетрадь.
. . . . . .
Его конь опенен, его Ванька хмелен,
И согласно хмелен с седоком.
Бирюкова он дома в тот день не застал:
Он с Красовским в цензуре сидел,
Где на Олина грозно Фон Поль напирал,
Где…..улыбаясь глядел.
Но изорван был фрак, на манишке табак,
Ерофеичем весь он облит;
Не в журнальном бою, но в питейном дому
Был квартальными больно побит.
Соскочивши на Конной с саней у столба,
Притаяся у будки, он стал,
И три раза он крикнул Бориса-раба,
Из харчевни Борис прибежал.
«Подойди-ка, мой Борька, мой трагик смешной,
И присядь ты на брюхо мое;
Ты скотина, но право, скотина лихой.
И скотство по нутру мне твое».

Вскоре после того, как мы читали эту прекрасную пародию, барон Дельвиг ехал куда-то с женой в санках через Конную площадь; подъезжая к будке, он сказал ей очень серьезно: «Вот, на самом этом месте соскочил с саней Александр Ефимович с Песков, и у этой самой будки он крикнул Бориса Федорова». Мы очень смеялись этому точному указанию исторической местности. Он всегда шутил очень серьезно, а когда повторял любимое свое словно «забавно», это значило, что речь идет о чем-нибудь совсем не забавном, а или грустном, или же досадном для него!.. Мне очень памятна его манера серьезно шутить, между прочим по следующему случаю: один молодой человек преследовал нас с Софьей Михайловной насмешками за то, что мы смеемся, повторяя часто фразу из романа Поль де Кока[5], которая ему вовсе не казалась так смешною. Нам стоило только повторить эту фразу, чтобы неудержимо долго хохотать. Эта фраза была одного бедного молодого человека (разбогатевшего потом) взята из романа «La maison Blanche». Молодой человек в затруднении перед балом, куда приглашен школьным товарищем, знатным молодым человеком; весь его туалет собран в полном комплекте, недостает только шелковых чулков, без которых невозможно обойтись; у него были одни, почти новые, да он ими ссудил свою возлюбленную гризетку…… швею в модном магазине. Она пришла на помощь, чтоб завить волосы своему приятелю, но увы, относительно чулков объявила, что чулки эти даны ею взаймы г-же…, она тоже дала взаймы своей подруге, которая, в свою очередь, ссудила ими своего друга, а друг этот награжден от природы огромнейшими *икрами* и потому, надев их раз, так изувечил, что они больше никому не могут годиться. (Она) кончила свою (речь) философическим замечанием своему Robineau: «*Виданное ли дело, чтобы любовник потребовал обратно то, что дал вам в долг*?» На это г-н Робино возразил комическим тоном, чуть не плача: «*Когда имеют всего полторы тысячи ливров дохода, не щеголяют в шелковых чулках!»*

Не мы одни с баронессою находили юмор в этой жалостливой фразе, из наших знакомых один только помянутый выше молодой человек не видел в ней смешного. Раз он резко выразил свое удивление, что мы так долго смеемся совсем не смешному. Мы сидели в это время за обедом, и барон Дельвиг, стоя за столом в своем малиновом шелковом шлафроке и разливая, по обыкновению, суп, сказал: «*Я с тобой согласен, мой милый, я не щеголяю в шелковых чулках* совсем не смешно, а жалко!»

Никогда не забуду его саркастической улыбки и забавной интонации голоса при слове «жалко!».

Разбирая свои старые бумаги и письма, я нашла очень

интересные записки. Одну собственноручную барона Дельвига, о деле касательно моих интересов, которая начинается так: «Милая жена, очень трудно давать советы; спекуляция Петра Марковича может удастся или же нет; и в том и в другом случае будете раскаиваться (если отдадите имение). Повинуйтесь сердцу – это лучший совет мой…» Записка его жены, в год женитьбы Александра Сергеевича, именно в тот год, когда мы ездили на Иматру[6] и я с ними провела лето в Колтовской, у Крестовского перевоза. Я уехала в город прежде их, когда мне представился случай достать выгодную квартиру; вскоре, кажется в конце августа, она мне писала: «*Лев уехал вчера, Александр Сергеевич возвратился третьего дня. Он, говорят, влюблен больше, чем когда-либо. Однако он почти не говорит о ней. Вчера он привел фразу – кажется, г-жи Виллуа, которая говорила сыну: «Говорите о себе с одним только королем, а о своей жене – ни с кем, иначе вы всегда рискуете говорить о ней с кем-то, кто знает ее лучше вас». Свадьба будет в сентябре.*

Действительно, в этот приезд Пушкин казался совершенно другим человеком: он был серьезен, важен, как следовало человеку с душою, принимавшему на себя обязанность счастливить другое существо…

Таким точно я его видела потом в (другие) разы, что мне случалось его встретить с женою или без жены. С нею я его видела два раза. В первый это было в другой год, кажется, после женитьбы. Прасковья Александровна была в Петербурге и у меня остановилась; они вместе приезжали к ней с визитом в открытой колясочке, без человека. Пушкин казался очень весел, вошел быстро и подвел жену ко мне прежде (Прасковья Александровна была уже с нею знакома, я же ее видела только раз у Ольги[7] одну). Уходя, он побежал вперед и сел прежде ее в экипаж; она заметила, шутя, что это он сделал оттого, что он муж. Потом я его встретила с женою у матери, которая начинала хворать. Наталия Николаевна сидела в креслах у постели больной и рассказывала о светских удовольствиях, а Пушкин, стоя за ее креслом, разводя руками, сказал шутя: «Это последние штуки Натальи Николаевны: посылаю ее в деревню». Она, однако, не поехала, кажется, потому, что в ту же зиму Надежде. Осиповне сделалось хуже, и я его раз встретила у родителей одного. Это было раз во время обеда, в четыре часа. Старики потчевали его то тем, то другим из кушаньев, но он от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему и мне, предлагая гуся с кислою капустою: «*Это шотландское блюдо*», заметив при этом, что он никогда ничего (не ест до обеда, а обедает в 6 часов. Потом я его еще раз встретила с женою у родителей, незадолго до

смерти матери и когда она уже не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам; они сидели рядом на маленьком диване у стены, и Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью, а Александр Сергеевич держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как будто тем выражал ласку к жене и ласку к матери. Он при этом ничего не говорил… Наталья Николаевна, была в папильотках: это было перед балом… Я уверена, что он был добрым мужем, хотя и говорил однажды, шутя, Анне Николаевне, которая его поздравляла с неожиданною в нем способностью себя вести, как прилично любящему мужу: «*Это только хитрость*».

Вот еще выражение века: непременно, во что бы то ни стало, казаться хуже, чем он был… В этом по пятам за ним следовал и Лев Сергеевич.

Я теперь опять обращусь к Дельвигу. Припоминаю все это время, и как он был добр ко всем и ласков к родным, друзьям и даже только знакомым. Вскоре после возвращения из Харькова он или выписал к себе, или сам привез, не помню, двух своих маленьких братьев, 7 и 8 лет. Старшего, Александра, он называл классиком, меньшего, Ивана, – романтиком и таким образом представил их однажды вечером Пушкину. Александр Сергеевич нежно, внимательно их рассматривал и ласкал, причем барон объявил, ему, что меньшой уже сочинил стихи. Александр Сергеевич пожелал их услышать, и маленький Дельвиг, не конфузясь нимало и не гордясь своей ролью, медленно и внятно произнес, положив свои ручонки в обе руки Александра Сергеевича:

Индиянди, Индиянди, Индия!
Индиянди, Индиянди, Индия!

Александр Сергеевич погладил его по голове, поцеловал и сказал, что он точно романтик. Где-то он теперь? Как бы мне хотелось на них взглянуть! Вспоминая о Дельвиге, я невольно припоминаю еще многое о Пушкине и, разбирая записки Дельвига, сохранившиеся у меня, нашла еще несколько записок Пушкина. Это относится к тому времени, когда он узнал о смерти моей матери и о тесных обстоятельствах, вследствие которых одна дама, принимавшая во мне большое участие (а именно Елизавета Михайловна Хитрово[8]), переписывалась со мною, хлопотала о том, чтобы мне возвратилось имение, проданное моим отцом гр. Шереметеву. Я интересовалась этим имением по воспоминаниям моего счастливого детства, хотя и в финансовом отношении оно не могло быть не интересно, потому что иметь

что-нибудь или не иметь ничего все-таки составляет громадную разницу.

Не воздержусь умолчать об одном обстоятельстве, которое навело меня на эту мысль выкупить без денег свое проданное имение! Однажды утром ко мне явился гвардейский солдат. «Не узнаете меня, ваше превосходительство?» – сказал он, поклонившись в пояс. «Извини, голубчик, не узнаю тебя, припомни мне, где я тебя видела». – «А я из вашей вотчины, ваше превосходительство. Я помню вас, как вы изволили из ваших ручек потчевать водкой отца моего, и жили тогда в нашей чистой избе, а в другой, чистой же, ваш батюшка и матушка». – «Помню, помню, мой милый, – сказала я (хотя вовсе его-то самого не помнила). – Так ты пришел со мной повидаться, это очень приятно». – «Да кроме того, – сказал он, – я пришел просить вас, нельзя ли вам, матушка, откупить нас опять к себе; мне пишут мои старики, сходил бы ты к нашей прежней госпоже, к генеральше такой-то, да сказал бы ей, что вот, дескать, мы бы рады-радешеньки ей опять принадлежать, что при ревизии теперь в двух селениях прибавилось много против прежнего, что мы и теперь помним, как благоденствовали у дедушки их, у матушки и у них самих потом; скажи ей, что мы даже согласны графу Шереметеву внести половинную цену за имение и сами на свой счет выстроим ей домик, коли вы согласны нас у него откупить опять».

Это предложение было так трогательно и вместе так соблазнительно, что я решилась его сообщить Елизавете Михайловне Хитровой вскоре после кончины матери моей, и она по доброте своей взялась хлопотать.

Вот 1-я записка ее[9]:

> «J’ai recu hier matin votre bonne lettre, Madame, j’aurais ete Vous voir sans une grave indisposition de ma fille. Si Vous etes libre de venir demain a midi, je Vous recevrai avec bien de la joie.
>
> *El. Hitroff».*

Вследствие этой-то записки Александр Сергеевич приехал ко мне в своей карете, в ней меня отправил к Хитровой.

2-я записка Хитровой написана рукою Александра Сергеевича. Вот она:

> «Chere Madame Kern, notre jeune a la rougeole et il n’y a pas moyen de lui parler; des que ma fille sera mieux j’irai Vous embrasser», – а ее рукой —

«El. Hitroff».

Опять рукою Александра Сергеевича:

> «Ma plume est si mauvaise que Madame Hitroff… s'en servir et que c'est moi qui ai 1'avantage d'etre son secretaire.
>
> *A.».*

Следует еще одна записочка от Елизаветы Михайловны Хитровой (ее рукой):

> «Void, ma tres chere, une lettre de Che(remete)ff – dites moi ce qu'elle contient. J'allais Vous la porter moi-meme, mais j'ai un vrai malheur, car voila qu'il pleut.
>
> *E. Hitroff».*

Потом за нее еще рукою Александра Сергеевича, предпоследняя об этом неудавшемся деле:

> «Voici la reponse de Ch(eremete)ff. Je desire, qu'elle soit agreable. Madame Hitroff a fait ce qu'elle a pu. Adieu, belle dame, soyez tranquille et contente et croyez a mon devouement».

Самая последняя была уже в слишком шуточном роде, – я на нее подосадовала и тогда же уничтожила. – Когда оказалось, что ничего не могло втолковать доброго господина, от которого зависело дело, он писал мне (между прочим):

> «Quand Vous n'avez rien pu obtenir, Vous, qui etes une jolie femme, qu'y pourraije faire, moi, qui ne suis pas meme joli gargon… Tout ce que je puis ronseiller, – c'est de revenir a la charge etc., etc., – et puis jouant sur le dernier mot…»

Меня это огорчило и я разорвала эту записку. Больше мы не переписывались и виделись уже очень редко – кроме визита единственного им с женою Прасковье Александровне. Этой последней вздумалось состроить partie fine[19], и мы обедали все вместе у Дюме[10], а угощал нас Александр Сергеевич и ее сын Алексей Николаевич Вульф. Пушкин был любезен за этим обедом, острил довольно зло, и я не помню ничего особенно замечательного в его разговоре. Осталось только– в памяти одно его интересное суждение. Тогда только что вышли повести Павлова, я их прочла с большим удовольствием, особенно

«Ятаган»[11]. Брат Алексей Николаевич сказал, что он в них не находит ровно никакого интересного достоинства. Пушкин сказал: «Entendons-nous (Попробуем понять друг друга (франц.)). Я начал их читать и до тех пор не оставил, пока не кончил. Они читаются с большим удовольствием». Теперь я себе припомнила несколько его суждений о романах: он очень любил Бульвера[12], «цитировал некоторые фразы из «Пельгама» в то время, когда его читал. Вследствие чего мне показался замечателен случай, что его напечатали в той же книжке «Библиотеки для чтения», где и «Воспоминания». Еще я помню (это было во время моего пребывания в одном доме с бароном Дельвигом). Тогда только что вышел во французском переводе роман Манцони «I promessi sposi» («Les fiances»)[13] – «Обрученные». Он говорил об них: «*Я ничего красивее не читал*».

Возвратимся к обеду у Дюме. За десертом («Les 4 men-diants») г-н Дюме, воображая, что этот обед и в самом деле une partie fine, вошел в нашу комнату un peu cavalierement[20] и спросил: «Comment cela va ici?»[21]. У Пушкина и Алексея Николаевича немножко вытянулось лицо от неожиданной любезности француза, и он сам, увидя чинность общества и дам в особенности, нашел, что его возглас и явление были не совсем приличны, и удалился. Вероятно, в прежние годы Пушкину случалось у него обедать и не совсем в таком обществе. Барон Дельвиг очень любил такие эксцентрические проделки. Не помню во все время нашего знакомства, чтобы он когда-нибудь один с женою бывал на балах или танцевальных вечерах, но очень любил собрать несколько близко знакомых ему приятных особ и вздумать поездку за город, или катанье без церемонии, или даже ужин дома с хорошим вином, чтобы посмотреть, как оно на нас, ничего не пьющих, подействует. Он однажды сочинил, катанье в Красный Кабачок вечером, на вафли. Мы там нашли тогда пустую залу и бедную арфянку, которая, вероятно, была очень счастлива от фантазии барона. В катанье участвовали только его братья, кажется, Сомов, неизбежный, никогда не докучливый собеседник и усердный его сотрудник по «Северным цветам», я да брат Алейсей Вульф. Катанье было очень удачно, потому что вряд можно было бы выбрать лучшую зимнюю ночь – и лунную, и не слишком холодную. Я заметила, что добрым людям всегда такие вещи удаются оттого, что всякое их действие происходит от избытка сердечной доброты. Он, кроме прелести неожиданных удовольствий без приготовлений, любил в них и хорошее вино, оживляющее беседу, и вкусный стол; от этого он не любил обещать у стариков Пушкиных, которые не были гастрономы, и в этом случае он был одного мнения с Александром Сергеевичем.

Вот, по случаю обеда у них, что раз Дельвиг писал Пушкину:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла и яиц гнилых,—
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.

Вот все, что осталось в моей памяти в добавление к тому, что вам уже сообщила прежде.

При этом присоединяю некоторые еще записки: может, они понадобятся вам.

Три встречи с императором Александром Павловичем (1817–1820 гг.)

I

Теперь, когда я ослепла и мне прочли чрезвычайно замечательное произведение графа Л. Н. Толстого «Война и мир»[1], где, между прочим, говорится о страстном, благоговейном чувстве, ощущавшемся всеми молодыми людьми к императору Александру Павловичу в начале его царствования, мне так ясно, так живо, так упоительно представилась та эпоха, и воротились те живые, никогда не забываемые мною воспоминания, о которых мне захотелось рассказать.

Расскажу первую – незабвенную встречу мою с императором Александром Павловичем в 1817 году. В Полтаве готовился смотр корпуса г-на Сакена[2], в котором муж мой, Керн, служил дивизионным командиром. Немного прибитая на цвету – как говорят в Малороссии, – необыкновенно робкая, выданная замуж и слишком рано, и слишком неразборчиво, я привезена была в Полтаву. Тут меня повезли на смотр и на бал, где я увидела императора.

У меня была подруга еще моложе меня и вышедшая замуж тоже за генерала, старее гораздо ее, но образованного, приятного и очень умного человека, который умел с нею обращаться, – и мы с нею вместе ездили на смотр и вместе стояли на этом бале, против группы, где стоял император, Сакен и его état-major[22].

Я находила, что эта моя подруга гораздо лучше меня одета: на ней была куафюра с пером, очень украшавшая ее молодое, почти детское личико, и она мне сказала, что муж выписал ей эту куафюру потому, что государь любил подобный головной убор без других украшений. Как мне досаден сделался мой голубой с серебряными листьями цветок.

Сакен был со мною знаком проездом через Лубны, где я жила у отца до замужества, останавливался у нас в доме и весьма благоволил ко мне.

Его позволение Керну на мне жениться было какое-то нежное поздравление близкого родственника, более чем начальника.

Он и указал государю на меня, и сказал ему, кто я. Император имел обыкновение пропустить несколько пар в

польском прежде себя и потом, взяв даму, идти за другими. Эта тонкая разборчивость, только ему одному сродная, и весь он, с его обаятельною грациею и неизъяснимою добротою, невозможными ни для какого другого смертного, даже для другого царя, восхитили меня, ободрили, воодушевили, и робость моя исчезла совершенно. Не смея ни с кем говорить доселе, я с ним заговорила, как с давнишним другом и обожаемым отцом! Он заговорил, и я была на седьмом небе, и от ласковости этих речей, и от снисходительности к моим детским понятиям и взглядам!

Он говорил о муже моем, между прочим: «*Храбрый воин*». Это тогда так занимало их! Потом сказал: «*Приезжайте ко мне в Петербург*». Я с величайшею наивностью сказала, что это невозможно, что мой муж на службе. Он улыбнулся и сказал очень серьезно: «*Он может взять полугодовой отпуск*». На это я так расхрабрилась, что сказала ему: «Лучше вы приезжайте в Лубны! Лубны – это такая прелесть!». Он опять засмеялся и сказал: «*Приеду, непременно приеду!*»

Я возвратилась домой такая счастливая и восторженная, рассказала мужу весь разговор с царем и умоляла устроить мне возможность еще раз взглянуть на него, что он и исполнил.

Я поехала к обедне в маленькую полковую церковь, разбитую шатром на поле Полтавской битвы, у дубового леска, и опять имела счастие его увидеть, им любоваться и получить сперва серьезный поклон, потом, уходя, ласковый, улыбающийся.

По городу ходили слухи, вероятно несправедливые, что будто император спрашивал, где наша квартира, и хотел сделать визит… Потом много толковали, что он сказал, что я похожа на прусскую королеву. На основании этих слухов губернатор Тутолмин[3], очень ограниченный человек, даже поздравил Керна, на что тот с удивительным благоразумием отвечал, что он не знает, с чем тут поздравлять? Сходство с королевой было в самом деле, потому что в Петербурге один офицер, бывший камер-пажом во дворце при приезде королевы, это говорил моей тетке, когда меня увидел. Может быть, это сходство повлияло на расположение императора к такой неловкой и робкой тогда провинциалке!

II

Многие восхищались в то время – кто Сухозанетом[4], который был тогда очень молодым генералом, кто графом Орловым[5], генерал-адъютантом.

Я никого не замечала, ни на кого не смотрела: разве можно смотреть по сторонам, когда чувствуешь присутствие божества, когда молятся?

Это были только мужчины: красивые ли, не красивые – мне было все равно. А он был выше всего! Я не была влюблена… я благоговела, я поклонялась ему!.. Этого

чувства я не променяла бы ни на какие другие, потому что оно было вполне духовно и эстетично. В нем не было ни задней мысли о том, чтобы получить милость посредством благосклонного внимания царя, – ничего, ничего подобного… Все любовь чистая, бескорыстная, довольная сама собой.

Если бы мне кто сказал: «Этот человек, перед которым ты молишься и благоговеешь, полюбил тебя, как простой смертный», я бы с ожесточением отвергла такую мысль и только бы желала смотреть на него, удивляться ему, поклоняться, как высшему, обожаемому существу!..

Это счастие, с которым никакое другое не могло для меня сравниться!

III

А что говорили мне все окружающие царя, танцуя со мною, право, не помню, и не смотрела я на них и не слушала их. Они все толковали о прелестной музыке Болугиянского оркестра, и действительно, она была обворожительна; царь тоже ею восхищался.

Возвратясь после смотра домой в Лубны, я предалась мечтаниям ожидающего меня чувства матери, о котором пламенно молилась и желала. Тут примешивалась теперь надежда, позже осуществившаяся, что император будет восприемником моего ребенка!

Еще до этого события мне удалось сделать путешествие в Киев в сообществе моей матери, и я там имела счастие вместе с нею посетить бесподобное семейства Раевских[6]. Впечатление незабвенное и вполне эстетическое. Николай Николаевич Раевский представил жене своей моего мужа, назвав его: «*мой брат по оружию*». Она сейчас приняла меня под свое покровительство, приголубила и познакомила со всеми дочерьми своими. Старшая, полная грации и привлекательности, сама меня приласкала. Это красавица Нина, о которой потом вспоминал Пушкин. Меньшая была Мария, кроткая брюнетка, вышедшая потом за Волконского.

Я многих там увидела, с которыми потом довелось встречаться в свете: и Дубельт[7] и m-me Фролова, на которую так все бы и хотелось смотреть! Киев сам мне представился в обворожительном виде: мы подъезжали к нему в ясный ноябрьский вечер – теплый и солнечный, когда закат позлащал главы церквей его. Ничего не могло быть восхитительнее.

Вскоре мы возвратились домой, где я, выздоравливая после долгих страданий, сопровождавших мое новое звание матери, узнала, во-первых, что император вспомнил обо мне и хвалил меня в самых лестных выражениях тетке моей Мертваго[8], которая представлялась императрице Марии Федоровне в ее кабинете, куда он нечаянно вошел. Он сказал тетке, что имел удовольствие со мною познакомиться, и прибавил: «*Она очаровательна, очаровательна, ваша племянница!*. Какое внимание и какая память!

Потом тою же весною муж мой Керн попал в опалу, вследствие своей заносчивости в обращении с Сакеном.

Я забыла сказать, что немедленно после смотра в Полтаве господин Керн был взыскан монаршею милостью: государь ему прислал пятьдесят тысяч за маневры.

Надобно сказать, что Сакен, поближе узнав Керна, не очень благоволил к нему и, зная нашу интимную жизнь, не слишком его уважал.

Следующий за тем смотр должен был быть в Вознесенске. Керну захотелось туда поехать, чтобы лично поблагодарить царя за его милость, – и он просил позволения на то у корпусного своего командира, Сакена. Сакен был им за что-то недоволен и сказал, что отпуск ему теперь не может разрешить. Настаивать было нечего. Керн раскланялся, да, не долго думая, взял и поехал в Вознесенск и без позволения. Этого еще мало, – кроме такого преступления против субординации, он, на одной из последних станций перед Вознесенском, найдя Сакена спящим, обогнал его, взяв приготовленных ему лошадей. Старик справедливо возмутился и, при представлении генералов царю, на него пожаловался императору, и царю его вовсе не представил, а на другой же день в приказе стояло: «Генералу Керну состоять по армии!» С этим известием Керн воротился к нам и тотчас же решил поехать в Петербург просить о службе. Поехал, но не был допущен к царю, и князь Петр Михайлович Волконский[9] велел ему сказать, что царь не может его принять и что он сам лучше знает за что.

Это все передала отцу моему, бывшему тогда в Петербурге, его сестра Оленина, которая просила князя Волконского за моего мужа, как за своего родственника. Не скажу, чтоб это меня

особенно огорчило. Отсутствие мужа так благодатно на меня действовало, что я забывала и о его службе, и о смотрах, и о своем блеске, в который на минуту окунулась… Я жила при матери, которую обожала, и кормила свою девочку.

Зимою старшие решили, что нам не худо проехаться в глубину России и повидаться с родными. Мы поехали сперва в Липецк, где жил брат моего мужа, потом в Москву к теткам, Мертваго и Полторацкой, жене Дмитрия Марковича Полторацкого[10], только что умершего моего крестного отца и лучшего из людей.

Приехав в Грузине к старой и страшной бабушке моей Агафоклее Александровне Полторацкой, мы узнали, что отец мой в Петербурге и зовет туда Керна еще попытаться как-нибудь у царя. Он звал его одного, и я была бы очень рада не ехать, но бабушка решила, что жена не должна оставаться без мужа, и мы поехали. Это все клоню я к тому, что это привело ко второй моей встрече с императором, хотя на мгновение, но не без следа. Император, как все знают, имел обыкновение ходить по Фонтанке по утрам. Его часы всем были известны, и Керн меня посылал туда с своим племянником из пажей. Мне это весьма не нравилось, и я мерзла и ходила, досадуя и на себя, и на эту настойчивость Керна. Как нарочно, мы царя ни разу не встречали.

Когда это бесплодное гулянье мне надоело, я сказала, что не пойду больше, – и не пошла. За то случай мне доставил мельком это счастие: я ехала в карете довольно тихо через Полицейский мост, вдруг увидела царя почти у самого окна кареты, которое я успела опустить, низко и глубоко ему поклониться и получить поклон и улыбку, доказавшие, что он меня узнал.

Через несколько дней Керну, бывшему дивизионному командиру, князь Волконский от имени царя предложил бригаду, стоявшую в Дерпте. Муж согласился, сказав, что не только бригаду, роту готов принять в службе царя.

IV

В этот мой приезд в Петербург я встретила Пушкина в доме тетки моей Олениной. Отец меня представил Крылову, Гнедичу, и я видела Карамзина[11] с его гордой, даже надменной супругой. Некто сказал, когда вошел Карамзин и жена его в залу, где разыгрывались шарады: «*Да, это г-жа Карамзина, ее по спеси узнаешь!*» Больше я их не видала: она была первою любовью Пушкина. Все знают, что он пожелал получить ее благословенье перед смертью. Я думаю, он никого истинно не любил, кроме

няни своей и потом сестры. В этот же приезд мой в Петербург, когда разрешили балы после смерти Екатерины Павловны, любимой сестры императора, я была представлена, моею бабушкою Муравьевой, госпоже Афросимовой[12], так верно списанной графом Л. Н. Толстым. Представление было успешно: я имела счастье ей понравиться. Встретив пасху у родных в Тверской губернии, мы направились к новому назначению моего мужа, в Дерпт. Этот милый Дерпт всегда мне будет памятен. Мне там было хорошо.

Ко мне туда приехали дорогие гостьи: тетка[13] и многолюбимая сестра Анна Николаевна Вульф, которая приехала летом и осталась у меня гостить до зимы. Мы там много читали, много гуляли, выходили и выезжали всегда вместе. Керн лечился – я тоже брала ванны и лечилась понемногу.

Знакомство наше было не многочисленное, но такое, как лучше нельзя пожелать. Девицы Фурман, из которых одна долго жила у моей тетки Олениной… Они меня познакомили с Мойер и матерью ее Протасовой[14].

M-me Мойер, ангел во плоти, первая любовь Жуковского и его муза, подружилась с нами, и мы почти каждый день виделись. У нее не было тогда детей, хотя она страстно их желала. Между ними не было страстной любви, только взаимное уважение. Она любила прежде Жуковского – и любовь эта, чистая и высокая, кажется, не угасала никогда. Впоследствии бог дал ей желанное дитя, и я его видела через несколько лет подле бабушки ее, грустной, осиротелой матери…

Мария Андреевна умерла, кажется, после родов. Никогда не забуду времени, проведенного с нею и у нее в ее маленьком садике или в ее уютной гостиной, слушая музыку: она с мужем играла очень хорошо на фортепиано в четыре руки, оба близорукие и в очках; или осенью сидящую на маленьком стуле, где-нибудь за дверью и убаюкивающую дитя, взятое у родных мужа, которое баловала изо всех сил.

Не мудрено, что я уже никуда не хотела из такой эстетической среды. Но мне повелели ехать на маневры в Ригу, и я скрепя сердце поехала в сопровождении милой сестры, ободрявшей меня своей любовью и ласками.

Нас посещал иногда дивизионный наш командир, генерал Лаптев, весьма суровая и непривлекательная личность, принявший сначала мужа весьма неблагосклонно, потом сделавшийся нам приятелем и даже доброжелателем, так что когда по команде прислан был мне великолепный фермуар, подарок кума-императора, то он привез мне его сам и выразился весьма фигурально – о сиянии от бриллиантов около фермуара…

Не припомню хорошенько выражения, но тут был очень тонкий комплимент моей красоте.

Увы! Я не долго пользовалась этим дорогим украшением.

Мне говорили, что этот фермуар был сделан на заказ в Варшаве и стоил шесть тысяч ассигнациями.

У нас бывал тоже генерал Кайсаров[15]. Он очень заботился о восстановлении Керна в прежних его правах и ухаживал за мною. Я его не любила за то, что он мне казался фальшив, умея угождать Керну, и еще за то, что был красив собою, а я не любила писаных красавцев, каким он был, самонадеян и – генерал, в худшем значении этого слова.

Мы переезжали из города в город, поджидая и осматривая полки нашей бригады. Керн ездил то провожать их, то встречать; а мы с Анной Николаевной жили в маленьком городке Валке, в весьма поэтическом домике с садиком, при выезде из города.

Мы долго тут еще жили: до начала, маневров и приезда государя.

Очень было весело и даже шумно. У хозяйки было несколько сестер и муж, хотя пожилой, но без селадонных нежностей и ухаживаний за молодою, хорошенькою женою… Он был очень важен и серьезен.

Они нас однажды позвали обедать, и «меня очень удивило меню обеда: было одно большое блюдо рябчиков, весьма вкусно приготовленных в соусе, – и потом вафли, сыр и десерт. Блюда подавали по два раза, но только всего два и никогда больше.

Однажды вечером, в сумерках, прибегает Кайсаров с озабоченным видом: он не знал, что мы здесь, и долго нас искал.

– *Я везде вас ищу,* – сказал он, – мне нужно с вами поговорить.

– Что такое? – Не хотите ли написать письмо к Сакену? Я слышал, он хорошо к вам расположен.

– Охотно! – отвечала я ему, села и написала… В этом письме я просила его забыть его неудовольствия к мужу и проч. Письмо Кайсаров сам взялся доставить и удалился.

На другой день был какой-то смотр еще до царя – репетиция.

Я туда поехала с сестрою и несколькими знакомыми дамами.

Я замечаю, что, неведомо себе, я в своем рассказе отдаляю замечательную, не только знаменательную, дорогую для меня – последнюю встречу с императором! Продолжаю. Моя карета стояла на весьма почтительном отдалении от места действия, так что я весьма удивилась, когда несколько всадников отделились от группы генералов и всего etat-major и направились в мою сторону, имея во главе своей, тогда уже белого как снег, главнокомандующего Сакена. Они подъехали к карете, и Сакен протянул мне руку в открытое окно кареты и осыпал меня

приветствиями и любезностями, поцеловал мою руку и сказал на прощанье: «*Будьте покойны, милая* Анна Петровна, *я сделаю для вас все, что от меня будет зависеть*».

Мне сделалось так отрадно и весело, что я просила моих дам уехать, чтобы дома подумать о лестном обещании в ожидании бала. Я обещала им повезти их на настоящий смотр и маневры.

В этот же день приехал император и обедал со свитою главнокомандующего и прочими генералами у дворянства.

Вечером приготовили бал в зале собрания. Мы с сестрою переехали в городской дом наших хозяев и провели весь день тихо и мирно вдвоем. Керн обедал там же и возвратился довольно поздно в очень радостном расположении духа и начал меня, всегда ленивую, торопить туалетом, говоря, что я и то опоздала, что не хорошо приехать на бал позже императора. При этом рассказал утешительное известие о своем свидании с царем и некоторого рода примирении.

– За обедом, – сказал он, – император не говорил со мною, но по временам смотрел на меня. Я был ни жив ни мертв, думая, что все еще состою под гневом его! После обеда начал он подходить то к тому, то к другому – и вдруг подошел ко мне: «Здравствуйте! Жена ваша здесь? Она будет на бале, надеюсь?»

На это Керн, натурально, заявил свою горячую признательность за внимание, сказал, что я непременно буду, и приехал меня торопить.

Я всегда имела странную особенность: как бы ни желала куда-нибудь ехать, особенно на балы, которые я очень любила, когда настанет минута отправляться, меня одолевала робость и нежелание двинуться, так, казалось бы, хорошо было остаться дома.

Но нечего делать, мы с сестрою начали одеваться; я позаботилась и о ее туалете. О своем же мне никогда не нужно было заботиться, мне было заранее выписано из Петербурга платье – тюлевое на атласе и головной убор: маленькая корона из папоротника с его воображаемыми цветами. Это было очень удобно для меня или моей лени и неуменья наряжаться. Я только заплела свою длинную косу и положила папоротниковую коронку, закинув длинные локоны за ухо, и прикрепила царский фермуар, как вошел муж, и мы втроем поехали…

Можно сказать, что в этот вечер я имела полнейший успех, какой когда-либо встречала в свете!

Мы вошли. Царя еще не было. Слава богу. Зала была полна; но я заметила, не доходя до конца этой длинной овальной залы, на котором сидели почетные дамы, маркизу Паулучи (первую жену маркиза)[16], больную и весьма несчастную на вид, и другие

важные лица, и чтобы не заходить далеко и высоко, мы поместились с сестрою около менее важных дам в уголке, у печки… На середине комнаты стояли мужчины из свиты императора и важнейшие лица, как, например, маркиз Паулучи, и проч.

Пока император не приехал, музыка не играла, слышен был только сдержанный говор ожидавших его…

Сакен меня заметил и, подойдя, вывел почти на середину залы, где остановился, и осыпал меня комплиментами, и просил снять длинную перчатку, чтобы расцеловать мне руку; я очень сконфузилась, разумеется, оробела, неловко раскланялась с ним и воротилась в свой уголочек.

Я об этом распространяюсь потому, что много лет спустя, когда я была в Риге, мне напоминали некоторые знакомые о моей робости и скромности, очень нравившихся во мне всем…

Керн подвел меня к маркизе; ему, кажется, хотелось, чтобы она меня усадила подле себя, но я, раскланявшись, удалилась опять в свой угол – п благо мне было!

Скоро вошел император, грянула музыка с хор, и m-me Сесл, – ожидавшая там, – своим громким голосом пропела ему хвалебный гимн. Он кончался припевом:

Viva, Alexander, viva!
L'onor di nostra Età[23].

Никогда я столько не восхищалась походкой императора, ему одному свойственной! Он не ступал по зале, а как будто несся на облаках, – спросите у очевидцев – все ото скажут. В этой походке примешивалась робость к неописанной грации. Он вошел, остановился, выслушал гнмн г-жи Сеси с благосклонной улыбкой, прошел несколько далее и, по странной, счастливой случайности, остановился прямо против меня и очень близко, потому что толпа в средине так была велика и пространство между ею и дамами, сидевшими вокруг залы, было так мало, что нужно было только сделать один шаг и протянуть руку, чтобы ангажировать даму. Маркиз Паулучп сделал список дамам, который и прочитал императору… Ему, кажется, хотелось, чтобы император соблюл в танцах чинопочитание, но император обратился, не дослушав списка, к его супруге в перьях, которой несколько раз делалось дурно от страха: она боялась как огня своего мужа; потом император взял в польский свою хозяйку, англичанку, жену негоцианта.

Потом увидал меня, свое скромное vis-à-vis, – и быстро протянул руку. Начались обычные комплименты, а потом

сердечное выражение радости меня видеть – и расспросы о моем здоровье. Я сказала, что долго хворала и что теперь надеюсь полного выздоровления от чувства счастия по случаю возвращения его благосклонности к моему мужу. Он вспомнил, что мельком меня видел в Петербурге, и прибавил: «*Вы знаете, почему не могло быть иначе*».

Я уж и не знаю, что он хотел этим сказать. Не потому ли только не встречался и не разговаривал со мною, что все еще гневался на Керна?..

Первые пары нас, по обычаю польского, разлучили; потом он еще раз меня взял и продолжал начатый разговор. Он сказал, что помнит, как мы молились в Полтаве, «*в той маленькой церкви, если вы помните?*»

Я сказала, что такие минуты не забываются. А он заметил: «*Никогда не забуду первую минуту, когда я вас увидел!*

Далее добавил: «*Скажите, не желаете ли вы чего-нибудь?*» Не могу ли я вам быть полезен?»

Я отвечала, что по возвращении его благосклонного прощения моему мужу мне нечего больше желать, и я этим совершенно счастлива. Опять перервали польский, и в третий раз он меня взял, чтобы опять спросить: не нужно ли мне что от него, и сказал эти незабвенные для меня слова: «*Я хочу, чтобы вам было хорошо!*» – и с нежною добротою проговорил: «*Обращайтесь ко мне, как к родному отцу!*»

После этого спросил еще: «буду ли я завтра на маневрах». Я отвечала, что непременно буду, хотя вовсе этого прежде не желала, боясь до смерти шума и стрельбы. Немного погодя Кайсаров подбежал ко мне и сказал: «*Надеюсь, вы довольны сегодняшним вечером?*»

V

Маневры сорокатысячного корпуса были за Двиной, по ту сторону Московского форштадта, на огромном поле. В конце этого поля сооружена была весьма красивая галерея, обвитая зеленью, – совсем сквозная: на стороне ее, обращенной к полю, был балкон, с которого дамы смотрели на маневры, – а когда все кончилось и в нижней части галереи накрыли стол и все съехались с маневров «Обедать, то дамы, обратившись назад к балюстраде, могли «видеть обедающих.

Случай доставил мне место прямо над верхним концом стола.

Император шел очень тихо и грациозно, все пропуская перед собою старика Сакена, потом посадил его на первое место в конце

стола, по правую свою сторону.

Когда они уселись, заиграла музыка, очень хорошая, одного из наших морских полков, – и заиграла любимые мои арии вместо увертюр…

Формалист Лаптев, дивизионный командир, весьма взволновался этим, особенно когда они заиграли прелестный русский мотив с вариациями:

Возле речки, возле мосту….

Император, разумеется, не обращал на это никакого внимания. Он в это время просил, делая знаки рукой, чтобы не отталкивали бедную, очень старую женщину, которая все еще двигалась вперед, чтобы лучше на него посмотреть.

Между тем Сакен взглянул кверху и приветливо мне поклонился. Это было так близко над их головами, что я слышала, как император спросил у него: «Кому вы это кланяетесь, генерал?» Он отвечал: «*Это г-жа Керн!*»

Тогда император посмотрел наверх и, в свою очередь, ласково мне поклонился. Он несколько раз смотрел потом наверх. Я любовалася всеми его движениями и в особенности манерой резать белый хлеб своею белою прекрасною рукой.

Но – всему бывает конец – и этому счастливому созерцанию моему настала минута – последняя! Я и не думала тогда, что она будет самая последняя для меня…

Вставая из-за стола, император поклонился всем – и я имела счастье убедиться, что он, раскланявшись со всеми и совсем уже уходя, взглянул к нам наверх и мне поклонился в особенности. Это был его последний поклон для меня… До меня дошло потом, что Сакен говорил с императором о моем муже и заметил, между прочим: «Государь, мне ее жаль!»

Он ушел – другие засуетились, и блистательная толпа скрыла государя от меня навеки…

Из воспоминаний о моем детстве

«Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя…»

Февраль 1870 г. Лубны

Начну с начала. Не думайте, почтенный мой читатель (если я удостоюсь такового иметь), что начало ничего не значит; напротив, я убедилась долгим опытом, что оно много и много значит! Роскошная обстановка и любовь среды, окружающей детство, благотворно действуют на все существо человека, и если вдобавок, по счастливой случайности, не повредят сердца, то выйдет существо, презирающее все гадкое и грязное, не способное ни на что низкое и отвратительное, не понимающее подкупности и мелкого расчета. Дайте только характер твердый и правила укрепите; но, к несчастию, пока все или почти все родители и воспитатели на это-то и хромают; они почти сознательно готовы убивать, уничтожать до корня все, что обещает выработаться в характер самостоятельный в их детях. Им нужна больше всего покорность и слепое послушание, а не разумно проявляющаяся воля…

Я родилась в Орле, в доме моего деда Ивана Петровича Вульфа[1], который был там губернатором. Мне и теперь случалось встречать старожилов, вспоминающих о нем с благоговением, как о высокой и благодетельнейшей личности. Я часто повторяюсь в моих воспоминаниях об этом бесподобном человеке, но мне бы хотелось, чтобы узнали все, как он расточал когда-то всем окружающим благодеяния и ласки. Я опять обращусь к нему впоследствии; но теперь довольно.

Бабушка моя Анна Федоровна, дочь Федора Артамоновича Муравьева[2], ездила со всем своим семейством в Петербург в конце прошлого века к брату Николаю Муравьеву, бывшему С.-Петербургскому обер-полицмейстеру, по случаю женитьбы его на Наталии Васильевне Апраксиной, очень богатой, некрасивой, сварливой и скупой… Брак был по расчету… Заключено было условие между ними, что оставшийся в живых получит все состояние умершего… Николай Федорович умер прежде Наталии Васильевны, и она присоединила 70 душ его к своим 2000 и 50 лет после пего жила и играла в карты…

Во время поездки моей бабушки в Петербург мать моя

Екатерина Ивановна[3] вышла замуж за Петра Полторацкого[4], сына Марка Федоровича[5] и известной Агафоклеи Александровны, рожденной Шишковой[6]; а брат ее Николай Иванович Вульф[7] женился на Прасковье Александровне Вындомской. Это была замечательная пара. Муж нянчился с детьми, варил в шлафроке варенье, а жена гоняла на корде лошадей или читала Римскую историю… От последнего брака произошли: друг Пушкина Алексей Николаевич Вульф, сестра его Анна Николаевна, с которою я была дружна всю жизнь, Вревская Евпраксея [8] и другие.

После этих свадеб дедушка получил место губернатора в Орле и поехал туда с бабушкой и двумя парами новобрачных.

Я родилась под зеленым штофным балдахином с белыми и зелеными страусовыми перьями по углам 11-го февраля 1800 года. Обстановка была так роскошна и богата, что у матери моей нашлось под подушкой 70 голландских червонцев, положенных посетительницами (Эти червонцы занял Иван Матвеевич Муравьев-Апостол[9] в 1807 году. Он был тогда в нужде. Впоследствии он женился на богатой и говорил, что женился на целой житнице, но забыл о долге… Что, если бы наследники вспомнили о нем и помогли мне теперь в нужде?.. (Прим. А. П. Керн.)).

Мать моя, восторженно обрадованная моим появлением, сильно огорчалась, когда не умели устроить так, чтобы она могла кормить; от этого сделалось разлитие молока, отнялась нога, и она хромала всю жизнь.

Мать моя часто рассказывала, как ее огорчало, что сварливая и капризная Прасковья Александровна не всегда отпускала ко мне кормилицу своей дочери Анны, родившейся 3 месяцами ранее меня, пока мне нашли другую.

Батюшка мой с пеленок начал надо мною самодурствовать… Он был добр, великодушен, остроумен по-вольтеровски, достаточно по тогдашнему времени образован и глубоко проникнут учением Энциклопедистов, но у него было много задористости и самонадеянности его матери Агафоклеи Александровны, урожденной Шишковой, – побуждавших его капризничать и своевольничать над всеми окружающими… От этого его обращение со мною доходило до нелепости… Когда, бывало, я плакала, оттого что хотела есть или была не совсем здорова, он меня бросал в темную комнату и оставлял в ней до тех пор, пока я от усталости засыпала в слезах… Требовал, чтобы не пеленали и отнюдь не качали, но окружающие делали это по секрету, и он сердился, и мне, малютке, доставалось… От этого прятанья случались казусы, могшие стоить мне Жизни.

Однажды бабушка унесла меня, когда я закричала, на двор во время гололедицы, чтобы он не слыхал моего крика; споткнулась на крыльце, бухнулась со всех ног и меня чуть не задавила собою.

В другой раз две молодые тетушки качали меня па подушке, чтобы унять мои слезы, и уронили меня на кирпичный пол… Это было в дороге. Батюшка вез матушку лечиться в Сорочинцы (Полтавской губернии) к знаменитому тогда Трофимовскому. Он направлялся к живописным Лубнам, где ему хотелось укорениться. В Лубенском уезде дано ему было бабушкою моею в управление имение в 700 душ.

В обращении с крестьянами и прислугою он проявлял большую гуманность. Он был враг телесных наказаний и платил жалованье прислуге в то время, когда на мужиков смотрели исключительно как на рабочую силу… Впрочем, несмотря на гуманность, он, в припадке спекулятивных безумий, продал раз на своз целое селение крестьян.

Спекуляции его разорили. Они имели характер более поэтический, чем деловой, и лопались, как мыльные пузыри.

Чтобы отдохнуть от лечения и разных семейных забот в смущений, мать поехала вместе со мною и другой дочерью, которую сама кормила, к родителям своим, жившим тогда в Тверской губернии, в собственном имении Берпове. В Берпове мы прожили год, потому что я и сестра заболели скарлатиною, от которой сестра умерла.

Из этого года мне памятны няня Васильевна, которая варила мне кашу из сливок, крики на нее батюшки, чтобы она не смела усыплять меня сказками и вообще сидеть около меня, когда я уже положена в постельку, болезнь и противные лекарства, которые меня заставляли принимать. Засыпать одной была мне ужасно, и мне казалось, что приказание батюшки, чтобы няня не сидела возле меня, пока я засну, отдано было мне назло, так как я боялась одиночества в темноте…

Нас было несколько детей в Бернове, из них помню хорошо одну Анну Николаевну Вульф, с которою мы были дружны, как родные сестры. Мы обедывали на маленьком столике в столовой, прежде обеда старших за час или за два. За обедом присутствовала одна из наших няней: моя Пелагея Васильевна и ее Ульяна Карповна, обе добрые, усердные и ласковые. Мне было хорошо и привольно в Бернове, особенно в отсутствие батюшки: все были очень внимательны и нежны ко мне, в особенности наш бесподобный дедушка Иван Петрович Вульф.

Он очень любил птиц. В обеденной зале, смежной с его кабинетом, находилась вольерка с канарейками. Там были гнезда, и их было очень много. Однажды я села на колени к дедушке и

сказала ему: «Я думаю, что жареные канарейки очень вкусны, и я бы хотела, чтобы он приказал жарить мне канареек». Мне не приходило в голову, что их для этого надо убивать: я никогда не ходила в кухню, она отстояла далеко от дому, и не имела понятия о том, как готовятся кушанья… Дедушка не сделал никакого наставления по поводу моего жестокосердия и с своею доброю, кроткою улыбкою сказал: «Хорошо, я велю…» И когда я ушла из залы, приказал стрелять воробьев и жарить… Пользуясь, впрочем, этим, было украдено несколько канареек, и я, заметив убыль, объявила дедушке, что уже довольно жарить канареек, что их уже мало осталось… Дедушка никогда не сердился и на этот раз никого не бранил за пропажу канареек, а выразил только огорчение… и воровство прекратилось. Никто не слышал, чтобы он бранился, возвышал голос, и никто никогда не встречал па его умном лице другого выражения, кроме его обаятельной, доброй улыбки, так мастерски воспроизведенной (в 1811 г.) карандашом Кипренского на стоящем передо мною портрете. Этот портрет рисовался в Твери, и я стояла, облокотясь на стол, за которым сидел дедушка и смотрел на меня с любовью…

Жена дедушки Ивана Петровича – Анна Федоровна была урожденная Муравьева, близкая родственница известного Михаила Никитича Муравьева[10], воспитателя и друга Александра I. Я помню двух сыновей его, Никиту и Александра, приезжавших к нам из Москвы в Берново. Они были ужасно резвы, сорвиголовы, и я их не любила за бесцеремонность обращения со мною и моей кузиною Анной Николаевной Вульф, мечтавшими выйти замуж за Нуму Помпилия или Телемаха, а в случае неудачи за какого-нибудь из русских великих князей. Бабушка Анна Федоровна и сестра ее Любовь Федоровна, нежно мною любимая и горячо привязанная к моей матери, были аристократки. Первая держала себя чрезвычайно важно, даже с детьми своими, несмотря на то, что входила во все мелочи домашнего хозяйства. Так, например, я помню, что в ее уборную приносили кувшины молока и она снимала с них сливки для всего огромного ее семейства. Пироги всегда лепились при ней на большом столе в девичьей, огромной комнате с тремя окнами. Тут пеклись хлебы к светлому празднику и часто разбирался осетр в рост человека. Важничанье бабушки происходило оттого, что она бывала при дворе и представлялась Марии Федоровне во время Павла I с матерью моею, бывшею тогда еще в девицах. Императрица Мария Федоровна, всегда приветливая и ласковая, познакомила мою мать с своими дочерьми Еленою и Александрою Павловнами, сравнивала их рост, и мать моя говорила, что она никогда не видала никого красивее их.

Помню, как бабушка Анна Федоровна долго не соглашалась на брак своей дочери Натальи Ивановны с Василием Ивановичем Вельяшевым, добрейшим человеком, но игроком, получившим из-за карт большую неприятность, и как, согласившись потом по убеждению сыновей, устроила парадный сговор… пригласила гостей, и когда все уселись и Василий Иванович подошел к ней, она взяла руку дочери, положила ее в руку жениха и торжественно сказала: «Василий Иванович, примите руку моей дочери…» Потом быстро ушла, сказав дочери тихо: «Твоя свадьба – мой гроб»… После этого она скоро умерла… Наталия Ивановна и Василий Иванович были очень добры, любили друг друга и были счастливы, хотя он и разорялся от карт, но жена все ему прощала.

У бабушки и у дедушки я прожила с родителями до трех лет, и потом мы поехали в Лубны, где отец мой строил второй дом на чрезвычайно живописном месте, на окраине горы над Сулою, среди липовых, дубовых и березовых рощ, красиво сбегавших по террасам и холмам к реке… За рекою раскидывался обширный вид верст на 25. Этим видом любовался князь Алексей Борисович Куракин[11], говоривший, что не видал ничего лучшего в Швейцарии. Этот Куракин бывал у нас в этом втором доме отца и держал меня на руках, когда доктор прививал мне оспу. Я, разумеется, расплакалась во время этой операции, и он, утешая, говорил: «Это блошка укусила». (Оспопрививание в ту пору было еще редкостью в Лубнах, и все были в страхе за меня.) Он был настоящий магнат с величавой осанкой и самою аристократическою грациозностью и ласковостью. Все лицо его сияло добротою и умом. Он был очень образован и любил моего отца. У отца тогда были друзьями замечательные люди, как, например, князь Виктор Павлович Кочубей[12], близкий императору Александру; князь Лобанов-Ростовский[13], генерал-губернатор впоследствии, и другие. Все они видели в отце моем благонамеренного и умного деятеля.

Когда мы приехали к нему во второй его дом, то он еще не был достроен, и меня переносили по балкам в оконченные комнаты из сеней… Первый построенный отцом дом в Лубнах был им пожертвован под богоугодное заведение в первое трехлетие его предводительства в Лубенском уезде. Он был в этом уезде выше всех головою, и его уважали все. Прежде служил он при Штакльберге во время посольства его в Швеции, и под влиянием его и развивался и читал. Что мудреного, что он обаятельно подействовал на простодушных тогда лубенцев и снискал их уважение и расположение.

Тут замечу, что тогдашняя молодежь, хотя и знала менее, чем

нынешняя, но то, что выучила, знала основательно, и в ней не было того легкомыслия, того схватывания вершков в науках, той распущенности, какая бросается в глаза теперь… Тогда руководились нравственными принципами и отличались силою убеждений. Не так в настоящее время… Тогда в число научных предметов входили мифология, и один офицер стоявшего в Лубнах полка, Брозин, переписал на память часть «Lettres à Emi-lie sur la Mythologie par Demoustier» (Демустье Ш.-А. «Письма к Эмилии о мифологии» (франц.)) для моей матери, когда она потеряла ее и очень об этом сожалела… Подобным образом тогдашняя молодежь знала все науки. Ну, да не об этом речь…

Лубны в это время были наполнены отличными людьми, даже по образованию не слишком запоздалыми. Городничий был Артюхов, очень образованный человек, ее портивший нашего кружка. Аптекарь казенной аптеки – старый-престарый Гильдебрандт, очень добрый, почтенный немец, и его жена, радушная и отличная хозяйка, подобно которой мудрено было встретить. Они жили открыто, были очень гостеприимны, и гости наполняли их дом постоянно. Стол был такой лакомый и изобильный, какой теперь трудно встретить. Так было и у дочерей их, из которых одна была за Кулябкою, другая за Новицким, а третья за Пинкорнелли, бывшим впоследствии Городничим в Лубнах. У этой последней обеды доходили до изумительной роскоши. Во всех этих семействах чистота в домах была такою, какой я не встречала нигде. Пинкорнелли не ел никаких других птиц и животных, кроме белых, и говорил: «Que diable, ни про что знать не хочу, мне чтобы все было…» И действительно, являлось все. Кулябкины были образцовые супруги, и хотя жена была лютеранка, а муж ее православный, но она с ним ездила к заутрене даже в трескучие морозы и соблюдала все посты. При этом говорила: «Мне неможно не ехать к заутрене, милочка-душечка, когда мой Николай Иванович едет… а потом мы вместе кофе пьем…» Кофе подавали им в разных кофейниках, на том основании, что первая чашка бывает лучше и чтобы не было никому из них обидно. Их завтраки отличались изобилием и необыкновенною чопорностью. Несметное количество различных пирожков, и много закусок, домашних и купленных, в особенности водки были верх изящества и разнообразия и красовались в граненых графинах, на которых были красивые надписи, Вырезанные из бумаги ярлычки – «кардамонная», «горькая», «мятная» и проч. Гостям приходилось отведовать их хотя по капельке, но пьяных я никогда не видала. Кутеж не был тогда *в порядке вещей*. Случалось, что отдельные личности на праздниках были розовее других, но больше ничего.

Добрейшая хозяйка этого радушного дома была до того чопорна и до того прюдка[24], что закрывала даже шею платочком от нескромного взгляда. Этот, однако, платочек был вымыт в шафране, чтобы оттенял белизну кожи на лице. Спавши на одной кровати с мужем, она укрывалась отдельно от него простынею и одеялом… У нее однажды сделалась рана на ноге, пригласили доктора, он нашел нужным осмотреть рану, и его заставили смотреть в дырочку на простыне, которая была повешена через комнату, на больную ногу, тщательно закрытую платками, кроле того места, где была рана. Любовь ее к мужу внушила ей одеть его могилу ползущим по земле густым растением с мелкими ярко-зелеными листиками, называемым в Малороссии барвинком. Это было очень красиво и наставляло думать, что в доброй ее душе была поэзия… Все эти три семейства отличались, кроме хлебосольства, чистоплотности, еще такою деликатностью, какой трудно встретить в нынешнем распущенном и плохо воспитанном поколении… Вот поэтому-то с этими добряками приятно и привольно было жить и более просвещенным, чем они, людям. Одна из этой семьи не делала замечаний мужу из деликатности даже тогда, когда он смелыми оборотами доводил семью до разорения, на том основании, как говорила она впоследствии сыну, что все имение принадлежало ей.

Подобных этим было много и в Лубнах и в уезде. Моя семья со всеми ими водила хлеб-соль.

Из уездных самые близкие были Алексеевы. Они жили на старый манер, очень роскошно, в большом замке, наполненном шутами, приживалками, и даже был сумасшедший… Раз этот последний гостил у нас с ними летом, а я, шестилетняя, гуляла без всякого надзора на горке перед балконом и встретила его… Я предложила ему идти вниз, в гости к очень добрым людям, у которых всегда были для меня лакомства. Он пошел. Надо было перейти по узкому карнизу под горой, над огромным обрывом, и даже было такое место, что пропасть зияла с одной стороны тропинки. Этот сумасшедший взял меня на руки и перенес через опасное место, и мы благополучно дошли через лес к добрым знакомым. Они жили в домике, в роще, на очень живописном месте.

Алексеевы лечились у доктора Голованова, который потом женился на нашей родственнице, проживавшей в нашем доме. Он был высоконравственный, образованный и добрый человек, занимавшийся, кроме медицины, садоводством и доведший свой сад до того, что в нем произрастал виноград и плоды Южной Франции. А что у него были за цветы! Его искусство как медика в соединении с чудным климатом и красивою природою

привлекали в Лубны многих больных из очень далеких мест.

У означенных добрых людей сумасшедшему дали водки, а мне конфекты, и мы с ним возвратились домой. Мать моя пришла в ужас от этой прогулки моей с сумасшедшим, могшим швырнуть меня в пропасть, отняла конфекты и засадила в темную комнату. Мне казалось, что лучше бы было, если за мною больше присматривали, чел наказывали без вины. Тут кстати заметить, что хотя чувство родительское прекрасно и священно, но власть родительская далеко не благотворна в большинстве случаев… Она направляется часто не на воспитание детей, по их способностям и влечениям, а по своим соображениям устраивает их карьеру, не спросясь их желаний и наклонностей, и бросает их в брак сообразно с своими выгодами, а не с сердцем детей и в конце концов выходит несчастие.

Не могу умолчать еще о двух семействах: аптекаре казенной аптеки Виндинге и вольной – Деле. Первый был женат на очень умной швейцарке, занимавшейся воспитанием девочек, и всего себя посвящал на работу в казенном ботаническом саду. Почтенный же Деле с своей добрейшей женою сделали свою аптеку славною на сотни верст в окружности, заслужив всеобщую любовь и уважение.

Все они до такой степени были гостеприимны и добродушны, что для удовольствия других не щадили ни себя, ни своего покоя. Так, раз батюшка мой вместе со своею семьею и скрипачом приехал ночью, после ужина, к старичкам Гильдебрандтам, разбудил их и устроил танцы. Старички не только не рассердились, но изо всех сил суетились, чтобы угостить, и были очень счастливы, смотря на веселящихся.

Батюшка мой был очень веселого нрава. В нашем обществе являлся и городской голова Роман Федорович Ждан, умный купец, очень почтенная личность по честности и доброте и весьма любезный по своему бесконечному юмору. Он на всех вечеринках пел с нами малороссийские песни и смешил нас местными анекдотами… В особенности он был очень хорош, когда, избрав для шуток своих жертву, рассказывал ей самым добродушным образом смешные про нее же анекдоты. К этим и многим другим тогдашним людям я до сих пор питаю самые добрые чувства.

Гостиные тогдашних дворян оглашались говором военных, отличавшихся необыкновенной учтивостью, любезностью, образованием и далеко превосходивших во всех отношениях нынешних армейских офицеров.

Тогда тут стоял полк Мелиссино[14], очень умного и доброго серба. Этот генерал говаривал: «Палытыка, палытыка, а рубатыся треба!..»

Этот почтенный старик очень был мил со мною. Раз, когда мне было 4 года, один офицер на вечере у нас посадил меня на колени, слушая, как я читаю, и очень любезно со мной шутил… Это так мне понравилось, что я обещала ему выйти за него замуж. Когда он ушел, я сказала матери. Она, смеясь, сообщила это решение Мелиссипо. Старик хотел узнать, кого я осчастливила своим выбором, но я не могла назвать своего фаворита, потому что не знала его фамилии. Тогда он стал подводить ко мне, сидевшей на комоде, всех офицеров полка… Оказалось, что избранный мной был Гурьев.

Все эти военные и гражданские очень меня ласкали, и среди них прожила я с своею доброю семьею до 8 лет.

Несмотря на постоянные веселости, обеды, балы, на которых я присутствовала, мне удавалось удовлетворять своей страсти к чтению, развившейся во мне с пяти лет. Я все читала тайком книги моей матери… В куклы я никогда не играла и очень была счастлива, если могла участвовать в домашних работах и помогать кому-нибудь в шитье или вязанье… Мне кажется, что большой промах делают воспитатели, позволяя играть детям до скуки, и не придумывают занимательного для них и полезного труда, верного лекарства от скуки.

Куклы, на мой взгляд, разговоры с ними и прочее приучают детей верить в представления своего собственного воображения, как в действительность, и делают детей самообольщающими себя, мечтательными, обманывающими самих себя… Как я сказала, книги заменяли мне игру в куклы, и я так пристрастилась к чтению, что когда была замужем и жила в Петербурге, то прочла всю библиотеку Лури, и он не знал под конец, что мне давать. Но обратимся к моему детству…

Росла я на свободе и в большом изобилии. Отец мой угощал обедами все сословия и внушал всем любовь, уважение и вместе с тем боязнь попасть ему на зубок. Он был очень остер, и его шутки были очень метки…

Состояние его заключалось в двух деревнях под Лубнами в 700 душ с домами, землях и крестьянах в самих Лубнах. Он потом приобрел 150 душ и 1500 десятин за 40 тысяч ассигнациями и, продав их на своз, купил скота, сварил бульон, которым предполагалось кормить армию во время войны, повез его в Петербург, чтобы продать его в казну, но не хотел подмазать приемщиков, и бульон его забраковали. Он привез его в Москву, сложил его там. Пришел Наполеон и съел бульон… Подобными аферами полна его жизнь. Так, например, он, получив землю в Киеве (места в Киеве раздавались тогда даром), вздумал построить, не имея ни гроша денег, огромный дом для всех

лучших магазинов и ездил к хозяевам этих магазинов, убеждал их заплатить ему вперед за проектированные в будущем доме квартиры годовую плату с тем, что он на полученные деньги устроит им помещения в их вкусе. Рабочие были уже наняты, барак для них был уже достроен в долг, и вся афера кончилась процессом. Всех его афер мне и не перечесть… Упоминаю о них для того, чтобы показать, каким путем мы постепенно доходили до разоренья, несмотря на частую помощь бабушки моей: Агафоклеи Александровны. Это была замечательная женщина. Она происходила из фамилии Шишковых. Вышла замуж очень рано, когда еще играла в куклы, за Марка Федоровича Полторацкого. Ее выдали замуж, разумеется, без любви, по соображениям родителей… Против подобных браков, то есть браков по расчету, я всегда возмущалась. Мне казалось, что при вступлении в брак из выгод учиняется преступная продажа человека, как вещи, попирается человеческое достоинство, и есть глубокий разврат, влекущий за собою несчастие… Ну, да об этом так много писано, что нечего распространяться, тем более что никто не внемлет.

Она имела с ним 22 человека детей. Все дети ее были хорошо воспитаны, очень приветливы, обходительны… но довольно легкомысленны и для красного словца не щадили никого и ничего. Они были невысокого мнения друг о друге и верили всяким нелепостям про своих. Как бы они ни говорили, ума было много, но чувства мало. Лучший из них и богатейший по жене был Дмитрий Маркович. Он был бесконечно добр.

Отец мой был одним из младших и менее других любимым своею матерью.

Она была красавица, и хотя не умела ни читать, ни писать, но была так умна и распорядительна, что, владея 4000 душ, многими заводами, фабриками и откупами, вела все хозяйственные дела сама без управляющего через старост. Этих старост она назначала из одной деревни в другую, отдаленную, где не было у них родни. Она была очень строга и часто даже жестока. Жила она в Тверской губернии, в селе Грузинах, в великолепном замке, построенном Растрелли. Он стоял на возвышении. Перед ним лужайка, речка, на ней островки. За ними печальные, выстроившиеся в одну линию каменные избы крестьян. Она всякую зиму лежала в постели и из подушек ее управляла всеми огромными делами, все же лето она была в поле и присматривала за работами. Она из алькова своей прекрасной спальни, с молельною, обитою зеленым сукном, перенесла свое ложе в большую гостиную, отделанную под розовый мрамор, и в этой ее резиденции я впервые увидела ее. Она меня чрезвычайно

полюбила, угощала из своей бонбоньерки конфектами и беспрестанно заставляла меня болтать, что ее очень занимало. В этой комнате были две картины: спаситель во весь рост и Екатерина II. Про первого она говорила, что он ей друг и винокур; а вторую так любила, что купила после ее смерти все рубахи и других уже не носила…

Бабушка заметила, что я всегда плакала, когда выдавали горничных девок замуж, дразнила меня часто тем, что обещала выдать замуж за одного из своих старост…

При ней жило много приживалок, и она любила забавляться их болтовнёю, ссорами, сплетнями. Это все заменяло ей чтение. У нее бывали по преимуществу только те, которые имели с нею дела или надеялись получить от нее какие-либо выгоды, бывали соседи – общество весьма неинтересное, по большей части невежественное, ничего не читавшее, праздное, далекое еще от сознания, что труд обусловливает жизнь, дает ей полноту, смысл, что в нем только человек находит некоторое удовлетворение в своих стремлениях. Посетители бабушки скучны были, скука была неотъемлемою их принадлежностью, и они возили ее всюду с собою. Кормила их бабушка дурно. Обеды у нее были преневкусные. Сама же ела сластно за особым столом, сидя на постели. Редкости разные подавались ей в особых сосудах, из них и мне удавалось иногда лизнуть. С батюшкой она была очень холодна, с матерью моею ласкова, а со мною нежна до того, что беспрестанно давала мне горстями скомканные ассигнации. Я этими подарками несколько возмущалась и все относила маменьке. Мне стыдно было принимать деньги, как будто я была нищая. Раз она спросила у меня, что я хочу: куклу или деревню? Из гордости я попросила куклу и отказалась от деревни. Она, разумеется, дала бы мне деревню; но едва ли бы эта деревня осталась у меня, ее точно так же бы взяли у меня, как и все, что я когда-нибудь имела.

Так, например, отдавая меня замуж, мне дали 2 деревни из приданого моей матери и потом, не прошло году, попросили позволения заложить их для воспитания остальных детей. Я по деликатности и неразумию не поколебалась ни минуты и дала согласие. На вырученные деньги заведены были близ Лубен фабрики: экипажная, суконная и горчичная… Все они вместе сделали то, что я осталась без имения, а отец мой – с большими долгами. Чтобы вознаградить меня и обеспечить будущность других детей, было завещано бабушкою 120 душ, 50 000 и дана нам другими наследниками движимость Грузин и 60 душ. Все это должно было разделить между мною, двумя моими сестрами и братом. Но батюшка устроил так, что мы отдали ему и это на

покупку имения княгини Юсуповой. Покупка не состоялась по неаккуратности отца, потому что мало было денег, и я опять осталась ни с чем. К этой жертве побудил меня брат, писавший, что если я не дам своей части из означенных денег и имения, то все они останутся без куска хлеба. Я сочла себя обязанною исполнить эту просьбу… и приняла ее за обязательство от брата пектись и о моей участи за эту жертву. Брат, пользуясь тем, что означенными деньгами уплочена была уже часть цены за одно имение Юсуповой, доплатил ей при помощи займа и удачных оборотов сколько причиталось за него и стал обеспеченным человеком – а про мою жертву, помогшую ему составить себе состояние, забыл!! Я по восторженной мечтательности своей, вере в брата и родных и по деликатности жертвовала родным, не спрашивая, обеспечат ли они меня за это, и вот около половины столетия перебивалась в нужде… Ну да бог с ними.

Кто не испытал неприятностей от родни? Я удивляюсь подчас, как еще дорожат некоторые родственными отношениями, когда они основаны не на свободном выборе сердца, а на измышленном каком-то долге и когда в жизни много зародышей для ссор и многих стеснений и неприятностей?..

Займусь опять бабушкою и моим счастливым детством… Когда бывала она недовольна кем-нибудь из детей, то проклинала виновного и называла Пугачевым. Батюшка мой чаще всех подвергался ругательствам и проклятиям за свои промахи в делах. Когда он сварил 150 душ в бульоне, то она послала в Малороссию доверенного своего отобрать у отца имения. Впоследствии одно из них ему было возвращено по просьбе Лобанова-Ростовского, благоволившего к отцу. Но прежде этого я, десятилетний ребенок, была свидетельницею страшной сцены по случаю означенного бульона, которою она встретила отца моего, приехавшего к ней из Бернова! Когда он входил к ней, ее чесали. Она вскочила. Седые ее волосы стали дыбом, она страшно закричала, изрекла несколько проклятий и выгнала. Он хотел взять мать и меня и уйти, но она потребовала, чтобы мы остались. Мы просидели у нее целый вечер, и она старалась быть любезной и ни слова не говорила о ссоре ее с отцом. Батюшка пошел к камердинеру своего отца, очень доброму человеку, и провел с ним вечер… На другое утро, в воскресенье, она весь свой двор услала к обедне, а сама осталась дома. Матушка вместе со мною пришла к ней пожелать доброго утра. Она послала за отцом. Когда тот вошел и подошел к руке, она с ним поцеловалась и сказала: «А мы вот говорим о наших чудесах… Слышал ли ты, какие нонче браки бывают…» Известный нам всем Ф. П. Львов[15] женился на своей двоюродной сестре Львовой, имея 10-х детей от

первой жены!! Разговор продолжали весьма дружески, и о ссоре помину не было.

В то время, когда она кричала отцу: вон! – она была так страшна, что я была в ужасе и заболела… В доме у нее никто не смел лечиться у докторов, а должен был прибегать к проживавшему у нее грубому венгерцу. Она не терпела докторов и безотчетно верила в невежественного шарлатана. Ко мне его привели было, но я расплакалась, и его увели…

Такова была моя бабушка со стороны отца. Про мужа ее Марка Федоровича Полторацкого мало было слышно. Знаю, что он происходил из дворян Сосницкого уезда Черниговской губернии; что отец его, Федор Полторацкий, вследствие указов Петра I, требовавших, чтобы дворяне служили в военной службе, укрылся под сень духовного звания и был священником в Соснице; что упомянутый Марк Федорович учился в Киевской бурсе, пел там на клиросе в церкви, был взят оттуда Разумовским, восхитившимся его голосом, поступил в придворную капеллу, сделался придворным императрицы Елизаветы Петровны и, пользуясь ее милостями, доставил состояние своим братьям… Энергическая личность бабушки стушевывала его личность.

Противоположностию ей во всем могла служить милая моя бабушка, родная тетка моей матери, девица Любовь Федоровна Муравьева. Поговорим об этой симпатичной, любящей и доброй особе.

Она с самого замужества моей матери жила с нами. Она была любезная старушка. Красавица в молодости, она внушала вдохновение поэтам, и Богданович поднес ей свою «Душеньку»[16]… Не помню я горькой минуты в своей жизни, которою бы я ей была обязана, и таю в глубине сердца самые светлые о ней воспоминания… Никогда она меня не бранила, никогда не наказывала. Я только знала ее ласки, самые дружеские наставления, как ровне.

Когда я выросла, тогда всегда была готова сознаться ей в какой-либо неосторожности и просить ее совета… Между тем как другие живущие в доме или подводили меня под наказание, или сами умничали надо мною, она всегда была моим другом и защитником. Она продала свое имение за 8000 и отдала их отцу моему, с тем чтобы он содержал ее и ее горничную, которая была другом бабушки. Это также рисует ее доброту. Когда я выходила замуж, то она потребовала, чтобы из ее денег была употреблена 1000 на покупку фермуара для меня. Она ослепла от катарактов, так, как и мне угрожает судьба… Ей сделали неудачно операцию, и она через несколько лет умерла на моих руках…

Я заболталась и забыла, что описываю жизнь в Лубнах в то

время, когда мне было 8 лет.

В этом возрасте мать меня повезла в Берново к чудному моему дедушке Ивану Петровичу Вульфу. Она в это время лишилась 3-й своей дочери, ребенка необыкновенной красоты, была неутешна, и батюшка отправил ее к родным вместе с бабушкой Любовью Федоровной. Это было в 1808 году. Господский дом в Бернове стоял на горе задом к саду, впереди его большой двор, окруженный каменною оградою. Далее площадь, охваченная с обеих сторон крестьянскими избами, и в середине ее против дома каменная церковь.

Через несколько времени после нашего приезда в Берново приехали туда из Тригорского Прасковья Александровна и муж ее Николай Иванович Вульфы со своей дочерью Анною Николаевною, моею сверстницею. Был вечер… Горела тускло сальная свеча в конце большой залы… Они сели на стулья у огромной клетки с канарейками, подозвали к себе меня и маленькую свою дочь с ридикюлем и представили нас друг другу, говоря, что мы должны любить одна другую, как родные сестры, что мы исполняли всю свою жизнь.

Мы обнялись и начали разговаривать. Не о куклах, о нет… Она описывала красоты Тригорского, а я прелести г. Лубен и нашего в них дома. Во время этой беседы она вынула из ридикюля несколько желудей и подарила мне. Смело могу сказать, что подобных детей, как были мы, мне не случалось никогда встречать, и да простит меня читатель, если я увлекусь некоторыми подробностями этой дорогой для меня лучшей поры моей жизни… Анна Николаевна не была такою резвою девочкою, как я; она ˆ была серьезнее, расчетливее и гораздо прилежнее меня к наукам. Такие свойства делали ее любимицею тетушек и впоследствии гувернантки. Различие наших свойств не делало нас холоднее друг дружке, но я была всегда горячее в дружеских излияниях и даже великодушнее. Взаимная наша доверенность была полная, без всяких задних мыслей. Нас и вели совершенно ровно, и покупали мне то, что и ей, в особенности наблюдал это брат моей матери Николай Иванович, превосходное существо с рыцарским настроением и с любовью ко всему изящному, к литературе… Он поручил старшему брату своему Петру Ивановичу Вульфу, служившему кавалером при великих князьях Николае и Михаиле Павловичах, отыскать гувернантку. Случилось такое обстоятельство, что в это самое время искали гувернантку для великой княжны Анны Павловны, которая была наших лет, и выписали из Англии двух гувернанток: m-lie Сибур, и m-lle Бенуа… Эта последняя назначалась к Анне Павловне, но по своим скромным вкусам и желанию отдохнуть после

труженической своей жизни в Лондоне в течение двадцати лет, где она занималась воспитанием детей в домах двух лордов по 10 в каждом, – она предложила своей приятельнице Sybourg заступить свое место у Анны Павловны, а сама приняла предложение Петра Ивановича Вульфа и приехала к нам в Берново в конце 1808 года.

Родители наши тотчас нас с Анной Николаевною ей поручили в полное ее распоряжение. Никто не мешался в ее воспитание, никто не смел делать ей замечаний и нарушать покой ее учебных с нами занятий и мирного уюта ее комнаты, в которой мы учились. Мы помещались в комнате, смежной с ее спальною. Когда я заболевала, то мать брала меня к себе во флигель, и из него я писала записки к Анне Николаевне, такие любезные, что она сохраняла их очень долго. Мы с ней потом переписывались до самой ее смерти, начиная с детства.

Я всегда вела дневник. M-lle Benoit была очень серьезная, сдержанная девица 47 лет с приятною, но некрасивою наружностию. Одета была всегда в белом. Она вообще любила белый цвет и в такой восторг пришла от белого заячьего меха, что сделала из него салоп, покрыв его дорогою шелковою материей. У нее зябли ноги, и она очень тепло обувалась и держала их зимою на мешочке с разогретыми косточками из чернослива. Она сама одевалась, убирала свою комнату и, когда

все было готово, растворяла двери и приглашала нас к себе завтракать. Нам подавали кофе, чай, яйца, хлеб с маслом и мед. За обедом она всегда пила рюмку белого вина после супа и в конце обеда. Любила очень черный хлеб. После завтрака мы ходили гулять в сад и парк, несмотря ни на какую погоду, потом мы садились за уроки. Оказалось, что, несмотря на выученную наизусть по настоянию матери Ломондову грамматику[17], Анна Николаевна ничего не знала, я тоже, и надо было начинать все науки. Она начала так: села на стул перед учебным столом, подозвала нас к себе и сказала: «*Сударыни, хорошо ли вы знаете части речи*?» Мы, не поняв вопроса, разинули рты. Позвали тетушек для перевода; но и они тоже не поняли – это было сказано для них слишком высоким слогом… И m-lle Бенуа начала заниматься с нами по-своему.

Все предметы мы учили, разумеется, на французском языке, и русскому языку учились только 6 недель во время вакаций, на которые приезжал из Москвы студент Марчинский.

Она так умела приохотить нас к учению разнообразием занятий, терпеливым и ясным, без возвышения голоса толкованием, кротким и ровным обращением и безукоризненною справедливостию, что мы не тяготились занятиями,

продолжавшимися целый день, за исключением часов прогулок, часов завтрака, обеда, часа ужина. Воскресенье было свободно, но других праздников не было. Мы любили наши уроки и всякие занятия вроде вязанья и шитья подле m-lle Бенуа, потому что любили, уважали ее и благоговели перед ее властью над нами, исключавшею всякую другую власть. Нам никто не смел сказать слова. Она заботилась о нашем туалете, отрастила нам локоны, сделала коричневые бархотки на головы. Говорили, что на эти бархотки похожи были мои глаза. Хотя она была прюдка и не любила, чтобы говорили при ней о мужчинах, однако же перевязывала и обмывала раны дяди моего больного. Так сильно в ней было человеколюбие.

В сумерках она заставляла нас ложиться на ковер на полу, чтобы спины были ровны, или приказывала ходить по комнате и кланяться на ходу, скользя, или ложилась на кровать и учила нас, стоящих у кровати, петь французские романсы. Рассказывала анекдоты о своих ученицах в Лондоне, о Вильгельме Телле, о Швейцарии. У нас была маленькая детская библиотека с m-me Genlis[18], Ducray-Duminil[19] и другими, и мы в свободные часы и по воскресеньям постоянно читали. Любимые сочинения были: «*Вечерние беседы в замке», «Вечера в хижине*».

Посторонние посетители допускались только те, которые сами хотели заниматься. Так, входила к нам Прасковья Александровна и училась с нами английскому языку… Бывала также у нас Катерина Ивановна Муравьева, фрейлина великой княжны Екатерины Павловны, и читала нам романы Ducray-Duminil. Она была тогда 17-и лет и совершенная красавица. Она меня очень любила, я ее тоже; но меня удивляло, как она могла находить удовольствие в беседе с ребенком, каким была я?.. Это было очень доброе существо! Говорили, что император восхищался ее красотою и был в нее влюблен!

В Берново часто ездили соседи, и мы ездили раз с m-lle Benoit к соседнему помещику, но ей это не нравилось, и мы проводили время дома. В зале нашего дома иногда по праздникам зимою являлись цыгане, кочевавшие па земле дедушки, плясали и поли, учили нас с Анной Николаевной русской пляске. Этой же пляске, только с театральным оттенком, нас учил Николай Александрович Муравьев[20], очень любезный и добрый человек, он был моряк. Цыган мы этих каждую зиму встречали, как самых дорогих гостей, цыганки из их табора были нашими приятельницами…

В одну из зим приехала в Берново Екатерина Федоровна Муравьева[21] с двумя сыновьями – Никитой[22] и Александром[23]. Последний был мне ровесник. Нам было по 10 лет тогда. Они с

нами резвились, дурачились, обращались очень бесцеремонно, это нам очень не нравилось. Мы о себе так высоко думали, что считали себя достойными только принцев и исторических героев вроде Нумы Помпилия и Телемаха. На этих веселых шалунов влияла, однако, сильно их заботливая добрая мать, и я помню даже, что одного из них впоследствии, именно Александра, когда ему было 19 лет, она услала с бала у Олениных, на котором и я была, в 10 часов домой спать. Это был тот, которому было суждено испить горькую чашу. Брат его Никита, несмотря на влияние матери, бежал было в 12-м году из-под ее ферулы с целью поступить в военную службу и быть в рядах патриотов, защищавших отечество, но так как он говорил в детстве только на английском и на родном языке изъяснялся, как иностранец, то его крестьяне приняли за француза и представили Растопчину[24]. А тот возвратил его матери. Но я забегаю все вперед…

Жила я в Бернове и воспитывалась у m-lle Benoit с 8 лет до 12-го года. Последний год мы жили уже без бабушки Анны Федоровны. Она умерла в конце 10-го года. Когда она умирала, то меня, чтобы я не была свидетельницею трагических сцен и похорон, увезли на несколько дней в Грузины… После ее кончины батюшка задумал перевезти нас с маменькою в Москву для окончания там моего воспитания. Но прежде летом перевез нас в маменькину деревню и поместил в двух крестьянских избах. M-lle Benoit просила его оставить меня у нее, обещала учить даром, но батюшка не изменил решения. Из деревни мы хотели уже направиться в Москву, но пришел Наполеон, и наш план изменился. Мы поехали в Лубны, и, исколесив 12 губерний, стараясь не наткнуться на французов и объезжая Москву, мы осенью в 12-м году приехали в Лубны. Путешествовали мы в 10 экипажах, на своих лошадях, останавливаясь ради дешевизны корма не в городах, а по деревням. Так мы остановились и под Владимиром.

Батюшка поехал в город и нашел там в большом чьем-то доме много родных и знакомых, бежавших из Москвы. В этом доме была Екатерина Федоровна Муравьева с сыновьями, из которых Никита только что возвращен ей был из бегов… Тут же приютилась и сестра бабушки Анны

Федоровны, монахиня Настасья Федоровна, попавшая в монахини случайно, обманом. Мать ее ехала куда-то и заехала в монастырь к знакомой игуменье. Та упросила ее оставить дочь в монастыре погостить. Когда же мать вернулась, дочь уже была пострижена. Много было в означенном доме люду.

В числе их была и тетка моя Анна Ивановна[25], которая вместе с Пусторослевыми подобрала где-то на дороге раненного под

Москвою Михаила Николаевича Муравьева[26],

которому было тогда только 15 лет. Он лежал в одной из комнат того дома, в котором помещались наши родные и в который и нас перетащили из деревни. Тетушка приводила меня к нему, чтобы я ей помогала делать корпию для его раны. Однажды она забыла у него свои ножницы и послала меня за ними. Я вошла в его комнату и застала там еще двух молодых людей. Я присела и сказала, что пришла за ножницами. Один из них вертел их в руках и с поклоном подал мне их. Когда я уходила, кто-то из них сказал: *она очаровательна!* Я бы об этой встрече с Муравьевым и не упомянула, если бы впоследствии она не сделалась бы для меня знаменательною… Через 45 лет потом я сидела в Петербурге у двоюродной моей сестры Безобразовой[27] среди других родственниц, как доложили, что приехал Михаил Николаевич Муравьев. Вся компания ждала этого визита с нетерпением. Когда он вошел, раскланялся с нами со всеми, то хозяйка представила меня ему. И когда я ему сказала, что мы старые знакомые и что не припомнит ли он, как я делала ему корпию во Владимире, то он сплеснул руками, сделал несколько шагов ко мне, взял обе мои руки, стал их целовать и все повторял: «Ах, боже, это Анна Петровна…» Потом, сидя на диване, беспрестанно на меня смотрел и все повторял: «Ах, боже мой, это Анна Петровна… Я много вас искал…» Он так был нежен и ласков со мной, что возбудил ко мне зависть в присутствующих. Это мне было очень грустно.

Из Владимира мы поехали к дяде моему Александру Марковичу, жившему в Тамбовской губернии. Он дал нам карету, и мы в ней поехали в Малороссию. С нами ехала бабушка Любовь Федоровна и тетушка Анна Ивановна… Эта последняя очень меня огорчила дорогою, окромсавши мне волосы по-солдатски, чтобы я не кокетничала ими. Я горько плакала. Вообще эта дорога не оставила мне приятных воспоминаний. Было холодно, верхняя одежда моя была очень легка и бедна, и я все зябла.

Но как бы там ни было, а мы благополучно доехали до Лубен. Тут я прожила до замужества, уча меньшого брата и сестер, танцуя, читая, участвуя в домашних спектаклях, подобно тому как в детстве в Бернове, где m-lle Be-noit заставляла нас разыгрывать разные комедии детские, петь романсы. Это всегда делалось сюрпризом.

Батюшка продолжал быть со мною строг, и я девушкой так же его боялась, как и в детстве. Если мне случалось танцевать с кем-нибудь два раза, то он жестоко бранил маменьку, зачем она допускала это, и мне было горько, и я плакала. Ни один бал не проходил, чтобы мне батюшка не сделал сцены или на бале, или

после бала. Я была в ужасе от него и не смела подумать противоречить ему даже мысленно.

В Лубнах стоял Егерский полк. Все офицеры его были моими поклонниками и даже полковой командир, старик Экельн. Дивизионным командиром дивизии, в которой был этот полк, был Керн. Он познакомился с нами и стал за мною ухаживать. Как только это заметили, то перестали меня распекать и сделались ласковы. Этот доблестный генерал так мне был противен, что я не могла говорить с ним. Имея виды на него, батюшка отказывал всем просившим у него моей руки и пришел в неописанный восторг, когда услышал, что герой ста сражений восхотел посвататься за меня и искал случая объясниться со мною. Когда об этом сказали мне, то я велела ему отвечать, что я готова выслушать его объяснение, лишь бы недолго и немного разговаривал, и что я решилась выйти за него в угождение отцу и матери, которые сильно желали этого. Передательницу генеральских желаний я спросила: «А буду

я его любить, когда сделаюсь его женою?» – и она ответила: «Разумеется…» Когда нас свели, и он меня спросил: «Не противен ли я вам?» – я отвечала «нет» и убежала, а он пошел к родителям и сделался женихом. Его поселили в нашем доме. Меня заставляли почаще бывать у него в комнате. Раз я принудила себя войти к нему, когда он сидел с другом своим, майором, у стола, что-то писал и плакал. Я спросила его, что он пишет, и он показал мне написанные им стихи:

Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах…[28]

Я сказала: «Да, знаю. Это старая песня». А он мне ответил: «Я покажу, что она будет не «старая»… и я убежала. Он пожаловался, и меня распекали.

Батюшка преследовал всех, которые могли открыть мне глаза насчет предстоящего супружества, прогнал мою компаньонку, которая говорила мне все: несчастная! и сторожил меня, как евнух, все ублажая в пользу безобразного старого генерала… Он употреблял все меры, чтобы брак состоялся, и он действительно состоялся в 1817 году, 8-го января… Мое несчастье в супружестве не таково, чтобы возможно его описать теперь, когда я уже переживаю последние листки моего собственного романа и когда мир и всепрощение низошли в мою душу, а потому я этим и кончу свое последнее сказание…

Дневник для отдохновения, посвященный Феодосии Полторацкой, лучшему из друзей

№ 1

Псков, 23 июня 1820.

Я обещала поверять вам все мои мысли, а также поступки, ни в чем не меняя порядка, который заведен был у нас в то блаженное время, когда мне не приходилось прибегать для этого к помощи пера и бумаги. Время то прошло безвозвратно, и оплакивать его бесполезно. Я утешаюсь надеждой, спей опорой несчастных: вера в божественное провидение позволяет мне уповать на будущее. Неужто небо и в будущем, хотя бы самом отдаленном, откажет мне в той единственной милости, о коей я прошу его в горячих моих молитвах? Нет, невозможно мне быть счастливой вдалеке от тех, кого я люблю. Итак, я здесь прозябаю, усердно стараясь выполнять долг свой, во всем следуя наставлениям добродетельного моего друга, навсегда запечатлевшимся в моей памяти: мне удается быть почти спокойной, когда я занята, а я без дела никогда не сижу, постоянно читаю либо пишу что-нибудь, сама поверяю счета, занимаюсь своей дочерью, – словом, за весь день, можно сказать, минуты свободной нет, но если вдруг что-нибудь напомнит мне Лубны, мне делается так больно – невозможно описать вам чувства, которые меня тогда охватывают. Чтобы обрести сколько-нибудь спокойствия, мне надобно позабыть о пленительном призраке счастья, но как вычеркнуть из памяти ту единственную пору моего существования, когда я жила? Как расстаться со сладостной мечтой души моей? За те упоительные дни блаженства и должна я теперь покорно и терпеливо сносить все. Да, никто никогда не любил так, как любила я, и ни у кого еще не было более достойного избранника. Откладываю перо, боюсь совсем разволноваться.

Вообразите, куда ни брошу взгляд, всюду нахожу я раздирающие душу воспоминания: вот подсвечник, подарок лучшей и нежнейшей из матерей, а вот передо мной мой альбом, сей «Язык цветов»[1], с помощью которого я могу беседовать с вами, мой ангел, слева от меня – образа, напоминающие мне то место, где они прежде находились. У меня иной раз до того

разыгрывается воображение, что чудится, будто их трогает моя судьба и они печалятся о том, что я несчастна. Представьте себе, я не могу надеть то платье, в котором ходила у вас, мне кажется это чем-то кощунственным, я сшила себе новое, домашнее – оно-то хоть не будет связано ни с какими воспоминаниями, мне подарил его муж, оно из коричневой материи, как (*не-разб.*) и обошлось, кажется, всего в 23 рубля. Есть еще и другие платья, вызывающие кое-какие нежные воспоминания, я даже смотреть на них не могу, слишком делается от этого грустно.

Звонят к вечерне, завтра праздник, Иванов день! Только для вашей Анеты нет больше праздников! В том счастливом краю, где живете вы, в этот вечер горят веселые огни, а у меня здесь все те же огни жасмина.

24-го, полдень.

Только что вернулась от обедни. По чрезмерной своей мягкости, я дала себя уговорить и вопреки собственному желанию поехала в монастырь, где нынче престольный праздник, а следовательно, много народу. Обедню служил архиерей. Очень я раскаивалась в том, что поехала, и мысленно давала себе слово не быть впредь столь сговорчивой. Когда искренне жаждешь предаться молитве, делается не по себе в толпе всех этих людей, которые обычно приходят в церковь лишь затем, чтобы покрасоваться. Невольные слезы, что исторгает молитва из глубин взволнованной души, не могут свободно излиться среди такого множества людей, устремивших на тебя свои взоры. Так было и сегодня со мной. Я проклинала себя за несносную свою податливость и дорого бы дала, чтобы остаться незамеченной и иметь возможность вволю поплакать, благодаря создателя за прежние дни счастья, что он даровал мне. Я твердо решила отныне ходить только в ту церковь, где менее всего бывает народу.

25-го, в 5 часов пополудни.

Нынче я в самом мрачном расположении духа, то есть еще более мрачном, чем все прошлые дни. Я и сама не понимаю, отчего я стала всего бояться, даже стала суеверной, – сущий пустяк, сон какой-нибудь – и я уже сама не своя; вот сегодня мне приснилось, будто я потеряла правую серьгу, а потом нашла ее сломанной, и мне уже кажется, что это не к добру, и не иначе как предзнаменование какое-то, потому что я никогда и не думаю о подобных вещах, а ведь снится нам, я в этом уверена, только то, о чем мы думаем. С тех пор как мы с вами расстались, не было ни одной ночи, чтобы мне не приснились Лубны, только на первом

месте в этих снах Мирт, а Барвинок на втором.

Не кажется ли вам, милый друг, что сны посылаются, нам небом, дабы, утешая нас в наших горестях и уменьшая наши печали, тем самым вознаградить за дневные страдания. Я всякий раз, когда мне снится, будто я с вами, возношу благодарность господу за его милость, и тогда почти уверена, что он мною доволен.

Погода нынче отвратительна, муж отправился на учения за восемь верст отсюда. До чего я рада, что осталась одна, – легче дышится. Все сегодня словно сговорились мучить меня воспоминаниями – Киру Ивановичу[2] вдруг пришла фантазия сыграть на гитаре несколько мотивов, и выбрал он как раз те самые, что играл в Лубнах, а я не могу слышать их спокойно. Но от чего я совсем разволновалась, так это от польского – помните, мы танцевали его несколько раз под гитару? Никогда этого не забуду; как больно мне, когда я вспоминаю о вас, и вместе с тем как хорошо. Эти чувства так теснят мне грудь, что становится трудно дышать.

Я сделала выписки из одной очень хорошей книги, которую только что прочла, «Эмили Монтань», посылаю е их вам с этим номером дневника вместе с размышлениями, к коим они меня побудили; я уверена, что вы, как и я, найдете в этих отрывках много справедливого, ведь у нас с вами родственные души, все, что трогает меня, должно тронуть и вас, все, что меня поражает, должно и вас поразить. Но в одном я твердо уверена – что бы ни послала вам ваша Анета, все будет вам только приятно.

26-го, в 10 утра, суббота.

Благодарю тебя, о господи, за счастливое пробуждение. Спасибо, мой ангел, за ваше письмо, да будет с вами благословение Божие, да осыпет Он вас бесконечными своими милостями. Если бы вы только могли вообразить себе, до чего я была счастлива, получив ваше письмо, – просто невозможно выразить это словами. Я обожаю Шиповника и Барвинка, так ясно представляю себе, как он благодарит вас взглядом, исполненным нежности; у меня выписано тут одно выражение, которое очень подходит к его глазам: «Я не знаю человека, которому так полезны были бы глаза его, ему словно нет даже надобности произносить слова, чтобы быть понятым, они говорят все, что он хочет сказать». И в самом деле, ведь мы не обменялись с ним и десятью словами, а сколько друг другу сказали! Как хорошо я знаю его душу! Ведь она прекрасна, не правда ли, мой ангел, разве не достойна она общения с моей душой и с вашей?

Мне пришла в голову одна мысль – помните эстамп, который я просила дать закончить тому юноше, – пусть он изобразит офицера в форменном сюртуке, со скрещенными на груди руками, это будет точь-в-точь Шиповник во время нашего последнего прощания. И я могла бы сама дорисовать то, что окончательно дополнило бы иллюзию, – то есть акселъбант.

Вот причина, почему я беспокойно провела ночь, – уснула я уже под утро, и мне привиделся сон – будто муж привел меня к предсказательнице, а та велит мне взойти в какую-то каморку, задает всякие вопросы, а потом вдруг говорит, что скоро я соединюсь с Шиповником. Вы представить себе не можете, до чего я была поражена, когда она произнесла его имя.

Суббота, в половине пятого.

Как я сегодня счастлива! Читала и перечитывала ваше прелестное письмо более десяти раз. Кто еще может похвалиться тем, что обладает подобным сокровищем? Да никто. Ваша Анета единственная счастливица. Небо подарило ей друга, которого нет больше ни у кого на свете.

Прежде всего скажу, что я во что бы то ни стало избавлюсь от этой особы[3], мы не можем оставаться вместе, слишком у нас непохожие характеры, чтобы мы долго могли выносить друг друга. Не хочу поднимать истории, подожду, пока мы найдем няню.

А теперь позвольте к этому присовокупить мои выписки вместе с их переводом, я сама его сделала, для того чтобы вы, если понадобится, могли бы познакомить с ними тех, кто недостаточно владеет французским; а может быть, вам и самой приятно будет иметь их на обоих языках: «Le cours de la vie n’est qu’un passage triste et languissant si l,on n’y respire 1’air doux de l’amour» («Течение жизни нашей есть только скучный и унылый переход, если не дышишь в нем сладким воздухом любви»).

Разве это не бесспорная истина, мой ангел? Вы, быть может, скажете, что когда нет любви, ее можно восполнить дружбой? На это я отвечу вам: только в том случае, когда речь идет о дружбе, подобной нашей, – но ведь дружба наша та же любовь, я не то что люблю, я обожаю вас, и будь вы мужчиной, вы были бы моим избранником… но вы лучше меня, и я не смею продолжать сие сравнение. Вот что говорится в моем романе о чувствительности <…> «*Какую неописанную прелесть мы находим в чувствительности. Это магнит, притягивающий к себе все. Добродетель вправе требовать уважения, разум и дарования –*

удивления; красота может возбудить желания, но одна только чувствительность может внушить истинную любовь».

Именно она связывает и нас с вами <…> К этому я бы еще добавила, что мы не умели думать и, полагая в этом наше счастье, принимали решения, которые сделали нас на всю жизнь несчастными. «*Как прискорбно, что счастие или несчастие целой жизни нашей бывает обыкновенно решено прежде, нежели мы в состоянии судить о том или другом. Удерживаемые обычаем, а иногда и предрассудками странными и смешными, мы бываем увлечены общим примером и тогда только, когда уже не время, начинаем размышлять*».

Я нахожу, что все это верные мысли, некоторые из них я могла бы подтвердить собственным моим опытом, не так ли, мой ангел? И самый лучший из них, по-моему, тот отрывок, в котором любовь рассматривается в связи со священными узами брака <… > И напротив, вовсе неверно, будто любовь может возникнуть при равнодушии друг к другу; я думаю, что равнодушие порождает одно лишь равнодушие, если не отвращение, а у натур заурядных и грубых – привычку. Я подобные истины объявляю ложными! «*Говорят, что супружества, заключенные по страсти, всегда несчастливы… Так, супружества, основанные на одной только страсти, не могут быть благополучны. Страсть удовольствована, и нежность исчезает с нею. Но любовь, сие любезное дитя симпатии и уважения, связывает нас узами бесконечного блаженства; это единственное счастье, позволительное желать. Она есть искуснее, нежнее дружества, оживляемого самым живым вкусом и пылким желанием нравиться. Время, не истребляя этой нежной привязанности, делает ее день ото дня живее и приятнее*».

Ежели бы теперь, в мои годы, мне нужно было решать свою судьбу – уж я бы сумела быть счастливой. Но не будем об этом говорить, надобно терпеть, а главное, не позволять себе роптать.

Прошу вас, милый друг, устройте так, чтобы не он переписывал «Трумфа»[4]. Во-первых, не хочу, чтобы муж что-нибудь заподозрил, вздумав сличать «Трумфа» с почерком, которым написаны стихи в моем альбоме. Во-вторых, это значило бы опозорить его руку, комедия эта недостойна того, чтобы он ее переписывал.

И еще прошу, ежели только вы этого не сделали, передайте ему «Мой друг-хранитель»[5] и пообещайте, что если он его потеряет, ему это будет прощено. Уведомьте меня, если вы это уже сделали.

Посылаю вам лоскуток материи, из которой сшиты мои Домашние платья, а по кисету, который я посылаю пареньке, вы

увидите, какое платье я купила себе в Орше за 80 рублей, оно вроде того, что было на г-же Таубе, эта материя называется персидский шелк; такого же цвета и платье, которое мне привезли из Петербурга, – оно из той же материи, что и мое белое, муаровое, отделка у него прелестная, да только оно с короткими рукавами, и я не хочу надевать его, пока не сделаю к нему длинные рукава. Не хочу показывать свои красивые руки, как бы это не привело ко всяким приключениям, а с этим теперь покончено, и я буду обожать Шиповника до последнего своего вздоха, разумеется, однако, если он останется мне верен – свое сердце я отдаю в обмен на его. О, какая прекрасная, какая возвышенная у него душа!

Как вы думаете, ведь папеньке будет приятен этот кисет? Я бы ничего больше не успела сделать, но я сама его шью, вы мне напишите, понравится ли ему он? Скажу вам, что я еще никуда не выезжала. Но на той неделе поеду к губернаторше и тогда надену это синее платье; оно сшито под шею и с длинными рукавами по тому фасону, кап у Мальвины, что у вас на картинке осталось. Я поеду тоже к нашей полковнице. Я рада, что мне это позволили. Она добрая женщина, и лучше, мое правило, жить в миру со всеми; терпеть не могу быть в ссоре! Насчет Кира Ивановича скажу вам, что он более не сердится и обещал мне писать к папеньке и маменьке; вы, наверно, думаете, что Ольга Андреевна причиною его неудовольствия. Он со мной был довольно откровенен – признался, что ему было приятно видеть, что маменька так хорошо к нему расположена, но что папенька, приехавши из Петербурга, ни слева ему не сказал и при прощанье закричал, что все только на словах, а на деле ничего, что ему было больно. Я всячески старалась его извинить, и теперь он все забыл. Я думаю, вы по этой же почте получите удостоверение.

№ 3

В 7 часов.

А я все продолжаю писать, не боясь наскучить вам своей болтовней. Завтра воскресенье, пойду к обедне, буду благодарить господа за сегодняшний день – когда бы один такой день выпадал мне на долю каждую неделю, как я была бы счастлива! Вы будете получать мои письма тоже раз в неделю, только придется вам тратить на них много времени – пожалуй, хватит чтения до следующей почты. Посылаю вам, мой ангел, два платка, которыми муж позволил мне распорядиться по моему усмотрению. Я помню, вы однажды выразили желание иметь

полосатый платок. Другой я хочу подарить Ольге Андреевне, она женщина бедная, ей это будет приятно, да и к свадьбе пригодится. Возьмите себе, мой ангел, тот, который больше вам понравится, и носите его из любви к вашей Анете, а для нее нет большего счастья, чем сделать вам что-то приятное. Другой же пошлите от меня Ольге Андреевне. Мне черный больше нравится, а впрочем, как вы хотите, моя бесценная. Я бы желала, чтобы и вам черный понравился. Пишите мне, мой ангел неоцененный, мое сокровище. Пишите во имя всего, что вам дорого. *Употребите все старания, чтобы быть скоро здоровой, берегите себя для меня. Чтобы не подвергнуть себя вашему гневу, я не скажу вам, сколько драгоценно для меня ваше здоровье; оставляю перо, чтобы приняться за работу для папеньки. Обнимаю вас, мой ангел, и благословляю мысленно так же, как и Шиповника*.

<…>

Воскресенье, в 10 часов утра.

«Для дружбы нужны самые солидные добродетели; она обыкновенно приобретается справедливостью, постоянством и твердой однообразностью характера. Любовь же, напротив, восхищается всегда сим неизъяснимым сам не знаю что. Она сама и для себя только рождает идола, которому поклоняется, она находит прелести в пороках даже своего предмета». О, как это справедливо. Никогда не забуду, когда Шиповник рассердился.

Но видите ли, только что проснулась – и за перо. Сейчас еду к обедне. У нас очень холодно. Я надеваю черный бархатный капот, и он имеет для меня сладкие воспоминания. Целую ваши ручки и посылаю вам доброго дня, благодаря бога за прекрасный сон. Целую Шиповника глазки, увы! мысленно.

Сейчас возвратилась от обедни, была в соборе, усердно молилась богу, вспомня Троицын день. Архиерей служил, и певчие очень хорошо пели. Я была одна, совершенно одна. Вообразите, каково мне было, вспомня Лубны, мою бесценную маменьку. Сердце сильно у меня билось, когда я въезжала под большой каменный свод и подъезжала к вратам церкви; мне казалось, что я одна во всей природе, и когда вошла в церковь, насилу могла перевести дух; я пошла по левую сторону, где меньше было народу, и недалеко от левого крылоса заняла пустое место у стены, между двух очень бедных старушек. До половины обедни я спокойно молилась, но вдруг я заметила, что глаза всех мужчин устремлены на меня, чего никак нельзя было избежать, ибо они стояли на правой стороне, совершенно против меня; добрый мой телохранитель стоял недалеко позади меня. Еще

более меня потревожило то, что двое мужчин неподалеку от меня стояли, и увидела пьяных или сумасшедших, разговаривающих между собой, мне казалось, про меня. Я вспомнила вас, мой ангел. Вот что значит слабость нервов. Мне так сделалось дурно, что я чуть не упала и решила подозвать к себе Кира И. и после была спокойнее, спешила скорее из церкви, никого не видела. Голова и теперь кружится.

В 5 часов пополудни.

Только что у меня был весьма интересный разговор с мужем, сейчас вам его перескажу. Он говорит, что слышал, будто с генералом, который командует в нашем корпусе второй дивизией, случился апоплексический удар, он лежит в параличе, и поэтому есть слух, будто дивизию эту передадут мужу; если же нет, он тотчас же по возвращении императора хочет ехать в Петербург и там возложить устройство своей судьбы на меня. Он обещается, если мне это удастся, сделать для меня все, что я захочу, а самое главное мое желание – съездить в гости к вам. Вы рады? В благодарность за столь приятное обещание я дала слово, что сделаю все, что будет в моих силах, чтобы добиться у императора этого назначения.

Еще он сказал, что ежели получит эту дивизию тотчас же, то позволит мне поехать к вам осенью. Так что я теперь почти уверена, что так или иначе увижу вас еще до конца этого года. Разве это не восхитительно, мой ангел? Сообщите об этом Шиповнику и перескажите мне его ответ. Пока я еще не смею и верить, что такое счастье возможно. Вы скажете, быть может, что это будет стоить слишком много денег, а я вам скажу, что нет, потому что в Риге очень дорога жизнь, а мы именно там будем квартировать, ежели планы осуществятся: к тому же ведь я тогда буду богатой – и жалование большое, и аренда, что и делать с такими деньгами, как не доставлять себе удовольствия в жизни, а для меня единственное удовольствие – это Лубны. Все другие места на свете мне безразличны.

Скажу вам, что мы с минуты на минуту ожидаем Лаптева, а потом корпусного командира. Муж хотел было устроить в его честь обед, но сделать этого не может, потому что не в ладах с Лаптевым[6], а я этому только рада – на мой взгляд, все это такие ничтожные люди, у меня охоты нет видеть кого-либо из них, всякое новое лицо меня стесняет, не хочу никого видеть. Это очень верно, что «*опасно слишком предаваться очарованиям дружбы, ибо она отбивает вкус к общению с другими людьми*».

Да, мой ангел, после тех приятных бесед, что мы с вами вели, я уже не нахожу никого, с кем могла бы разговаривать. На мою

беду, у меня нет середины – все или ничего – мой нрав таков; я либо холодна, либо горяча, а равнодушной быть не умею. Поговорите-ка с Шиповником о моих планах, будет рад он, если я приеду в сентябре? Как, на ваш взгляд? О, если бы вы могли ответить на это! Если бы могли сейчас услышать меня!

Нынче у нас обедал один молодой человек, он адъютант Магденки[7], брат его дамы сердца, юноша весьма воспитанный и хорошего тона. Можете себе представить, я вышла только к обеду. Для меня просто мучение видеть кого-либо. Он сразу же затеял со мной любезный разговор – как видно, он был изумлен, увидев меня, только я ему, должно быть, показалась странной, чудной, или же глупой: я ведь не похожа на других! Признаюсь, иной раз я немножко кокетничаю, но теперь, когда все мои мысли заняты одним, я уверена, нет женщины, которая так мало стремилась бы нравиться, как я, мне это даже досадно. Вот почему я была бы самой надежной, самой верной, самой некокетливой женой, если бы… Да, но «если бы»! Это «если бы» почему-то преграждает путь всем моим благим намерениям. Можете быть уверенной, что Шиповника я буду любить до последнего своего вздоха, так что не беспокойтесь, несчастных из-за меня будет не так уж много, вы же знаете, что иной раз это получается помимо моей воли. Так что просто из сострадания к мужскому полу я решила как можно реже показываться на людях, чтобы избавить его от страданий несчастной любви. Впрочем, довольно мне шутить, ангел мой. Это случается со мной только после добрых вестей. Этот дневник весь пропитан моей печалью.

№ 4

6 часов.

Сейчас перечла конец третьего номера и подивилась, какие глупости я там понаписала. Ну, да все равно – они вас рассмешат, но вы не станете слишком осуждать меня за них и не отвратите от меня своего сердца. Если я заставлю вас посмеяться несколько минут – я этому буду только рада. Только я вам советую не вдруг читать мой журнал, он может повредить вашему здоровью, и тогда я себе этого не прощу. Еще раз прошу вас, мой ангел, берегите свое здоровье, если хотите, чтобы я свое берегла, – нити наших жизней так тесно переплелись между собой, что ни одна из нас не может забелеть, не нанеся ущерба здоровью другой.

Я провела только что целый час в обществе нескольких офицеров нашей бригады и чуть не умерла со скуки. До чего же противные! Но когда ты спокоен, смотришь на них безо всякой

досады, словно на китайские тени, – только и разницы, что эти говорят, – но наперед знаешь все их вопросы и ответы. Расстаешься с ними совершенно равнодушно.

Я оставила их заканчивать беседу с моим мужем; вы догадываетесь о предмете их разговоров – единственно доступном пониманию этих людей без души. Бедная я! Свою душу я стараюсь спрятать подальше, скрыть ее, насколько это мне удается, и разговаривать с ними возможно более пошлым тоном.

А теперь, мой ангел, поздравляю вас с именинами дорогого папеньки. Хоть бы вы провели этот день веселее, чем проведет его ваша Анета! Уж верно, в этот день у вас будет и Шиповник. Это будет послезавтра. Я уже представляю себе, как вы, мой ангел, беседуете с милым моим Шиповником, стараясь успокоить прекрасную его душу, которая, я уверена, опечалена будет моим отсутствием. Поговорите с ним обо мне, скажите ему, что я хотела бы быть ему другом. На сей случай хочу привести слова героини моего романа: «*Его видеть, его слышать, быть его другом, поверенной всех его предприятий… Быть беспрестанно свидетельницей всех чувствований этой прекрасной и великой души. Я не уступила бы сего удовольствия за обладание царством вселенной».*

Во имя самого неба, прочтите ему этот отрывок, напишите, что он сказал. А вот еще один: «*Люди, которые все относят к чувственности, или равнодушные почтут мою привязанность за романическое чувство. Сколь мало сердец, способных любить. Они могут уметь страсть, иметь почтение, они могут чувствовать и то и другое вместе: это только хорошее подражание любви, но знают ли они сей животворящий огонь, сию живую нежность, заставляющую нас забывать о себе, переноситься в другую сферу, когда касается до благополучия и чести обожаемого нами предмета?»*

Не знаю, понравится ли вам этот перевод, в нем, конечно, есть ошибки, но у меня нет словаря. Дайте ему это прочесть, если возможно, мне бы так этого хотелось, не откажите мне, доставьте мне это удовольствие, вы сделаете меня счастливой. Если бы вы были не вы, разве стала бы я говорить вам все это? Но я надеюсь на вашу снисходительность. «*Излить чувствительное сердце можно лишь на груди подруги, той же чувствительностью охваченной».* Посылаю вам много писем, перешлите их по адресу, одно из них к Каролине; когда узнаете, где она, отправьте его ей. На сегодня прощаюсь с вами, ангел мой, обнимаю вас, желаю вам доброй ночи и приятных сновидений. Того же желаю и Шиповнику, да хранит его господь и вашу Анету вместе с ним. Прощайте, устала. До свидания, мой ангел.

Понедельник, 28 июня, в чае.

Все письма готовы, милый друг. Посылаю их вам – одно из них к Каролине. Как грустно мне будет завтра: ведь это также день именин дорогого моего Поля[8]. Поцелуйте его покрепче за меня, мой ангел. Я послала купить что-нибудь, чтобы передать ему. Буду в отчаянии, если ничего не найдут. Мне до того хотелось бы доставить ему удовольствие: я так его люблю.

Прошу вас, посоветуйте Шиповнику прочитать один роман: «Леонтина», соч. Коцебу[9]. Скажите ему, что вам хочется' его прочесть, потому что я вам о нем говорила и нахожу в нем много схожего с историей моей жизни. И знаете что? Не будем больше называть его Шиповником, я нашла для него другое, более красивое имя – Иммортель. Оно соответствует и его чувствам – помните, как однажды он все повторял слово «вечно», а в последнюю нашу встречу, когда я пожалела, что его шляпа забрызгана грязью и совсем испорчена, он сказал:

«Ничто не вечно». Так вот, отныне называйте его Иммортелем.

Прощайте, мой ангел, пора кончать, хотя бы ради того, чтобы поберечь ваши глаза, они, должно быть, устали, если вы читаете все это подряд. Итак, вы получите кусочек от вседневного мундира моего, который не возбуждает сладких воспоминаний. Только это не цвет моей души, это просто случайность. Я бы предпочла черный цвет.

Три часа пополудни.

Уже три часа, и я спешу успеть к почте. Прошу вас, обожаемый друг мой, передайте ему от меня тысячу приветов, скажите, как я благодарна за то, что он сразу же выполнил мое поручение. Я ведь понимаю, как ему, верно, тяжело было прийти в наш дом после моего отъезда. Согласитесь, что это было большой жертвой с его стороны. Вероятно, он был очень взволнован.

Итак, прощайте, моя дорогая. Переймите мою методу писания, то есть пишите что-нибудь каждый день. Прощайте же, мой дорогой, мой нежный друг, поцелуйте за меня дорогого моего Поля, я ничего не посылаю ему, мне это очень грустно. Передайте ему это письмецо, оно будет ему приятно. Бог да благословит вас всех, а в особенности вас и моего Иммортеля. Как только уйдет почта, я снова начну писать вам обо всем, что стану делать, – и так до следующего почтового дня. Мне трудно кончить это письмо – так я все же с вами, а когда его унесут, я останусь опять одна.

О мой ангел, как я люблю вас! Некоторые отрывки из этого дневника вы можете прочитать милой маменьке. Поцелуйте ей за меня руки, ножку ее больную. Скажите ей, что люблю ее так, что и выразить не могу. Скажите, что я готова была бы отдать половину своей жизни за то, чтобы другую половину провести подле нее и подле вас, мой ангелочек и мой друг, мое утешение, мое сокровище. Итак, прощайте, кончаю. Дневник этот сохраните: кто знает, может быть, наступят для нас более счастливые времена, и тогда мы вместе перечитаем его.

И еще прошу, ради самого бога: берегите свое здоровье ради счастья вашей Анеты. Тысячу раз целую ваши руки, ваши глаза. Иммортелю передайте, что я вечно не забуду его одолжения и вечно буду ему благодарна. Христос с вами. Пишите, ради самого Бога.

1820. Псков.

№ 5

29 июня, 1 час пополудни.

Какой грустный у меня сегодня день! А между тем погода прекрасная, ярко светит солнце, оно озаряет всю природу, оно согревает, живит все, что дышит; одну меня оно не может согреть. Я хотела бы, чтобы день этот был не так хорош: плохо, когда природа находится в противоречии с душой нашей. Верно говорится: «Когда на сердце ненастно, так и в вёдро дождь идет».

Я была в церкви, в соборе, там было людей очень мало, потому что весь *высший свет* был у праздника. Я, по обыкновению, очень прилежно богу молилась, вспоминая Иммортеля. Я воображаю, что у вас в Лубнах сегодня очень весело, но не для вас, мой ангел: я знаю, что вы думаете о вашей Анете и сожалеете, что ее с вами нет, а Анету между тем снедают мимоза, жасмин, ноготки и все страдания, что неизменно сопутствуют мимозе, и никто представить себе не может, каково ей. О, сегодняшний день принесет мне много бед.

6 часов.

Слава богу, день почти прошел. За обедом мой драгоценный супруг заставил меня пережить маленькую неприятность, и я, совсем позабыв ваш добрый совет не принимать подобные пустяки близко к сердцу, чуть от этого не заболела.

Вы знаете, что люди всегда склонны по себе судить о других, и вот из-за невинной шутки мой дорогой супруг

рассердился – сперва на то, что повар не ему, а мне пришел

сказать, что он нынче именинник, а когда я, желая его оправдать, во время обеда пошутила, что это по моему департаменту, муж вообразил, будто я этим хочу напомнить, что повар принадлежит мне. Я думаю, будь я даже на такое способна, ему не следовало говорить это перед прислугой и своим дураком адъютантом. Но как же можно меня, столь деликатную в таких вопросах, заподозрить в подобной низости и так компрометировать перед всеми этими невеждами! Вы же понимаете, мой ангел, что тут никакая философия, никакой стоицизм не помогают, и относиться к этому хладнокровно нельзя! Я, признаться, от этого прямо заболела и сказала ему причину, когда он меня спросил. Но разве ему что-нибудь втолкуешь?

Меня против моей воли заставили поехать на прогулку, а вернувшись, я нашла визитную карточку Лаптева, который нарочно выбрал это время, чтобы нанести нам визит. Говорят, он очень зол на моего дорогого супруга. Сейчас был у нас Кир И. и спешил скорей уйти, боится долго оставаться.

Я по-прежнему много читаю, – что бы я без этого стала делать! Читаю романы, дабы рассеяться. Что бы ни говорили против такого рода чтения, я считаю, что ничто не может лучше успокоить мои страдания. Соболезнуя героине романа, ее любви, я занимаю свой ум и отвлекаю себя от мыслей, которые завладели мной целиком. Будь это серьезная книга, я бы в ней все равно ничего не поняла, – даже если бы вздумала читать ее вслух, потому что ум мой, сердце, воображение неотступно заняты лишь одной и той же мыслью. По-прежнему делаю выписки из всего, что читаю, и по-прежнему буду посылать их вам, милый друг.

Июня 30-го в 7 часов вечера.

Сегодня мне не о чем писать вам, мой ангел; занятия мои все так же однообразны, ничто в них не меняется; встаю я очень поздно, потому что только тогда и счастлива, когда сплю.

Хотела нынче ехать с визитами, но, на мое счастье, лошадь повредила ногу, и теперь все откладывается до завтра. Я бы рада была и вовсе от них избавиться, но это совершенно невозможно: вчера губернатор[10] сам приезжал поздравить меня, а я в какой-то степени ему обязана, это у него я брала кибитку, без которой не могла бы приехать к вам[11]. А он денег брать за это не хочет, ни за что не хочет.

Забыла вам рассказать, за что мой муж сердит на Ма. денку: вы знаете, что мой муж всегда был неразборчив в выборе приятелей, чему доказательством Петр Мартынович. Помните то забавное письмо, которое я получила от некоего Андреева. Я слыхала от Магденки, что это самый настоящий сумасшедший,

человек очень злой, да к тому же еще интриган, так вот, муж сказал, что кто-то ему доложил, будто Магденко хвастал тем, что очень мне помог с моей поездкой (в сущности, это чистая правда, но, я уверена, он слишком благороден, чтобы такое сказать). И я не сомневаюсь, что это Андреев наговорил на него мужу, чтобы их поссорить. Я просто счастлива, что мне не пришлось видеть этого человека. – Я теперь верю предчувствиям: помните ли, как я сердилась и была недовольна этим глупым письмом? Письмо моего мужа насчет Магденки огорчило меня не меньше. Нужно вовсе не иметь никакого характера, чтобы полагаться на свидетельство какого-то сумасшедшего против человека, которому он стольким обязан и который, мне кажется, достаточно доказал свою дружбу.

Но довольно об этом, мой ангел, теперь поговорим обо мне. Вспоминаете ли вы меня еще? Разумеется, вспоминаете – сужу по своему сердцу, а также по небольшому отрывку, который я только что перевела и, с вашего позволения, привожу здесь…

<…>Если это верно, если у него столь чувствительная душа, как мне показалось, он, должно быть, страдает, и даже больше, чем я. Но больше меня страдать невозможно! И хоть здешние места совсем не связаны с ним, память о нем столь глубоко врезалась в мою душу, что уже самый контраст между нынешними и минувшими днями рождает о нем воспоминания. Присовокуплю русский перевод:

«*Горестно удаляться от мест, обитаемых любезным предметом; но еще стократ горестнее оставаться в тех местах, от коих она (он) удаляется. Одно любезное существо, кажется, уносит с собою все приятности сего места. Образ ее носится там беспрестанно и возбуждает воспоминания тех удовольствий, которые доставляло ее присутствие; лишение оных распространяет скуку и отвращение на все прочее; всякая минута знаменуется сожалением о счастливейшей, и для нежной души дни отсутствия есть потерянные дни в жизни».*

Я рада, ежели он думает об этом так же, как я и как автор «Христины», откуда я это выписала. А вы меня не браните, мой ангел, уповаю на доброту и снисходительность ваши, мой дорогой друг. Близко ли вы, далеко ли я всегда говорю с вами совершенно откровенно. На сегодня прощаюсь, мой ангел. Расстаюсь с вами, чтобы пойти распорядиться насчет ужина, муж сейчас вернулся с учений, он всегда бранит меня, что я все занимаюсь. Он привез мне вишен – это здесь первые; а вы их там кушаете? Как бы я рада была поделиться ими с вами – от этого они стали бы для меня во сто крат слаще!

Все фрукты напоминают мне о тех апельсинах, которые я

давала Иммортелю; а те, что он подарил мне, я ела дорогой и бережно храню от них корки в старой бумажке, которая, по счастливой случайности, попала мне в руки и оказалась исписанной его почерком – приказ по дивизии.

Прощайте, мой ангел, желаю вам доброй ночи, а также моему любезному Иммортелю, да посетят приятные сновидения вас обоих, ведь вы да еще моя добрая маменька – самое дорогое, что есть у меня на свете.

№ 6

Июль, 1820, 1-е число.

Добрый день! Будьте здоровы, обожаемый друг мой, так здоровы, как я вам того желаю. Я нынче прямо в ужасе – у нас будут к обеду посторонние, мужчины – старый генерал, два наших полковника и подполковник; нашего олуха адъютанта я не считаю, он как бы свой. Я бы отдала все на свете, чтобы избавиться от необходимости видеть этих людей, но чтобы доставить удовольствие мужу, придется их принять. Не подумайте только, что мое отвращение к ним объясняется их возрастом или же недостаточной их учтивостью – вовсе нет – будь они даже прекрасны, как Антиной, и любезны, как Фонтенель[12], все равно я чувствовала бы то же. Ничто так не тяготит меня, как необходимость казаться веселой, когда мне грустно. Вы ведь сами, милый друг, сотни раз бранили меня за то, что я не научилась притворяться, хоть это и необходимо в этом мире.

Только что муж подарил мне прелестное платье. Он получил его от некоей г-жи Бибиковой в благодарность за то, что он выполнил ее поручение в Риге. Очень красивый узор, особливо просветы хороши. Спешу вам его переслать с покорнейшей просьбой – велите сделать вышивку на кушаке и лифе и сообщите цену. Я не хочу, мой ангел, чтобы вы так деликатничали со мной в этих делах. Деньги могут понадобиться вам на лекарства. Вы же знаете, как я была бы счастлива оказаться вам полезной; так что сделайте милость, не церемоньтесь со мной, мой добрый друг, не то я вынуждена буду действовать совсем иначе, когда придет надобность просить вас о чем-либо, и тогда, вы это понимаете, между нами не станет прежнего доверия, а уж от этого я бы пришла в полное отчаяние. Так что, помня ваши обещания, уповаю, что вы время от времени постараетесь доставлять мне случай быть вам полезной.

Мне сегодня предстоит сделать визиты губернаторше и полковнице, которая уже была у меня первая. А 6-го, кажется, мы устраиваем торжественный обед в честь корпусного командира, он будет дан от лица всей бригады у нас в доме, что позволит

избежать неприятностей с приглашением Лаптева и даст ему возможность отказаться. Меня – на мое счастье – на обеде не будет по той причине, что там будут одни мужчины. Это не очень-то учтиво, но я от этого просто в восторге: оба полковника глупы до чрезвычайности и, на мой взгляд, предурно воспитаны. Им следовало бы дать бал, чтобы поддержать честь второй бригады; сегодня уже почти окончательно решили, что обед будет устроен в складчину и на нем будут только мужчины; еще дан будет бал, тоже в складчину и тоже в нашем доме. Будет фейерверк, а я и полковница будем принимать гостей. Увы!

6 часов.

Вернулась из гостей. Губернаторша и ее муж премилые люди, так же как и все, кого я там видела. Меня очень хорошо принимали, а от полковницы я узнала, что, судя по всему, наш бал состояться не может. Самое большее будет обед, да и то не наверное.

10 часов.

Желаю вам доброй ночи, милый мог друг. Забыла рассказать вам, что видела нынче этого ужасного Андреева. Вошел он, когда мы уже собирались вставать из-за стола. Трудно представить себе что-либо более безобразное – лицо отвратительное, просто отталкивающее. Добрейший Кир. И. сделал мне знак глазами, он еще раньше предупреждал меня, что это человек опасный, особливо для меня. Поэтому я старалась избежать разговора с ним; однако я заметила, что он не отрывает от меня глаз; немного поколебавшись, он подошел ко мне и спросил несколько странным тоном – долго ли я еще оставалась дома после возвращения отца, я отвечала ему очень сухо и коротко, что после его приезда оставалась еще две недели, потом воцарилось молчание; я спросила, знаком ли од с моим отцом? Он ответил, что да, после чего, видя, что я не расположена продолжать разговор, спросил, сколько лет моей дочке, которая сидела подле меня. Я ответила, что ей два года, и отвернулась. Он и во второй раз пытался заговорить со мной, только я на его вопрос не ответила, и на этом дело кончилось. Я теперь совершенно убедилась – да и муж в том признался, – что это он сказал ту ложь насчет Магденки, я в этом была уверена. А теперь скажите, разве не права я была, когда рассердилась на то противное письмо и на письмо моего мужа, где он обвиняет Магденку? Чем больше я узнаю этого человека, тем более убеждаюсь, что он достоин моего уважения. На сегодня довольно. Доброй вам ночи, мой ангел. Желаю сладких сновидений Иммортелю.

2 июля.

Я очень плохо провела сегодня ночь, мой ангел. Вчера я долго не могла уснуть. Перед глазами моими все стояло последнее прощание. Признаюсь вам, что намеренно не прогоняла от себя эти опасные и сладостные мысли, чтобы видеть приятные сны, но нет, этой ночью небо отказало мне в таком утешении. Нынче я мужа еще не видела, хотя уже почти полдень, он ушел до того, как я проснулась. Я встала, прошла в свой кабинет и там пила чай, как всегда в полном одиночестве, потом взяла книгу и тут вдруг, к удивлению своему, услышала гром. В Лубнах он никогда не бывал для меня столь неожиданным, потому что там, вставши, всегда первым делом глядела на облака, чтобы знать, хорошая ли будет погода, и даже угадывала по их движению, хороший ли будет вечер, но теперь мне это безразлично, и я только для того и взглядываю на небо, чтобы увидеть, не в нашу ли сторону плывут тучи, и тогда я спокойна за дорогую мою маменьку; и я призываю бога-громовержца посылать грозы лучше сюда, а не тревожить мирный покой лубенских жителей. Пусть наслаждаются они всегда ясным небом, пусть будут довольны и счастливы и пусть не забывают, что есть на свете душа, которая только о том и мечтает, чтобы разделить с ними это счастие.

Мне сейчас пришла в голову забавная мысль, и хоть вы, может быть, скажете, что я слишком самонадеянна и что-нибудь еще, все равно я выскажу вам ее. Представьте, я сейчас мельком взглянула в зеркало, и мне показалось чем-то оскорбительным, что я нынче так красива, так хороша собой. Верьте или не верьте, как хотите, но это истинная правда. Мне хотелось бы быть красивой лишь тогда, когда… ну, да вы понимаете, а пока пусть бы моя красота отдыхала и появлялась бы в полном блеске, лишь когда я того хочу. Вот странная мысль, наверно, скажете вы?

Половина шестого.

Какая тоска! Это ужасно! Просто не знаю, куда деваться. Представьте себе мое положение – ни одной души, с кем я могла бы поговорить, от чтения уже голова кружится, кончу книгу – и опять одна на белом свете; муж либо спит, либо на учениях, либо курит. О боже, сжалься надо мной!

Мне нужно вам признаться в большой слабости, но ведь я обещала ничего от вас не скрывать. Представьте себе, мой ангел, что я иной раз нахожу успокоение в мыслях о некоем счастии в грядущем, надежды на которое вы часто мне внушали; это одни лишь мечты, одно воображение, не следовало бы и думать об этом, не правда ли? Но что вы хотите, не могу от этого

удержаться. Кто не желает себе добра? И всякий раз, когда я думаю о том, что буду вознаграждена за свои страдания, мне вспоминаются наши разговоры с вами и те горячие пожелания счастья, которые вы мне высказывали. Неужели преступление желать себе счастья? Мысль эта ужасна. Ответьте мне, мой ангел, успокойте меня, ради самого неба. Бог мне свидетель, зла я никому не желаю, напротив, желаю ему всякого счастья, только чтобы я к этому не имела отношения. Как мне выдержать подобную жизнь? О дорогой мой друг, приободрите же меня своими письмами, своими советами, утешьте меня, мой ангел, напишите мне о добродетелях Иммортеля. Я была бы в отчаянии, если бы он оказался недостоин моей любви, я бы себе этого не простила, это сделало бы меня навеки несчастной, ибо я люблю его так, что и выразить нельзя, люблю в нем решительно все; чем больше я думаю, тем яснее вижу, что это – настоящая любовь. Все то, что при моем характере в других меня отталкивает, в нем мне нравится, вот, например (не стану говорить о его притягательности, о его очаровании), я веселая, а он всегда серьезен, и что же, мне это в нем мило; я люблю танцевать, а он не танцует, и что же, я нахожу это очаровательным, мне даже кажется, что это ему идет.

Впрочем, я танцевала с ним польский, до чего же я была тогда счастлива, да и он тоже – ни за какие царства не уступила бы я этого счастья – так радостно было держать его руку. При одном воспоминании у меня начинают литься слезы. До чего я слаба, боже мой! Простите меня, мой ангел! Для этого вам понадобится вся ваша снисходительность. Но не отказывайте мне в том, что может послужить мне утешением. Пишите мне об Иммортеле, ведь правда, есть какая-то мелодия даже в самом его взгляде, – воспользуюсь премилым выражением, которое я только что прочла. Другого такого взгляда нет в целом мире. Я сейчас нашла в конфектах красивый билетец, только я переделала его по-своему, вот он:

У меня с ним одни вкусы. Все мое счастье
В любезном разговоре с ним.
Когда он танцует – и я бы танцевала,
В разлуке с ним мне ничто не мило.

Покидаю вас, иду на прогулку с Катенькой[13]. Она торопит меня, до свидания, мой ангел, страстно прижимаю вас к сердцу.

№ 7

В 7 часов.

Вернулась с прогулки, но моцион не пошел мне на пользу – у меня закружилась голова, так что, придя домой, я вынуждена была лечь, чтобы восстановить силы.

У меня побаливает грудь, и я чувствую какую-то слабость. Но не беспокойтесь, мой ангел, постараюсь сохранить свое здоровье, чтобы любить вас.

Нынче вечером, в 8 часов, приезжал ко мне с визитом господин Бибиков с дочерью, г-жой Фигнер, молодой вдовой, очень любезной особой; она выказала весьма большое ко мне расположение и обещала приехать еще завтра поутру, прежде чем возвращаться к себе в деревню – это за 10 верст отсюда, она нарочно приехала в город, чтобы посетить меня. В воскресенье, то есть послезавтра, предполагаю поехать туда на целый день. Хочешь не хочешь, а надобно понемногу выезжать и встречаться с людьми, чтобы не быть совсем затворницей, а то ведь я покидаю – свою комнату только на время прогулок, да и это время провожу в закрытой карете.

Полночь.

Только что прибыл П. Керн[14], он крайне со мною мил, говорит всякие любезности, то и дело целует ручки, поэтому волей-неволей и я с ним довольно приветлива, вы ведь знаете, какое у меня доброе и чувствительное сердце – тотчас же отзовется на всякое изъявление дружбы. А вот поучать себя я, разумеется, ему не позволю. Я думаю, что мне не дадут больше уделять столько времени моему писанию. Вот даже сейчас муж выговаривал мне за это, так что приходится отложить перо. Доброй вам ночи, мой ангел-хранитель, господь да благословит вас и его также.

3 июля в 10 часов.

Только я проснулась, мой ангел, как принесли ваше прелестное письмо, за которое бесконечно вас благодарю. Но признаться ли? Я не вполне им довольна, оно так коротко и вызывает у меня опасение – не больны ли вы? Да хранит вас от этого бог, милый мой друг, пишите мне так, как я вас о том просила – каждый день понемножку, а если вам не разобрать будет моего маранья – попросите у (неразб.) увеличительное стекло.

Вчера после ужина у меня не было времени, чтобы написать вам о разговоре, который был у нас за столом, а между тем он достаточно интересен, чтобы вы о нем узнали. Речь шла о графине Беннингсен[15], у которой, как утверждает мадемуазель,

она служила. Муж стал уверять, что хорошо ее знает, и сказал, что это женщина вполне достойная, которая всегда умела превосходно держать себя, что у нее было много похождений, но это простительно, потому что она очень молода, а муж очень стар, но на людях она с ним ласкова, и никто не заподозрит, что она его не любит. Вот прелестный способ вести себя. А как вам нравятся принципы моего драгоценного супруга?

Полдень.

Только что уехала г-жа Фигнер, и теперь я тверже, чем когда-либо, решила никого больше у себя не принимать и ни к кому не ездить. Терпеть подобные неприятности в присутствии посторонних – это уж слишком. Я больше не могу. Нужно вам сказать, что мой дорогой супруг их не жалует, а причина в том, что там часто бывает молодежь из нашей бригады, и он не хочет, чтобы я там с ними встречалась. Она просила меня снова увидеться нынче поутру, как только встану с постели, и принять ее в моем кабинете, чтобы не стеснять мужа. Так он сговорился со своим дорогим племянником, вошел ко мне с любезнейшей физиономией и всякими своими обиняками начал, ни с того ни с сего, что он-де «человек не светский», а простой солдат, и, уж по правде говоря, вполне доказал, что он простой, потом привел своего племянника и начал его укорять, что вот, дескать, его она видеть не пожелала, и все это с хитрой усмешкой, которая всегда у него бывает, когда он собирается сказать что-нибудь двусмысленное. Они со своим любезным племянником все время о чем-то шепчутся, не знаю, что у них там за секреты и о чем они говорят… а я так несчастна! Господин Керн вбил себе в голову, что должен всюду сопровождать меня в отсутствие своего дядюшки, и, мне кажется, собирается отправиться завтра к Бибиковым. Я не знаю, как отделаться, а и там не будут ему рады, он держится так важно, бог весть отчего.

Вы и теперь будете говорить, что счастье мое зависит от меня? Конечно, нет. Для этого вы слишком разумны. Итак, он считает, что любовников иметь непростительно только когда муж в добром здравии. Какой низменный взгляд! Каковы принципы! У извозчика и то мысли более возвышенные; повторяю опять, я несчастна – несчастна оттого, что способна все это понимать. Пожалейте вашу Анету, еще немного – и она потеряет терпение. Вот каков этот почтенный, этот деликатный, этот добрый человек, этот человек редких правил. Пусть поймут, как велика та жертва, на которую меня обрекли. Содрогнутся! О, как жаль мне несчастного моего отца, если он любит меня и если есть у него глаза. Только ежели он станет говорить с вами об этом, скажите

ему, что страдаю я не из-за одной ревности.

Половина четвертого.

Признаться, меня немного мучила совесть – следует ли мне огорчать вас, поверяя вам все свои горести, но я полагаю, что неполная откровенность была бы еще хуже. *Именно в дни скорби ищет душа успокоения, изливаясь душе друга с той доверчивой откровенностью, которая присуща дружбе. Те, кто полагает, будто дозволено из деликатности таить свои горести от тех, кого любишь, оскорбляют дружбу, ибо самое пленительное ее свойство – брать на себя горести друга и разделять его радости. Не любит или не уважает своего друга тот, кто отнимает у него право чувствовать все то, что испытывает он.*

Я нахожу, что это очень верная мысль, думаю, вы будете того же мнения.

Половина одиннадцатого.

Сегодня, как обычно, была на прогулке. Г-н Керн сопровождал нас верхом, мы видели, как проехал Лаптев.

Мне стало известно, что Магденко старался примирить с ним мужа – это сообщалось в письме (неразб.) к Киру И., еще он ему написал, будто Лаптев согласен на это примирение из-за меня, потому что он меня любит и уважает. Все-таки мне это приятно. Завтра буду у обедни и увижу Лаптева. Меня занимает, как произойдет эта встреча. Еще одна новость. Император проедет через Порхов 9-го числа, муж собирается поехать встречать его. Бог знает, что выйдет из этого. В газетах пишут, будто в Париже собралось 20 тысяч человек и все кричали: «Да здравствует Наполеон!» – и хотели прогнать короля. Говорят, будто от этого может случиться война. Как бы хорошо! Говорят, охотно веришь тому, чего желаешь. Вот и я готова этому поверить. Еще говорил сегодня один наш знакомый генерал, что он видел какой-то огненный столб – что значит война. Прощайте, драгоценный мой друг, отдыхайте хорошенько, молитесь за вашу Анету. Забыла написать, что завтра я вместе с Катенькой еду в гости за 10 верст отсюда, так что у меня до самого вечера не будет больше времени беседовать с вами, может быть, целый день будет пропущен.

Еще должна вам сообщить, что П. Керн собирается остаться у нас довольно надолго, со мною он более ласков, чем следовало бы, и гораздо более, чем мне бы того хотелось. Он все целует мне ручки, бросает на меня нежные взгляды, сравнивает то с солнцем, то с мадонной и говорит множество всяких глупостей, которых я не выношу. Все неискреннее мне противно, а он не может быть искренним, потому что я его не люблю. Сколько бы он ни

притворялся, не может и не должен он меня любить, слишком он обожает своего дядюшку, а тот совсем меня к нему не ревнует, несмотря на все его нежности, что меня до чрезвычайности удивляет, – я готова думать, что они между собой сговорились, ведь вы же знаете, какой мой муж подозрительный. Не всякий отец так нежен с сыном, как он с племянником. Ах, когда бы была жива та женщина, как было бы хорошо, я тогда не знала бы Керна, жила бы себе подле вас, счастливая, спокойная, и дневник этот не был бы столь печален. Прощайте, мой ангел.

№ 8

11 часов, 4-го числа.

Вернулась от обедни, где горько плакала, моля бога, чтобы он ниспослал мне терпения, ибо мне оно нужно более, чем когда-либо. Молитесь за бедную Анету, невинную жертву судьбы; ничего больше написать не могу. В церкви было много народу, но меня никто не видел и Лаптев ко мне не подходил.

9 часов.

Вернулась из гостей. Меня очень хорошо принимали, была только их семья, которая состоит из отца, матери и четырех дочерей, одна из них вдова. Они премилые люди. Были там еще двое молодых военных, один нашего полку, другой плац-адъютант, очень любезный и хорошо воспитанный молодой человек. Он целый день все возился с Катенькой, и, нужно сознаться, она нынче держалась прелесть как мило, а я, как могла, старалась тоже держаться нелюбезнее, потому что с самого начала не могла заставить себя быть веселой. Мы гуляли, потом несколько раз прошлись в вальсе, а в половине седьмого я уехала, к великому сожалению всего этого милого семейства. Вот я уже и дома, мой ангел. П. Керн выехал верхом нал навстречу, я предложила ему сесть в карету; он как будто бы очень меня любит и становится со мною все более и более предупредительным. Он словно мне сочувствует и очень удивляется поведению своего дядюшки, говорит, что тот стал неузнаваем.

Понедельник, 5-го числа, в 10 часов.

Здравствуйте, очаровательный мой друг. Вчера, слава богу, мне было чуточку повеселее. П. Керну удалось рассмешить меня своими шуточками, и мы целый вечер с ним смеялись. Муж отправился спать раньше нас. Как непринужденно и свободно

чувствуешь себя с тем, к кому е испытываешь никаких чувств. Он очень красивый мальчик, со мной очень любезен и более нежен, чем, быть может, хотел бы показать, и, однако, я совсем к нему равнодушна; верите мне теперь, что я люблю Иммортеля? Слушая безвкусные комплименты Керна, я все вспоминаю милое и такое красноречивое молчание моего Иммортеля. Я решилась не посылать вам остаток от лифа, а просить вас вышить талию, это будет слишком долго дожидаться. Вчера я узнала от Кира И., что Лаптев желал бы помириться, он думает, что я на него сердита и для того так стояла в церкви, чтобы меня не видали; он очень хорошо про меня говорит и сказал, что истинно для меня только хочет с ним помириться. Я не знаю, как это кончится, знаю только, что я права со всех сторон и преспокойно буду сидеть в своем кабинете и рассуждать о суете мирской. Меня сегодня хотели лишить последнего утешения и за расчетом посылать только раз в месяц мой журнал, но я буду платить за него, если нужно, трудами собственных рук моих, но не лишу добровольно себя этого утешения. Итак, посылаю вам только узор, который очень хорош. Если вы будете себе шить платье, то пусть будет такое, а больше никому не давайте. Прощайте, мой ангел, Христос с вами. Сейчас уйдет почта, мой ангел, пусть, дорогой мой друг, получите вы это письмо в таком добром здравии, какого я вам только желаю. Нынче видела его во сне и так была этим счастлива! Во имя неба, мой ангел, никому не рассказывайте об истории с Лаптевым. На днях приедет Магденко, и я очень рада буду его видеть. О, право же, он достойный человек. Итак, прощайте. Когда он приедет, я, может быть, смогу написать вам что-нибудь более приятное. Прощайте, мой ангел, пусть небо благословит вас и его тоже. Тысячи раз целую моего нежного, дивного друга и прошу его помнить о своей Анете.

№ 9

1820, 6 июля.

Только что видела доброго, милого, уважаемого г-на Магденко, он нынче только приехал. Я была вне себя от радости, увидев его. Тому, кто печален, несчастлив и одинок, как я, так радостно видеть истинного друга, принимающего в нем участие и сочувствующего его страданиям. Представьте себе, мой ангел, что я чуть было не бросила писать свой дневник. Моя неосторожность едва не стала роковой для нашей переписки.

3 часа.

Теперь все это позади, и я вновь вам пишу, дабы по-прежнему поверять вам свои поступки и мысли. Его низость до того дошла, что в мое отсутствие он прочитал мой дневник, после чего устроил мне величайший скандал, и кончилось это тем, что я заболела. Сегодня мне уже лучше, и все превосходно уладилось – об одном только жалею, – что не осталась у вас подольше, – зачем не продлила я своего счастья? Но вы этого требовали. Представьте, он вчера мне заявил, что ежели я чувствую себя такой несчастной, нечего мне было и возвращаться, раз уж он меня отпустил, а он, разумеется, оставил бы меня в покое и не стал бы ни приезжать за мной, ни принуждать меня жить с ним, раз я все время колеблюсь. Вот вам его принципы, его образ мыслей. Чем больше я его узнаю, тем яснее вижу, что любит он во мне только женщину, все остальное ему совершенно безразлично. Магденко отправился обедать к Лаптеву, уходя, он просил позволения у меня и мужа на то, чтобы попытаться их примирить. Когда он вернется, сообщу вам, что из этого вышло.

7-е.

Все кончено. Только что ушел от меня Магденко. Все его усилия помирить мужа с Лаптевым ни к чему не привели; он заявил, что считает его смертельным врагом. Он сказал Магденке, что ничто, никогда не поколеблет его уважения ко мне, что он навсегда сохранит ко мне величайшее почтение, но мужа будет ненавидеть до последнего своего вздоха. Нужно вам сказать, что племянник держится престранно – то он до невозможности нежен, а то словно бы осуждает мое поведение. Я буду просто в восторге, когда меня избавят от него.

Полночь.

Только что провела несколько прелестных часов в обществе достойнейшего Магденки. Лишь теперь я по-настоящему узнаю его, и чем больше вижу, тем больше люблю. Вы представить себе не можете, как он выигрывает при более близком знакомстве, ум его основательнее и тоньше, чем это кажется вначале. Все сомнения мои рассеялись, мы поговорили с ним вполне откровенно, он мне сказал, что с первой же минуты знакомства меня понял. Он признался, что характер мужа весьма затрудняет дружбу с ним, что у них уже было немало размолвок, но что он усвоил себе особую манеру обращения с ним и готов вынести от него что угодно, чтобы только не потерять моего расположения. Он до такой степени сумел изучить все оттенки моего характера, что понимает меня без слов. И с увлечением говорила ему о вас, он знает вас и любит. Даже во время моего отсутствия он сумел

оказать мне услугу, отговорив мужа от намерения написать неприятное письмо моей милой маменьке, в ответ на полученное от нее, словом, настоящий меценат, поистине бесценный Человек. Кончаю, как и начала – похвалой ему. Прощайте, мой ангел. Доброй вам ночи, милый друг, и Иммортелю тоже.

8-е, 6 часов.

Сегодня у нас был торжественный обед. Лаптев не приехал, хотя обед был дан от лица бригады. Обед был великолепный, лучшие фрукты и лучшие вина. Я, как вы знаете, на нем не присутствовала, но корпусной командир г-н Гильфрейхт, который вообще женщин не любит, а меня видел только раз, спросил у мужа обо мне, и завтра снова будет у нас к обеду, нарочно, чтобы иметь случай меня видеть. Это желание разделяет с ним и его адъютант. Возможно даже, что еще нынче вечером я буду иметь честь поить их чаем, если только они не слишком поздно вернутся с маневров. Так что, волей-неволей, мне придется показываться. Дорогой племянничек мне все больше и больше не нравится, особенно когда он берется давать советы. Эта их дурацкая самоуверенность выводит меня из себя. Что досадно, что не знают, где ее употребить.

Скажу вам еще, мой ангел, что поскольку Лаптев так открыто выражает свою враждебность, Магденко советует перейти в другую дивизию. Вы, может быть, подумаете, зная мою привязанность к вам и к моим дорогим родителям, что я стану просить мужа перевестись в 15-ю дивизию. Ни в коем случае. Напротив, поскольку он насчет этого подумывает, я постараюсь, как могу, его от этой мысли отговорить. Магденко обещал меня поддержать, а то ведь при его характере он не уживется с Роттом и двух дней, а уж если вдобавок будет еще ревность, вряд ли это кончится так мирно. Вспомните, каков он был с Сакеном и даже с младшими офицерами. Теперь то же самое с Лаптевым, но у этого-то хоть дурной характер, а Сакен – само спокойствие, и будь на его месте Ротт, ссора эта имела бы совсем другие последствия.

Итак, не предполагайте меня видеть в Лубнах в 15 дивизии – и вот мои доводы: 1) я не хочу, чтобы мои родители каждую минуту видели, до какой степени я несчастна; 2) чтобы избежать необходимости каждую минуту краснеть от стыда, что, как вы понимаете, весьма тягостно; 3) мне невыносимо будет жить в такой близости от Иммортеля; 4) не хочу вас всех стеснять и своим присутствием делать вас окончательно несчастной. Заранее уверена, что вы согласитесь со всеми этими доводами. Можете даже изложить их моему отцу, ежели он настолько слеп, что думает, будто мы когда-нибудь сможем жить все вместе.

Я только что ела чудесные вишни. Представьте себе, четыре вишенки на одной тонкой веточке, одна над другой. Я в первый раз видела такое маленькое чудо и прежде всего подумала о вас, милый друг мой. Как я счастлива была бы разделить их с вами.

9-го в 10 часов вечера.

Весь нынешний день я так была занята, что только сейчас нашла свободную минуту. У меня обедал корпусный командир, губернатор и еще несколько человек. Они уехали сразу после обеда, а я такую чувствовала слабость, что по сю пору пролежала в постели. Сейчас только встала, но собираюсь снова лечь. Муж ужинает, а я пишу. Я себя очень дурно чувствовала сегодня, должно быть, из-за всех этих треволнений, они расстроили мне нервы. Прощайте, бесценный друг мой, благослови вас бог, будьте здоровы. Хоть бы ваше письмо, которого я жду с превеликим нетерпением, принесло мне весть о том, что здоровье ваше поправляется. Поверьте, только это способно заставить меня переносить мою жизнь, вдали от вас и всех тех, кто мне дорог. Доброй ночи, милый мой друг, я очень устала, совсем ослабела, бог с вами, моя родная. Подтвердите Иммортелю, хотя бы намеком, как близко к сердцу я принимаю его судьбу. Еще раз прощайте, не могу больше.

Ваша *Анета* вечно.

№ 10

1820, 10 июля.

Я вне себя от волнения: узнала новость, от которой сама не своя. Говорят, Кир И. получил какое-то известие. Я уверена, что оно касается Иммортеля. Он присылал сказать, что придет показать мне письмо от своей жены. Я все потом перескажу вам, мой ангел, там, конечно, должно быть что-то для меня. Видели бы вы, в каком я состоянии! Я так волнуюсь! Хоть бы он поскорее приходил. У меня есть тимьян, я мечтала лишь иметь резеду, с моей мимозой нужно много желтой настурции, чтобы скрыть ноготки и шиповник, которые мучают меня. Благодаря утрате резеды, оринель взял такую силу, что вокруг уже нет ничего, кроме ноготков, тростника и букса. Нет в моем цветнике (неразб.). Вот каково состояние моего сада. Покидаю вас, нужно одеваться. До свидания, после всё узнаете.

10 часов вечера.

Его я не видела, а следовательно, ничего нового не узнала.

Ноготок меня не оставляет, есть у меня большой лютик, дабы что-нибудь узнать, и нет желтых кувшинок, пока я немного не успокоюсь. Прощайте, мой ангел, доброй вам ночи, спите спокойно. Завтра воскресенье, пойду к обедне. Да будут услышаны горячие мои молитвы о вашем выздоровлении.

11-е, 9 часов утра.

Никаких известий. У меня нет больше терпения. Остается только слабая надежда на сегодняшнюю почту. Не браните меня, мой ангел, а пожалейте. Прощайте, иду в церковь.

11 часов вечера.

Только я вернулась из церкви, как меня стали уговаривать ехать к одной даме в деревню, на обед. Мне совсем этого не хотелось, но чтобы доставить удовольствие драгоценному супругу и дорогому племяннику, пришлось согласиться. Так как платье было не в порядке, бедную А. А. стали бранить самым свинским образом, она не в силах была это стерпеть, и вот с завтрашнего дня она рассчитана. Разве не права я была, что ничего ей не сказала по этому поводу, ведь я хорошо знаю ее характер, но, на мое несчастье, человек сколько-нибудь стоящий не сможет у меня жить. Завтра я ее отпускаю, заплачу ей за покрывало и пояски, которые вы просили вышить. Надо сознаться, работа очень тонкая. Прощайте, мой ангел, будьте здоровы, и да хранит нас Господь во Святой Троице.

12-е, 9 часов утра.

Я только что встала, и мне тут же было объявлено, что ее больше ни одной минуты не желают терпеть в доме. Будь это из-за ее поведения, я бы ему простила, но нет, это чистый каприз, глупое самолюбие, которое задето тем, что она отказалась остаться, когда он просил ее об этом, после того как ее так обидел. Какая жизнь ждет всякого, кому придется служить у меня!

Ничего более приятного я сообщить вам не могу, разве только то, что в лагере будет бал у. двух наших полковников. Я была бы счастлива, если бы могла на нем не быть, но думаю, что это будет невозможно. Прощайте, добрый мой ангел, единственное мое утешение, единственный друг мой. Я часто размышляю о дружбе, что связывает нас, и каждый раз прихожу к заключению, что дружба та же любовь, ибо чаще всего мы любим характеры, противоположные нашим. Очень верно сказано: «*Когда души понимают друг друга, умы могут быть и не схожи; мы, быть может, более любим того, кто отличается от нас. Нет*

необходимости в полном подобии характеров, если основа чувств одна и та же».

Наша дружба тому доказательство, милый мой друг, а в отношении любви вы можете найти тому подтверждение опять же на моем примере. Мы совсем разных свойств, но души наши и правила одинаковые, и вот почему существует между нами симпатия. «*Амур, ты ранишь в одно мгновенье, ты медленно исцеляешь душу, которой коснулся!»*

Пришел дорогой племянничек и стал меня утешать на свой лад – говорит, что не из чего мне огорчаться, раз мой муж и ребенок в добром здравии. Мне немалого труда стоило объяснить ему, что сострадать чувствительному сердцу может лишь тот, кто сам способен чувствовать! Я присутствовала при выдворении мадемуазель и теперь совершенно разбита, чувствую себя очень скверно, бог знает чем все это кончится. Но прошу вас, мой ангел, не тревожьтесь. Не пугайтесь, даже если я захвораю: тот, кто желает себе смерти, не умирает, – я буду жить долго, чтобы любить вас и страдать, так уже мне на роду написано, и я безропотно подчиняюсь своей судьбе. Еще раз, не пугайтесь, ежели я немного заболею, для меня это будет только счастьем; это избавит меня, по крайней мере, от необходимости выходить из комнаты и показывать людям свое несчастное лицо.

Как грустно течет для меня время. У Вольтера есть такой стих:

> О небо, какое драгоценное благо – время.
> Оно истребляет все, и одна только любовь
> властна над ним.

А я так скажу, что над временем властвуют и любовь я дружба. «*Дружба, сколько в тебе очарованья! Блажен, кто внушает это чувство, еще блаженнее тот, кто его испытывает»,* – говорит г-жа де Пьенн[16]. Раз уж я все вам про себя рассказываю, расскажу, что только что прочитала прекрасный роман «Два друга» г-жи де Пьенп, где очень хорошо и подробно даны портреты этих двух друзей. Не стану говорить, который из двух больше мне по душе, пока не узнаю вашего мнения; вы, конечно, догадываетесь, что ото тот, у которого больше сходства с Иммортелей. Присоединяю на отдельном листочке небольшой отрывок оттуда.

Я так и знала, что он напишет маменьке, будто выгнал мадемуазель единственно ради ее удовольствия. О, какая ото неправда! Разуверьте маменьку, пожалуйста, потому что прежде он и не думал поспешить сделать ей это удовольствие, а вдруг

взбесился, наговорил грубостей, после того как сам же просил ее остаться, но когда она отказалась, он из самолюбия или уязвленной гордости не позволил ей провести в доме даже одну лишнюю ночь. Прощайте, мой бесценный ангел. Христос с вами и со мною также. Прощайте еще раз. Вот уже почта прошла, и нет писем.

Бога ради, пишите хоть каждую неделю. Обнимаю вас тысячу раз. Я завидую иногда иным людям и очень часто говорю вслед за г-жой Пьенн: «*Как счастливы те, чьи чувства согласны с добродетелью и кого не омрачают угрызения совести*».

Прощайте же, милый мой ангел, ради бога будьте здоровы. Приласкайте за меня маменьку мою родную, скажите ей, что я ее без души люблю, обожаю. Попросите ее, чтобы она чаще ко мне писала. Христос с вами. Грустно, очень грустно, да нечего делать. Скажите Иммортелю все, что вы сочтете возможным, я никогда не забуду его, это немыслимо. Прощай все, что только есть у меня дорогого на свете. Катенька вам шлет поклон, она прелестна, так еще ребячлива, я очень люблю ее, она единственное мое утешение. Прощайте, мой ангел. Не хочется расстаться, покуда еще можно что-нибудь сказать, а все – старое, или что вы давно, давно уже знаете. Я с нетерпением считаю числа теперь в ожидании ваших писем и приезда милого Магденки. Прощайте еще раз. Ежели приехал Коссаревский, заставьте его доделать картинку, как я вам писала. Скажите Иммортелю, что вечно я не забуду.

Ваша *Анета*.

№ 11

1820, июля 14-го, в 11 часов вечера.

Мне так грустно сегодня! Никаких известий от вас, вы забыли обо мне. Все меня покидают! Я очень несчастна! Вот уже две почты прошли, а от вас ни единой строчки. Я нынче целый день плачу. Боже мой! А вдруг вы заболели? Эта ужасная мысль непереносима. Как ни мучительно мне было бы ваше небрежение, я бы предпочла, чтобы именно оно явилось причиной отсутствия писем от вас. Я растеряла свои мысли, свои способности, ничего не думаю, ничего не чувствую, ничего не делаю. Была минута, когда я испугалась, уж не схожу ли я с ума, представьте, вдруг как-то, помимо собственной воли, я стала повторять каждую минуту: писем нет, – и от этих слов горькие слезы текли из глаз моих. Мне нет надобности говорить вам, что все окружающее меня здесь не способствует тому, чтобы я чувствовала себя

счастливой. Мне уж лучше быть одной, нежели выслушивать плоские шуточки, которые отпускает драгоценный племянничек. Как противно видеть молодого человека столь распущенного – никакой деликатности, и мысли у него самые грязные. Вот что меня здесь окружает. Уже два дня, как она уехала, никто не приходит, так что когда нет у меня охоты наслаждаться этой приятной беседой, я совершенно одна. Как грустно мне читать восхитительную книгу г-жи Сталь[17] и не иметь подле себя никого, с кем я могла бы поделиться прекрасными местами, кои там встречаются.

Всю переписку с другими я забросила, берусь за перо, только чтобы писать к вам, и точно могу сказать: беру перо. Им начертать могу лишь имя несравненно. Спокойной ночи, мой ангел.

15-го, в 4 часа пополудни.

Ничего нового не могу сообщить вам сегодня, милый друг мой. Я не могу сказать: «*Дни следуют друг за другом, но не схожи между собой*». К несчастью, мои дни ужас до чего однообразны. Мой драгоценный супруг только и делает, что с утра до вечера лежит и курит. Мне, по крайней мере, от этого спокойнее, если только от меня не начинают требовать, чтобы и я проводила время таким образом. Ах, боже мой, нет у меня больше терпенья, уверяю вас. Не знаю, что со мной будет. Бедная я! Пожалейте меня, ради самого бога, молитесь за меня, а главное, утешайте меня своими письмами. Я с таким нетерпением жду следующей почты! Перо падает из моих рук.

10 часов вечера.

Никакой перемены. Все та же однообразность, все та же печаль. Навестил меня Кир И., говорит, что Лаптев справлялся у него насчет моего здоровья, а как услышал, что тот меня не видел, тут же велел ему пойти ко мне во второй раз и продолжать бывать в нашем доме, чтобы никто не подумал, будто это он ему запрещает. Мы пробыли вместе всего несколько минут, поговорили о вас, о Лубнах, и это было для меня словно несколько капель живительного эликсира, от которого ко мне возвратились силы. Не браните меня, но ежели мне теперь представится случай соединиться с вами, я не стану упускать его. Особенно если племянник вздумает поселиться рядом с нами. Нет, право, я не вынесу подобной жизни. Сегодня он стал говорить, что хочет ехать через всю Россию повидаться с нашей – то есть своей – родней, а закончится это путешествие Лубнами, и уж там мы и останемся. Спросил, буду ли я этому рада. Я,

признаться, ответила ему совершенно искренне, что в его обществе мне решительно все равно, где жить, а племянник добавил: то есть в любом месте невесело. Вы понимаете, что я на это промолчала, а муж тогда говорит: коли так, отправитесь на Украину к своим родным, а я поеду к своим, и племянник сказал, что он-де возьмет Катеньку с собой, – на что я сухо ответила, что на это у него нет права, и вышла. Нет, честное слово, и с одним-то Керном трудно жить, а уж когда их двое – это просто непереносимо. Нет у меня больше сил.

Прощайте, мой ангел, ласковый, нежный друг мой. Будьте здоровы, богом прошу вас, на коленях умоляю, поберегите для меня драгоценное свое здоровье. Что со мной будет, если вы расхвораетесь! Храни вас господь. Доброй вам ночи, сейчас буду молиться за вас и за… Прощайте, да пребудет с вами ангел-хранитель, и да ниспошлет он вам сладкие сны.

16-го, в 11 часов утра.

Здравствуйте, нежный друг мой! У меня ничего нового. Я по-прежнему читаю «Германию» г-жи Сталь, вы представить себе не можете, как это прекрасно. Буду делать оттуда выписки и в точности перепишу их для вас. Как хорошо поняла она сердце человеческое. Как, должно быть, она чувствительна и добродетельна.

В 10 часов вечера.

Вернулась из деревни, куда ездила с визитом, это в четырех верстах отсюда. Муж пожелал, чтобы племянник поехал вместе со мной, а тот не стал отказываться – я уже писала, что он на свой лад очень нежен со мной, когда мы остаемся одни, все сетует, что я-де его не люблю. Мы провели там два часа. Это весьма приятные люди, которые очень меня любят. Возвратясь домой, мы застали у нас некоего г-на Пальчикова, премилого господина. Он обещал одолжить мне книг и фортепиано, за что я ему весьма благодарна, это развлечет меня, а то я и вправду стала совершенной мизантропкой.

Особенно делается мне грустно в вечерние сумерки; мною тогда до такой степени овладевает меланхолия, что я никого не желаю видеть, и если в такие минуты слышу звук какого-нибудь инструмента, слезы так и льются потоками из моих глаз. Единственное утешение – это моя дочка, она удивительно как привязана ко мне и очень ласковая.

№ 12

Представьте, она сразу же замечает, когда я чем-либо огорчена, ласкается ко мне и спрашивает: «кто вас обидел?» С каждым днем она становится все милее, для своего возраста она даже весьма разумна, и мне нравится, что у нее есть деликатность. Вообразите себе, видит она однажды, что муж сидит на ее месте. Она подходит к нему, смотрит на него, затем оглядывается вокруг, словно ищет места, и говорит ему: «Где бы вам сесть?» Не правда ли, это очень учтиво и тонко для ребенка ее лет? Вы, быть может, скажете мне: вот вам и утешение, дорогая Анета, вот вам средство от всех ваших горестей. Нет, мой добрый ангел, ничто не способно утешить меня, привязать к себе, ничто не веселит, ничто не может рассеять моей печали. Да, разумеется, иной раз дитя мое приносит мне минуты утешения, но ко всему этому всегда примешивается печаль.

Никакая философия на свете не может заставить меня забыть, что судьба моя связана с человеком, любить которого я не в силах и которого я не могу позволить себе хотя бы уважать. Словом, скажу прямо – я почти его ненавижу. Каюсь, это великий грех, но кабы мне не нужно было касаться до него так близко, тогда другое дело, я бы даже любила его, потому что душа моя не способна к ненависти; может быть, если бы он не требовал от меня любви, я бы любила его так, как любят отца или дядюшку, конечно, не более того.

Прощайте, мой ангел, доброй вам ночи, я не заметила, как летит время, когда я с вами, я забываюсь. Эта фраза напомнила мне… но нет, прочь воспоминания, пусть не смущают они мой сон. Нужно сказать вам, что мне нынче снилось, будто сюда приехала мой ангел – маменька. Какой сладостный то был сон и как я была счастлива! Ну, спокойной ночи, а то я никогда не кончу. Спите спокойно, а главное, пусть я вам приснюсь – вам и Иммортелю.

17-е, 10 часов вечера.

Мне нечего написать вам о сегодняшнем дне, чувствую себя совсем больной – у меня жар и ломота во всех членах. Иду спать. Спокойной ночи, мой ангел. Думайте о вашей Анете.

18-е, воскресенье, 2 часа дня.

Нынче я в церкви не была, потому что дурно себя чувствовала, и на улице дождь. Утром были у нас с визитом два адъютанта Лаптева, после их ухода я снова взялась за свою книгу, свое утешение, за г-жу Сталь. Только что прочла замечательный отрывок, он очень близок мне по мыслям, и, хоть и очень длинен, я не могу лишить вас удовольствия и переписываю его здесь:

«*Душа есть некий фокус, от которого во все стороны расходятся лучи света. В этом фокусе и сосредоточено бытие человека. Все наблюдения и все философии должны обращаться к этому «я», вместилищу и образу наших чувствований и наших идей. Разумеется, бедность нашего языка вынуждает нас пользоваться неверными выражениями и повторять вслед за другими: такой-то умен, или чувствителен, или обладает воображением и т. п. Но если бы люди захотели понимать друг друга с первого слова, достаточно было бы сказать: в нем есть душа, у него много души. Вот это-то божье дуновение и выражает собой всего человека».* (Разве не прекрасно это сказано, мой ангел, и разве это не верно?). «*То, что происходит в тайниках души, более научает нас любить, нежели самая искусная метафизика… Предпочитая кого-либо всем другим, мы исходим отнюдь не из того или иного его достоинства, и все любовные вирши выражают великую философскую истину, всячески повторяя, что любят за «нечто неизъяснимое». Это «нечто» – та целостность, та гармония, которая предстает нам через любовь, через восхищение, через все те чувства, кои открывают нам в сердце другого самую глубину его, внутреннюю его сущность».*

Какая она прелесть, г-жа Сталь, я преклоняюсь перед ней, и, однако, мне кажется, что не всякому дано уметь любить это «нечто неизъяснимое» и понимать чувства того, «в ком есть душа, много души». Если увидите г-на Ротта, дайте ему прочитать этот отрывок, я уверена, что он ему понравится.

7 часов вечера.

Совершили небольшую прогулку до лагеря. Муж остался там на музыке, а мне не захотелось – слишком много там народа, а это так мучительно чувствовать себя совсем одной среди множества людей. Весь город туда ездит, целая толпа. Вчера ездила туда полковница в сопровождении многих других дам, думаю, она и сегодня там. Муж даже настаивал, чтобы я поехала, но я отказалась и решила, что поеду, только если уж невозможно будет отказаться. Никто про меня не скажет, что я люблю развлечения.

Только что пришел П. Керн, зовет меня с ним прогуляться пешком. Пойду, а то я все сижу, мне это будет полезно. До свидания.

Понедельник, в 11 утра.

Вчера мы пошли гулять и незаметно дошли до самого лагеря. Мы были от него уж совсем близко, как вдруг повстречали Лаптева верхом;-он учтиво мне поклонился и сказал: «Я имел

честь быть у вас с моим почтением, но меня не пустили», а я ответила, что очень сожалею, что он не застал меня дома. Потом он говорит: «Я всегда привык вас почитать». Я поклонилась и пошла дальше. Пришедши в лагерь, мы сели в карету и слушали зорю. Потом ко мне подошло несколько офицеров. Пришел муж, сел к нам в карету, и мы поехали. Дорогой вышел горячий спор насчет Лаптева. Мне было заявлено, что я как женщина должна была его хорошенько отбрить. Но я думаю, что в самых больших ссорах учтивость не неуместна.

Прощайте, добрый мой ангел. Почта отправляется нынче, а я от вас ничего еще не получила. Поверьте, не знаю, куда деваться от тоски, видно, я рождена для печали, она со мною неразлучна. Еще раз прощайте. Передайте от меня поклон Иммортелю. Передайте еще г-ну Ротту, что Кайсаров на него сердит за то, что он ему не пишет.

Прощайте еще раз, ради бога будьте здоровы, и ежели мои глупости слишком вас расстраивают, я ради вашего здоровья найду в себе силы отказаться от радости писать вам. Тысячу раз целую ваши прекрасные глаза, хоть бы вы не разлюбили меня, а уж я-то вас люблю. Забыла вам сказать, что Анна А. поехала в Одессу и, верно, будет у вас, проезжая через Лубны. Прощайте еще раз, моя бесценная. Христос с вами. Я обнимаю вас очень крепко. Прощайте и молитесь за вашу Анету. Пишите, ради бога.

№ 13

Псков, 1820, 19 июля, 8 часов вечера.

Отправила сегодняшнюю почту, вас она все-таки порадует, а вот вы меня забыли, от вас ничего нет. Сейчас привезли мне фортепиано, но очень расстроено, никакое воображение не сможет доставить сладкого воспоминания. Сейчас, я слышу, в лагере бьют зорю – у вас в это время, может быть, также бьют зорю? Но какая разница! Вспоминаете ли вы меня иногда? Как грустно вечно питаться мечтой, воображением! А это только моя пища. Это меня заставило вспомнить очень справедливые стихи французские, которые были написаны на стене в станции:

Бог создал сладостную мечту
Для счастливых безумцев юных лет,
Для старых безумцев – честолюбие
И науку – для мудрецов.

Они довольно справедливы, но не всегда можно питаться

этой сладкой мечтой, часто вздыхаешь о сущности.

Полночь.

Спокойной ночи, милый друг. Я сейчас имела большой спор с мужем. Представьте себе, он рассказывает, будто Каролина к нему была неравнодушна и будто взглянуть на него не могла без того, чтобы не покраснеть от радости. Какое преувеличенное мнение о самом себе и какого дурного мнения он о женщинах! А я так полагаю, ежели бы все холостяки на него были бы похожи, замужним женщинам ничего не стоило сохранять свою добродетель. Это наименее опасный мужчина из всех, кого я знаю, а ведь он-то воображает, будто никто не может перед ним устоять. Даже сомнений у него на этот счет нет, его самонадеянность придает ему уверенности. Но довольно об этом предмете. Доброй ночи, мой ангел, спите спокойным сном, и пусть приснюсь я вам – и Иммортелю.

20-го, в 6 вечера.

Была сегодня у обедни вместе с П. Керном. Вообще последние дни мне ничего не хочется, я злая, сама себе противна, я больна, то есть нехорошо себя чувствую, только вы не пугайтесь, это не опасный недуг, и тут-то мне нет удачи – а я словно окаменела – хожу, разговариваю, иной раз даже смеюсь – и при этом не испытываю никаких чувств. Все делаю, как автомат, только тоску свою чувствую, а когда по утрам и вечерам молюсь богу, все чувства мои оживают, и я горько плачу.

8 часов.

Только что вернулась с прогулки – мы с П. Керном совершили прелестную поездку в карете до дома архиерея. Дом этот расположен в трех верстах отсюда, на высокой горе, у подножья которой течет красивая река Великая[18]. Мы вышли из кареты, отыскали едва заметную узкую тропинку, спустились по ней к реке и там гуляли по большим камням, любуясь прекрасными видами, расстилавшимися перед нами со всех сторон. Я удивляюсь, что мы никого не встретили на таком приятном месте, что означает дурной вкус жителей, которые имеют такие грубые чувства, что не умеют восхищаться величественной красотой природы. Однако же мы нашли одного уединенного человека, сидящего между двух больших камней на самом берегу реки; удочка его лежала без действия; и он сидел задумавшись; я долго на него смотрела, хотела спросить, кто он такой, но боялась быть нескромною и подумала – может быть, он влюблен, а свой своему поневоле друг.

Я не думаю, чтобы Анна Петровна все это думала, гуляя со мной, потому чистосердечно признаюсь, я ей не давал покою ни одной минуты[25].

Вообразите, какой повеса – выхватил перо и написал. *Пролежало на столе без всякого действия*[26].

Экой шалун! Но вы этому посмеетесь, моя бесценная, и я очень рада, если наши глупости вам принесут хотя немного удовольствия. Он очень милый мальчик, и я замечаю, что он очень ко мне расположен, и я думаю, на этот раз не ошибаюсь.

11 часов.

Был у меня только что небольшой разговор с П. Керном. Он признался мне, что мать его была замужем, но тайно, а такой тайный брак законной силы не имеет. Вот от этого она и умерла. Как мне жаль эту бедную женщину, хотя она уже теперь не страдает! Значит, не для меня одной существование этого человека оказалось гибельным. И подобному существу я была принесена в жертву! Какие усилия приходится мне делать над собой, чтобы не роптать на судьбу. Доброй вам ночи, мой ангел, я замечаю, что невольно все возвращаюсь к одному и тому же предмету. Спите спокойно, спокойнее, чем бедная ваша Анета.

22-го, 6 часов.

Вы удивитесь, мой ангел, что я пропустила целый день, не писавши вам, я вчера была в отчаянном положении, самому неприятелю моему не желаю половину того чувствовать, что я чувствовала. Обманутая надежда в получении писем ужасно терзала мою душу, целый день я почти была в беспамятстве, сильная истерика к вечеру привела меня в совершенное расслабление, чтобы испытать хоть ночью покой, я стала сама купать Катенъку, и это утомление доставило мне несколько минут беспокойного сна. Я и теперь не могу придумать, что значит ваше молчание. Ужели хотите вы сделать мою жизнь еще более горькой? Ради самого неба, успокойте меня. Я не стала бы жаловаться, если бы мои страдания могли бы привести меня к смерти, но они только изнуряют меня, делают мне жизнь ненавистной, не приводя ее к концу. Вчера пришел Кир И., я была еще в постели, и племянник предложил провести его прямо ко мне. Видимо, он был взволнован, увидев меня в этом состоянии. Я спросила, нет ли писем, он ответил, что есть одно, полученное 14 мая, я настоятельно просила дать мне его прочесть, и он дал. Что за слог, какая восхитительная манера выражаться! Я переписала для себя. Он пишет, что ему кажется, будто папеньке известно, что он нас сопровождал. Не из-за этого ли вы все стали

так несправедливы ко мне? Ведь папенька ни разу не написал мне с тех пор, как возвратился из Нежина. Во имя всего, что вам дорого, успокойте меня. Еще Иммортель пишет про то, какая тоска царила у нас в доме, когда он пришел туда в первый раз. Он с восторгом говорит о вас, о маменьке, о том, что в ту минуту ему показалось, будто он член нашей семьи, но тут же добавляет: восхитительная, обманчивая мечта! И я подумала, что в глубине наших сердец мы чувствуем, что он в самом деле к ней причастен. Какой могла бы я быть счастливой, если бы… Прощайте, мой ангел, молитесь за меня. Еще немного – и я сойду с ума. О боже, сжалься надо мной! Обнимаю вас.

№ 14

1820, 22-е, 11 часов веч.

Я не знаю почему, но я стала гораздо покойнее по окончании 13-го номера моего журнала, я думаю, что это потому, что я вверила вам, мой ангел, все тяготившее мою душу. – Я стала после этого разумнее и более терпеливо дожидаюсь следующей среды. Разговор с добрейшим Киром И. успокоил меня. Мы с ним говорили о вас, об Иммортеле, о милой маменьке, и это был бальзам, смягчивший мои страдания.

Доброй ночи, мой ангел, ради бога, будьте спокойны, я тоже почти что успокоилась. Не знаю, как могла я даже на одну минуту подумать, что должна чего-либо опасаться, когда у меня там вы – меценат мой бесценный, я ничего не должна бояться, имев такого друга и защитника, утешителя и покровителя, все вместе, словом, ангела-хранителя. Отдыхайте хорошенько, а я отдыхаю с думой о вас, своем счастье и спокойствии.

24-го утром.

Бог услышал хоть одну мою молитву, и сегодня поутру я получила милые ваши строки. Прежде всего обняла очень крепко милого и доброго П., что он поспешил меня сам обрадовать. Потом разорвала печать, по обыкновению со слезами. Я не могу равнодушно видеть одного начертания руки вашей, точно так как… Судите, как я вас обожаю. Маменькина рука производит во мне некое нежное чувство, но ваша и папенькина производит почти одинаковое, восхитительное, приятное, тяжелое, мучительное, усладительное чувство. Заснувши вчера со слезами, я вас видела во сне, очень неприятным образом: мне казалось, что я лежала вместе с вами в угловой на постели (обманчивая мечта!). Но вот что странно: я не чувствовала того сладкого

удовольствия, которое я всегда ощущала, быв с вами вместе; что-то тяготило грудь мою; вы жаловались, что вы всегда одни, что вы нездоровы; вдруг мы услышали ужасный крик, и нам сказали, что маменьке сделалось дурно. Это потрясение меня разбудило, а несколько минут спустя я получила неоцененное письмо ваше. Ради самого бога, продолжайте утешать меня, мой бесценный ангел. Я все думаю, я близка к отчаянию. Вообразите, что нет не только дня, но ни минуты, когда бы я была спокойна. Теперь ужасная будущность терзает мою душу. Богу угодно посылать ко мне всякого рода испытания. Ежели любя наказует, то он меня очень любит. Простите, я почти ропщу. Вы одни, я уверена, примете участие в моем горестном положении. Вы одни поймете, услышите, почувствуете мою душу. Вы одни знаете, мой ангел, что отнюдь не из легкомыслия я не хотела, чтобы у нас были дети. Что может быть ужаснее, чем страдать ради человека тебе ненавистного? Это жестокая правда, но я с вами откровенна. Нет тех мук, которые я с радостью не перенесла бы ради того, кого люблю, нет ничего сладостнее, чем страдать из-за человека, ко его обожаешь. Вы ведь помните, как я ждала первого ребенка, а чего только не пришлось выстрадать бедному моему сердцу от грубого обращения, и когда я была беременной, и во время родов, и потом, вместо благодарности за перенесенные страдания. Нет, невозможно описать, в каком я отчаянии, мой ангел. Будь вы здоровы, я, кажется, стала бы умолять вас приехать и спасти меня, но это ведь невозможно, да я и не хочу отнимать вас у тех, для кого вы служите утешением и кто мне дороже самой себя, то есть дорогих моих родителей, дорогого Поля. С великим нетерпением жду следующей почты; хоть бы она принесла мне какое-то утешение; впрочем, я могу ждать его только от неба. Однако есть нечто, что могло бы сделать мою жизнь менее невыносимой; это уверенность, что я не утратила любви своих друзей и родителей; когда бы я знала, что они сохранят ее навеки, мне, быть может, достало бы мужества и далее нести эту тяжкую ношу жизни. Но кто меня в этом уверит? Вы мне пишете о папеньке, а не пишете его слова, что он говорит, он ведь так красиво говорит, знаете, кабы вы пересказали мне его собственные слова, вы очень бы тем меня порадовали, и каждое его слово, каждый слог я бы запечатлела в самой глубине моего сердца. Так вот, умоляю вас, мой нежный друг, как станете пересказывать мне ваш с ним разговор, перескажите также и то, что вы сами говорили.

Вы, однако, ничего не пишете о моем здоровье. Как я рассеянна – видите ли, хотела сказать: о вашем, но это все равно. Итак, вы ничего не говорите о моем здоровье, продолжаются ли

ваши спазмы. Я думаю, и из письма вашего видно, что они вас не так часто посещают. Дай бог, чтобы это была правда, единственное мое утешение. Я всякий день воссылаю теплые молитвы ко всевышнему о сем. Пусть некоторые холодные люди удивляются моей нежной, может быть, беспримерной привязанности. Я им скажу «хотя любить – тужить, но не любить – не жить». Итак, я хочу терзаться, тужить и жить, покуда богу будет угодно переселить меня в вечность. Прощайте, моя бесценная, утешительного ничего не имею вам сказать, пора бросить перо.

2 часа пополудни.

Сейчас ездила немножко прокатиться в надежде, что это рассеет мои мысли, но тщетная надежда. Как грустно, когда приходится сказать себе: мне не на что больше надеяться. Зачем вы прогнали меня от себя? Зачем переполнили чашу моих страданий? Можно ведь было не разлучаться, а найти какой-нибудь предлог, чтобы прожить у вас еще хотя бы несколько месяцев. Он ведь сам сказал, что лучше было мне остаться, чем, возвратясь, чувствовать себя такой несчастной. Мне большого труда стоит не роптать на своего отца, и я часто (невольно!) спрашиваю себя: зачем не захотел он узнать мою душу, такую любящую? Зачем обрек ее на то, чтобы она никогда не знала любви без угрызения совести?

№ 15

Боже, прости мне сей, невольный ропот, ты, видящий все тайники души моей, прости мне еще раз за всякую мысль, всякое слово, вырвавшееся у меня от непереносимой муки…

10 часов вечера.

Что за счастливый день. Я ездила в баню; приезжаю, до смерти спешила домой, и нахожу посылку. Чуть-чуть не бросилась на шею адъютанту нашему, так в эту минуту мне он угодил, но опомнилась, и никогда не была еще к нему так ласкова, благодарила его с жаром. О, как я сегодня счастлива, мой ангел, благодарю вас тысячу раз за все присланное. За вуаль я давно уже заплатила и еще дала 9 рублей за пояски. Теперь благодарю вас за прекрасную закладочку и поясочек. Прошу вас, мой ангел, прислать мне шитья. Я буду продавать и надеюсь скоро же иметь случай достать дешевых и хороших чулок из Митавы. Спасибо вам за резеду, я положила ее у своего сердца и

никогда с ней не расстанусь.

Сделайте милость, посылайте к нам почаще такие праздники. Вы не поверите, как скоро от вас получат письма, то здесь пляшут и скачут, а без этого мы должны все плакать[27].

Не могла отказать ему перо. Он непременно хотел приписать. Не думайте, однако, что он что-нибудь знает. Адъютант распечатал пакет, он передал его мне самой, и я дала ему прочесть только то, что можно. За свои письма не беспокойтесь, мой ангел, мне всегда передают их в собственные руки, и за свои я тоже спокойна. Я совершенно уверена, что никакого риска здесь нет. Я той же почтой всегда пишу и маменьке, так что все пока благополучно.

Спасибо вам также за стихи, они прелестны; и вправду, нет ничего драгоценнее дружбы. Насчет Трумера ничего вам не скажу, мне досадно, что вышло такое огорчение. Письмо ваше прелестно, только одно меня в нем огорчило – как могли вы подумать, что я люблю вас меньше, чем вы меня. Выбросьте эту мысль из головы, ангел мой, милый друг мой, клянусь спасением своей души, что нет на всем божьем свете никого, кто способен был бы любить вас нежнее, чем ваша дочь, та, что всегда с вами откровенна и не боится обнаружить перед вами даже свои недостатки, рискуя потерять вашу дружбу и ваше уважение, ибо знает всю вашу снисходительность.

Завтра воскресение, пойду в церковь, дабы возблагодарить создателя за дарованный мне счастливый день, это правда, что по вере вашей будет вам и то также, что за богом молитва не пропадет. Прощайте, мой бесценный ангел, завтра уже буду знать, получено ли письмо, и тогда в точности отчитаюсь перед вами.

25-го, в 5 часов вечера.

Нынче утром я была у обедни, видела в церкви Кира

И., он сказал, что пришло письмо, только он его еще не получил; жду его с минуты на минуту, чтобы узнать, что за письмо. Вы и вообразить себе не можете мое нетерпение, только л-б-вь моя может с ним сравниться. Не осмеливаюсь написать сие слово полностью. Я спряталась в дальнем углу, но он меня все же заметил и поклонился.

Только что пришли сказать, что ко мне приехали гости. Сейчас гости уехали, пили у меня чай. А Кир И. все не идет, не знаю, что бы это значило. А между тем мне не хотелось бы отсылать этот дневник, ничего не сказав по поводу книги. Скажите, мой ангел, показывали ли вам мою записку и что о ней думают?

Муж сейчас в лагере, там, кажется, небольшое празднество

для мужчин. Нынешней ночью, а может быть, и завтра, мы ждем генерала Кайсарова, о котором, кажется, я вам говорила, что он необычайно со мной любезен. Когда он уедет, я вам напишу; к тому же после него я ожидаю визита Магденки, так что следующей почтой смогу сообщить вам что-нибудь более интересное. Сейчас я ужасно неспокойна, от нетерпения сама не своя.

Как я благодарна вам, дорогой друг, за все, что вы для меня делаете, какой Поль милый[19], что он благодарит вас и просит поберечь ваше здоровье, я просто в восторге, что он выучил: «Je t'aime tant»[20], и ни капли не удивляюсь, что он говорит его так выразительно, ведь он и обычные слова произносит выразительно.

Хоть вы мне этого не говорите, но я вижу, что вы одобряете мой вкус, как с нравственной стороны, так и в отношении внешности.

Поговорим о другом. Вы, мой ангел, словно выговариваете мне за А. А. А я вам на это скажу, что как приехала, так сразу сказала мужу, что надобно найти няню, а ее рассчитать, потому что мне ее обхождение не нравится. Так ему угодно было тянуть время, он этим не занялся, а потом вдруг, ни с того ни с сего, вспылил из-за какого-то платья и наговорил ей всяких грубостей. Потом сам же до того дошел, что просил ее остаться, а когда она не захотела (чему я очень была рада), тогда он ни минуты лишней не позволил ей оставаться в своем доме. А теперь, чтобы перед вами выглядеть правым, он пишет маменьке, что-де сделал это, чтобы ей угодить. Прошу вас, мой ангел, оправдайте меня перед папенькой, а то я вижу, он гневается на меня, если судить по эпитету к имени Анны А. в его последнем письме; никогда оп так мне не писал; сделайте милость, скажите ему, что я слишком была бы несчастна, если бы заслужила его недовольство, а ведь у меня не осталось никакого другого утешения, кроме любви моих родителей. Слишком жестоко было бы отнять ее у меня.

Я думаю, вы не можете жаловаться на мою леность, Мой бесценный ангел, но я вас прошу (хоть эта просьба и дорого мне стоит), ежели вам тяжело много писать, то не пишите так много, только непременно раз в неделю и так, как я вам сказала.

Он приходил, только еще не получил, обещал завтра прислать.

Не бойтесь ничего, мой ангел, и не беспокойтесь, я буду осторожна, насколько это возможно. Будьте здоровы, ради меня, а главное, верьте в нашу дружбу, которую ничто не может омрачить. Напишите мне, пожалуйста, сколько Полю исполнилось лет, спросите его, как поживает его семья, мне

хотелось бы знать имя его матери, и если есть у него сестры, в каких краях они живут и как их звать. Надеюсь, вы все это мне сообщите, а ежели станете читать ему из моих писем, перескажите мне потом, что он говорил, только перескажите собственные его слова.

№ 16

Муж вернулся из лагеря, где были танцы, да еще и сейчас танцуют. Было много приглашенных дам. Этот праздник устраивал один молодой капитан из нашего полка, но меня не приглашали, потому что я не бываю в доме его матери, муж не хочет, а причина та, что у нее двое молодых сыновей.

Понедельник, 26-го, 10 часов утра.

Сегодня у нас обедает Кайсаров, после свидания с ним буду все вам описывать. Я просто в упоении. Порадуйтесь и вы моему счастью. Я получила несколько слов, меня благодарят и просят принять Йорика[21]. Я зашила записку в кусочек материи и теперь ношу его на своем крестике у сердца. Что за человек! Какая душа, какое сердце! Как он заслуживает счастья!

Прощайте, мой ангел, нынче я счастлива. Будьте здоровы, любите меня по-прежнему. Кайсаров только что ушел от нас. Он держится очень учтиво и очень зол на Ротта за то, что тот ему не пишет. Передайте ему это, пожалуйста.

Еще раз прощайте, молитесь за вашу Анету. Я читала его письмо к Киру И., он себя не помнит от счастья. Еще раз прощайте.

№ 17

1820. Псков. 26-го, в понедельник, 5 часов пополудни.

Наши поехали на учения, а я села опять с вами побеседовать. Кайсаров у нас обедал, был очень любезен, и я обещала ему писать к Ротту, чтоб некоторым образом загладить вину свою, что я не привезла ему ответа, что и исполнила: сегодняшней почтой послала в маменькином письме.

Только что получила Йорика, в нем отмечены многие места, напоминающие наше с ним положение. Записка написана в высшей степени почтительно, в ней всего десять строк, в которых он благодарит меня и клятвенно обещает сохранить уважение ко мне до конца своих дней. А в книге меня просят хоть строчку,

написанную моим почерком, и в письме к Киру И. он просит взять за книги собственноручную расписку у той, коей они принадлежат. В записке он более осторожен, но в книге говорит все, что хочет, то есть отмечает все те места, что напоминают его чувства. Йорика я спрятала, потому что он может вызвать подозрения. Но он еще прислал поэму о Петре Великом, думая, что она мне принадлежит, он взял ее у Алексеева. Вот о ней я скажу, будто давала ее читать Киру И. Думаю, мне следует поблагодарить его за поэму, но пока повременю, а вы скажите ему от меня, что я читаю прекрасную речь, что он прислал, и она мне очень понравилась и делает честь его тонкому вкусу. Если бы можно, я бы ее у себя оставила, не как любительница, но подражательница любителям отечественной словесности.

10 часов вечера.

Сейчас опять Кайсаров ужинал у меня, он уверяет, будто Ротт в меня влюблен, и не хочет мне верить, что нет. Я это предвидел, говорит он, я догадывался об этом, да иначе и быть не могло. Именно у ваших ножек должен он курить вам фимиам, это его настоящее место, и еще много всяких вещей в этом же роде. Он попросил переслать ему подлинный ответ Ротта, а затем, отвернувшись, сказал, что просит это ради любопытства, чтобы увидеть, в каком тоне он ко мне станет писать.

Завтра в лагере торжественный обед, кажется без дам, а затем чай и танцы у губернатора. Я тоже поеду, уж не знаю, весело ли мне там будет, думаю, навряд ли. По нынешнему состоянию моего сердца, одиночество гораздо более мне по нраву. Признаться ли? Достойный предмет, что завладел моей душой, ныне поглощает все мои силы и интересы. И еще признаюсь: первый раз люблю я взаправду, и все другие мужчины совершенно мне безразличны. Бывало прежде, когда я думала, что люблю, меня все же иной раз заботил мой успех, теперь все это кажется мне ничтожным. Любезный Кайсаров ничуть не трогает моего сердца, несмотря на все лестные слова, что он мне расточает. Вот уже три недели, как я живу под одной крышей с интересным молодым человеком, который меня любит и говорит мне иногда это, и все время находится подле – однако это ничуть меня не затрагивает, я чувствую, что не могу любить его истинной любовью, ибо души наши чужие друг другу, а без этого не может быть истинной любви. Признаюсь вам, что все это просто несравнимо, там моя душа чувствует его душу в каждом слове, которое он произносит (надобно бы сказать: произносил, ибо счастливое то время миновало), а иной раз даже когда и молчит. Никогда мне этого не забыть. В своем письме он рассказывает об

именинах папеньки, о Поле, о том, как он похож на меня, о недовольствах Лизы. Он даже удивляется ее характеру, но он просит мне об этом не сказывать, потому что, если это меня огорчит, он потом всю жизнь будет несчастен. Так что прошу вас, мой ангел, пусть это останется между нами. А вы мне насчет этого никогда не писали, может быть, дело в том, что вы редко ее видаете? Прежде всего я вам скажу, что меня она ненавидит, потому что завидует и не любит ни брата (оттого, что у него сходство со мной), ни маленькую сестрицу. Это дурной характер, но вот ее любят и не принесут в жертву, и воспитание она получит блестящее. Простите, мой ангел, что я немного ропщу, когда сравниваю ее судьбу со своей.

Спокойной ночи, мой единственный друг, передайте милой моей маменьке, что ничто не может сравниться с моей любовью к ней, и про себя тоже знайте, мой ангел, что нет на свете никого, кто любил бы вас более нежно, чем ваша Анета. Спите спокойно.

27-го, в 2 часа.

Только что ушел Кайсаров, он у нас завтракал, сейчас все они в лагере, а я сижу одна. Я уже вам писала, что мы нынче едем на вечер к губернатору, не думаю, что я получу там удовольствие, разве можно это сравнить с веселием, какое я испытала у вас – никогда не изгладится у меня сладостное воспоминание о том вечере, когда я была у вас вместе с маменькой. Какая я была тогда счастливая! Все это теперь кончено навеки, и я предпочла бы смерть теперешней жизни.

И в довершение всех моих бед, меня еще преследует этот его племянник, ни минуты нет от него покоя, потому что он все свое время проводит со мной, для меня в сто раз было бы лучше, если бы он меня не любил, по крайней мере, не ходил бы за мной по пятам, и у меня было бы больше свободного времени.

27-го июля. В полночь.

Мы только что вернулись. Вечер у губернатора был довольно приятный. Танцев не было, пили чай, за ужином очень потешались над малороссами, особенно Кайсаров беспрестанно со мной ссорится, а кажется, очень меня любит. Мы там ужинали, а оттуда в одной карете возвратились назад. Муж просил его, чтобы он каждый раз, как будет здесь проезжать, останавливался у нас, и мне сказал, чтобы я о том попросила. Тогда я ему говорю по-русски: «Нам очень будет приятно, если вы без церемоний у нас остановитесь». Тут вдруг он со страстью схватывает мою руку (мы рядом сидели), горячо ее пожимает и спрашивает: «В самом деле? Это правда?» Я ему отвечаю, что, разумеется, это доставит

нам большое удовольствие, а он поцеловал мне руку, и я никак опомниться потом не могла – мы как раз выходили из кареты, а муж из нее уже вышел.

Надобно вам сказать, что губернаторша очень собой хороша, только в ней совсем нет светской учтивости, которая бывает у нас, когда мы того хотим. Уезжая, он еще мне сказал, что ее красота блекнет, когда меня увидишь. Вот вам небольшой отчет о нынешнем вечере. Прощайте, добрый друг мой, спокойной ночи, спите спокойно. Я сегодня была в новом шитом платье, и ваша закладочка синей шерсти прекрасной с синелью, и белая шаль. Прощайте еще раз, Мой друг-хранитель, ангел мой. Вечно ваша Анета. № 18 28 июля, в 11 часов утра, среда.

Здравствуйте, мой нежный друг. Нынче муж, кажется, переезжает в лагерь, а значит, и мне надобно будет быть там. Признаться, мне это довольно грустно; я сделалась страшной мизантропкой, ибо чувствую себя гораздо счастливее, когда никого не вижу. Кайсаров уехал еще вчера к вечеру, я очень этому рада, а вот что меня огорчает, так это то, что Магденко к нам сюда не приедет, он сказал Кайсарову, что ему это неприятно из-за ссоры обоих генералов. Пока здесь был Кайсаров, Кир сказывался больным.

Думаю поехать сегодня к г-же Пальчиковой, чтобы поблагодарить ее за любезность – она дала мне фортепиано и книги, а у меня до этих пор голова до того была занята, что я не могла найти минуты, чтобы хотя бы поблагодарить ее запиской. Не следует быть неблагодарной, всегда надобно высказывать память сердца (такое определение благодарности сказал мне вчера Кайсаров).

№ 18

30-го шюля, пятница.

Весь вчерашний день я не писала вам, мой ангел, и вот почему: приходит вчера после обеда мой драгоценный супруг и сообщает о своем намерении пригласить губернаторшу и еще некоторых дам в лагерь на чай, а после устроить танцы. Мы с ним наметили программу, и я уже было собралась ехать к г-же Пальчиковой, как вдруг мой драгоценный, мой благородный супруг спрашивает у меня ключи. Я прекрасно понимала, что они ему без надобности, а просто он желает испытать, не побоюсь ли я их ему оставить; меня, признаться, это возмутило, я не хотела их ему давать, тогда он отнял их у меня чуть ли не силой. Я была просто взбешена таким недостойным и подлым поведением. Вся

внутренняя перевернулась. Я ему сказала, что сам дьявол бы так себя не вел. Вы ведь знаете, какая мягкая у меня натура, добром от меня можно добиться самой большой жертвы. И что же после этого он делает, как вы думаете? Садится со мной в карету, не дает мне из нее выйти, и дорогой орет на меня во всю глотку – он-де слишком добр, что все мне прощает, меня-де видали, я-де стояла за углом с одним офицером. А как увидел мое возмущение, тут же прибавил, что ничему этому не поверил. Тогда я сказала, что лучше быть запертой в монастыре до конца своих дней, чем продолжать жизнь с ним. Если бы не то, что, на вечное свое несчастье, я, кажется, беременна, ни на минуту бы с ним больше не оставалась!

Как я несчастна, что вынуждена огорчить вас, я сама первая от этого плачу, но к кому же мне прибегнуть, что мне теперь делать? Зачем велели вы мне уехать от вас? Уединенная, замкнутая жизнь, какую я здесь веду, все равно не спасает меня от этих оскорблений. Потолкуйте об этом с Ольгой Андреевной и напишите, что мне делать. Только, ради самого неба, ради любви ко мне, ради всего, что вам дорого, не огорчайтесь из-за этого, мой ангел, не то мне уж вовсе не к кому будет прибегнуть. Между тем он не хочет огласки. Если бы я тогда осталась, никто ничего бы не знал, и все бы считали, что мы по-прежнему в добром согласии, теперь же этого уже нельзя будет сделать. Вы не думайте, что мне скучно будет дома, – нет, я сидела бы, запершись, в одной комнате, ни с кем, кроме вас, не видясь, и довольна была бы своей судьбой; правда, я чувствую себя созданной для светской жизни, но вспомните, – ведь умела же я быть веселой в вашем уединении. Так вот, я решила, что в Петербург с ним осенью не поеду, а, может быть, отправлюсь повидать моих подруг, после чего до конца моих дней буду жить подле вас. Если же, на свое несчастье, я в самом деле беременна (это еще не наверное), то рожать я, может быть, поеду в Берново к тетушке Анне Ивановне, а ежели бог даст, я рожу прежде времени (о чем ежечасно молю бога и думаю, что не грешу перед ним), тогда я, может быть, приеду прямо к вам, если только буду уверена, что отец меня не выгонит: ведь сказал же он однажды мужу, что, если бы я его оставила, двери родительского дома были бы для меня закрыты. В своем ослеплении он уже заранее готовится сделать свое дитя несчастным. Не пришлось бы ему в этом каяться! Вот бедную маменьку мне более всего жалко, сестра Лиза никогда – смею это утверждать – не станет так любить ее, как я, и не будет так предана ей до последнего своего вздоха!

Надобно вам сказать, что позднее он все же попросил у меня прощения за грубость. Бедная моя дочка, которая была с нами,

так испугалась громких воплей этого бешеного человека, что с ней сделался понос. Так что мне кажется, что хотя бы ради интересов ребенка нам лучше не жить вместе, ведь для нее это дурной пример, а она уже все начинает понимать. Проехавши несколько верст, мы поворотили домой. А вчера я снова туда поехала. Эти милые люди очень мне были рады, они ведь все любят меня до обожания. Я их пригласила на сегодня, итак, у нас будет большой бал и еще фейерверк. Какой контраст с тем, что творится в глубине моей печальной души! Может быть, и дорогой мой Магденко тоже приедет, и мне кажется, что произойдет примирение с Лаптевым. Этим занялся губернатор, оба противника должны явиться к нему с утра, и, если все уладится, Лаптев сегодня вечером приедет в лагерь.

Вот вам описание тех двух дней, в которые я не имела силы держать перо. Если вы, мой ангел, прикажете мне оставаться и терпеть, я безропотно вам подчинюсь. Но говорю заранее, что стану жить еще более уединенно и ни за какие богатства мира не поеду с ним в столицу. Я слишком несчастна и не в состоянии буду показывать свету безмятежное лицо, в то время как в сердце моем – смерть. Ведь вы согласны со мной, не правда ли?

№ 19

30-го июля, пятница.

Бал наш состоится сегодня. Завтра я сообщу вам, как он прошел. Вчера я читала прекрасную эту речь казанского епископа; признаюсь, она очень подействовала на мою душу, и это чтение очень полезное для тех, которые надеются только на вечную жизнь. Скажите Иммортелю, что я убедительно прошу оставить, ежели можно, ее у себя, что это будет служить бальзамом для больной души моей. Признаюсь вам, картина, живо описанная, будущей жизни много успокоила мои чувства и придала твердости переносить мои несчастья, – это послание настоящего ангела-утешителя. Советую вам достать это и прочесть, оно достойно вашего внимания.

Прощайте, мой ангел, теперь мне легче стало, когда я излила чувства свои в вашу душу. Оставляю перо, чтобы приготовляться к празднику нашему; и успею, может быть, показать посторонним спокойную и веселую наружность.

Только что получила письмо от Магденки. Он отказывается от нашего приглашения под предлогом простуды, которая даже помешала ему (по его словам) лично представить свой второй полк Кайсарову. Его письмо наполнено всякими лестными для

меня словами, он говорит о безграничной своей преданности мне, что-де, зная его сердце, я могу судить, насколько тяжело ему быть вынужденным отказать мне. Я думаю, настоящая причина том, что он не хочет быть втянутым в какие-либо распри между моим драгоценным супругом и Лаптевым!

А насчет последнего я сейчас узнала, что губернатору нынче утром удалось их примирить и Лаптев пообещал приехать в лагерь. Надеюсь, что вас порадует эта новость, хоть я и уверена, что помирились они не от чистого сердца; но, по крайней мере, будут соблюдены внешние приличия, – а это уже для общества что-то значит. Однако, принимая в соображение содержание моих писем, я навряд ли могу рассчитывать, что вы ожидаете почту с особым удовольствием. Я отдала бы все на свете, чтобы иметь возможность сообщать вам иногда приятные новости, но я не должна ничего таить от вас, это нарушило бы всю прелесть взаимного нашего доверия – и вот мне постоянно приходится вас огорчать, а ведь я бы десять лет жизни отдала, чтоб только уберечь вас от всего печального и вернуть вам здоровье. Чем больше я думаю, тем более раскаиваюсь, что написала вам о всех своих горестях, умоляю вас, милый мой друг, не печальтесь, не расстраивайте из-за меня драгоценное свое здоровье, берегите его ради нас, не я одна вас о том молю. Есть особы, несказанно мне дорогие и весьма достойные вашего уважения (осмелюсь даже сказать, любви), кои просят вас об этом ради меня. Только посоветуйте, как мне быть, все, что вы скажете, будет для меня священным, и я немедля последую вашему совету.

Как ни отрадно было бы мне переписываться с Полем, я только что написала ему несколько строк, в которых благодарю его за книги и уведомляю, что это последние строки, кои он от меня получит, ибо я не желаю иметь повод упрекать себя за тайную переписку. Вот дословно то, что я ему написала, и я уверена, вы меня за это похвалите. Но вы не станете гневаться, если я скажу вам, что его записочку, которая вся дышит почтительностью, благоговением и благодарностью ко мне, я зашила в кусочек тафты и ношу на крестике подле сердца, на месте того талисмана, что вы мне надели и который я спрятала. Не браните меня, мой ангел, за сие невинное утешение.

Я сейчас вновь перечитала прелестные надписи на Йорике. Что за тонкость чувств, какое благородство в малейшем его поступке. И это существо, столь достойное моей привязанности, законы не дозволяют мне любить, и я вынуждена жить для человека, чей нрав вам хорошо известен.

Дайте мне возможность порадоваться хотя бы тому, что вы изредка говорите ему обо мне, что ему, я знаю, хорошо известно,

как велико мое к нему уважение. Я не смею сказать ему, что отвечаю на его «нежные чувства всем существом своим, что ничья любовь не может сравниться с той, какую я питаю к нему и которой он столь достоин во всех отношениях. Но не скрывайте от него хотя бы то, что я несчастлива, и ежели он почитает себя страдальцем, пусть знает, по крайней мере, что я страдаю еще более его.

Скажите мне, имеете ли вы иногда возможность читать ему из моих писем? Меня бы очень это утешило. Не браните меня. Вам, верно, кажется, что я слишком много пишу о сем предмете, но подумайте, мой ангел, несчастный утопающий хватается за соломинку, чтобы спасти себе жизнь, – так проявите же в этих обстоятельствах свою обычную снисходительность и простите свое дитя, единственного своего друга, за то, что он слишком предается сердечной своей склонности, которая лишь одна являет ему поддержку в его горестях.

Может ли сердце, столь любящее, как мое, жить без любви – той невинной любви, какой является наша, любви, которая никому не причиняет зла и уготавливает нам, быть может, вечное блаженство.

31-го шюля, в субботу.

Сейчас четыре часа пополудни, а я только что встала с постели, так устала от бала. Бал был блестящий – чудная иллюминация, прелестный фейерверк, а после этого разыгран был небольшой ночной бой. Лаптев был как нельзя более любезен, все были счастливы и довольны, кроме вашей Анеты.

Во вторник офицеры наших двух полков тоже дают бал в тех же палатках – полковник просил меня оказать им честь и, как вчера, принимать дам и быть хозяйкой праздника. Так что мне предстоит еще один бал, а потом генерал Лаптев тоже намерен устроить праздник.

Я не отказала доброму полковнику быть хозяйкой на их балу (его жена не может быть, она сама кормит), он меня просил во имя всего корпуса офицеров, они все меня очень любят. Это очень утешительно, но не утешает. Уголок вашей комнаты я предпочла бы царствованию над всеми здешними сердцами, всеми почестями и суетными удовольствиями.

Буду ожидать с большим нетерпением ответа на эти нумера; вы извините, что не пышное и не пространное описание нашего бала. Я не буду по-прежнему (когда я была свободна и спокойна) описывать вам мои победы. Я их не примечала и слушала хладнокровно двусмысленные недоконченные доказательства удивления – в о с х и щ е н и я.

31-го июля, суббота.

Итак, я вам о сей статье ничего более не скажу. Так как вы здесь никого не знаете, то вам и не интересно знать действующие лица этого праздника. Насчет моего наряда скажу вам, что на мне было белое вышитое платье на розовом чехле, зеленые шелковые башмаки и зеленый платочек, на голове ничего. Сейчас получила неоцененное письмо ваше, мой ангел; никогда без слез не читаю драгоценные для меня ваши строки. Как я счастлива, что вы мною довольны, это заставляет меня забывать и терпеливо сносить все мои страдания. Теперь скажу вам, что мне хотелось, чтобы вы сами выбрали себе платок, и потому я не сказала вам, что черный я надевала один раз и потому желала, чтобы он перешел с моих плеч на ваши плечи. Этого я вам тогда не сказала, думая, что вы пожертвуете своим вкусом, чтобы сделать мне удовольствие. Я очень рада, что кисет мой понравился папеньке, и благодарна за снисходительность его. Доставление утешения Ольге Андреевне также принесло мне неизъяснимое удовольствие. Приезд Бухариной[22] не так меня утешает, я боюсь…простите, она не может и вполовину иметь к вам столько привязанности, я хоть совершенно уверена в вашей, но кто не ревнив, любя? Я не имею нужды просить вас не оставлять мою бесценную маменьку; я знаю вашу душу; хоть это желание можно назвать эгоизмом, но я желала бы, если возможно, чтобы вы их не оставляли, и если я смею сказать свое мнение, то я думаю, хорошо бы было почтеннейшей бабушке продать свое имущество в Соснице, где ничто ее не привязывает, и переехать жить с Пелагеей Петровной.

Ваше здоровье, хотя и поправится, не скоро позволит ее навестить; а тогда я бы была совершенно на счет ваш покойна. Я сужу о вас по себе и без содрогания не могу подумать, как с вашей душой жить между такими, людьми, как в Соснице, это меньше, чем не жить. Напишите мне, как вам покажется мое мнение. Еще благодарю вас за присылку письма Каролининого. Оно немножко странно для меня после прочих. О том предмете она не упоминает, меня удивляет это чрезвычайно, да и вы не сказали мне насчет этого своего мнения, каким образом она попадет в Лубны, я не понимаю.

За выписку из этой прекрасной проповеди очень благодарю, потому что это мне показывает, что у нас почти одинаковый вкус, эти самые места мне понравились.

Я удивляюсь, что вы думаете, что она для меня не будет занимательна: я ее имею. Я несколько раз перечитала ее с величайшим удовольствием, и у меня явилось желание попросить

его оставить мне ее навсегда, если это не будет для него слишком большим лишением. Но я узнала, что и у вас тоже она была, стало быть, есть с нее список, так что теперь я уверена, что он мне не откажет. Она так хороша, так усладительна, что чтение ее успокаивает самые большие горести надеждой награды за оные и лучшую жизнь.

Болезнь его очень меня тревожит, слава богу, что она не опасна. Скажите ему от меня, что я прошу его беречь свое здоровие и что я крайне ему признательна за утешение, которое он доставил мне сим усладительным чтением.

«То, что любим, удаляется от нас! То, чего желаем, убегает нас; то, чего страшимся, случается с нами; мы никогда не бываем счастливы со всех сторон». Это я больше, нежели кто-нибудь, могу сказать. Кому, кажется (по наружности), более счастие улыбается? Кто, однако ж, внутренне более страдает? Вы одна это знаете и одна можете несколько облегчить оные. «Одно лишение не заменяется всем, что в руках наших». Как это справедливо! Вчера во время окружавших меня веселостей сколько раз я думала об этой проповеди. Как мало соответствовали все эти веселости тихим и скромным желаниям моего сердца; как охотно бы я поклялась никогда не участвовать в оных, если бы когда-нибудь исполнились последние. Тогда ваша комната превратилась бы для меня в рай земной. Никакие добродетели в вашем присутствии не могли бы быть чужды моему сердцу. Две чувствительнейшие в мире души наслаждались бы неоцененной вашей дружбой и старались бы всеми силами успокаивать вас и сберегать неоцененное для них ваше здоровье.

Но я примечаю, что я пустилась почти в житейские желания, и хотя это не похоже на суету суетствий, но на такое совершенное счастие, которого вряд ли какой смертный достоин; простите, я все пишу, не поправляя и не обдумывая, что приходит мне в голову, и оттого нередко забываюсь. Любовь ваша мне порукой за ваше снисхождение. Вы пишете мне еще, что люди есть, которые завидуют моей к вам дружбе. Бог с ними. Надобно уметь любить, чтоб заслужить быть любиму. Не любив никого, кроме себя и свои выгоды, я не понимаю, как можно завидовать взаимности, оказанной другому. Между нами сказать, я в пребывание свое довольно узнала характер Лизы; и хотя не часто сообщала вам на сей счет свое мнение, но ясно видела, что она не имеет ко мне ни малейшей привязанности, и ежели желает оной с моей стороны, то для того только, чтобы лишь понравиться папеньке.

Это единственная цель наружных ее добродетелей, она для этого будет всегда притворяться, что по своим летам довольно искусно делает. Это истинная правда, хотя далеко не

утешительная.

Итак, вы видите, что я не могу с ней иметь пространную переписку ни по летам нашим, ни по образу наших мыслей. Папенькина к ней любовь не позволяет ему видеть ее фальшивого характера, но пусть он будет лучше слеп, нежели несчастлив и этой дочерью, хоть другим образом.

Оставляю перо, чтобы отдохнуть немного; обнимаю моего единственного друга, никогда не забуду вас, клянусь душой!

Тебя забыть, но кто же будет
Мне в жизни радости дарить?
Нет, прежде бог меня забудет.
Тебя забыть, тебя забыть!

Покойной ночи вам желаю и приятнейшего сна. Христос с вами. Благословляю вас. Целую ваши глазки. Прощайте еще раз.

Вечно ваша *Анета*.

№ 21

7-го августа, 5 часов вечера.

Вот уже и август на дворе. Как быстро течет время в горестные минуты жизни! Но те, что я провела с вами, пролетели еще быстрее; то был лишь сон, самый прекрасный сон в моей жизни, и воспоминание о нем я сохраню до последнего своего вздоха.

Нынче утром я была удивлена и обрадована приездом г-на Магденки. Дружба его для меня драгоценна, каждый день все более убеждаюсь в этом. Мы говорим с ним о вас

и о маменьке, он обещал, что осенью будет в Лубнах и посвятит целых два дня, чтобы познакомиться с милой моей маменькой. Он многое расскажет вам обо мне, я уверена в этом, ведь он питает ко мне истинную дружбу. Он остается здесь до послезавтра, дня бала, он говорит, что хочет быть сторонним наблюдателем и позабавиться на счет одного из моих обожателей, которого ему назвал муж.

Скоро у вас в Лубнах будет ярмарка, снова там воцарится веселье, а бедная ваша Анета в это время будет стенать под бременем всякого рода забот, твердя мысленно стихи, что запечатлелись в глубине ее сердца:

Как медлит прийти счастье,
Как быстро счастье пролетает.

Сделайте мне удовольствие, спросите когда-нибудь в разговоре у Иммортеля, какая причина вынудила его сменить платье, – помните ту смешную историю в саду; а еще спросите, какие женские имена ему более всего нравятся.

7 часов вечера.

Наши поехали в лагерь сегодня, сейчас, и я опять принимаюсь за перо. Магденко мне рассказывал сию минуту о недавно случившейся революции в Неаполе. Он читал это в газетах. В самом деле, удивительная вещь. Требование народом и войском конституции, о чем король и министры после всех узнали, и революция, которая не стоила ни капли крови. Думают, что это взбунтует французов, которые не захотят уступить итальянцам в тонкости, и что наконец что-нибудь да будет. Вы знаете мое мнение; все, что может меня с вами сблизить, не может мне быть противно. Я же не считаю за грех желать того,

чего все войско наше желает. Я сейчас начинаю строить на воздухе замки: вы довольно знаете, какого роду.

Скажу вам, что я получила из Петербурга мои часы, и слава богу, когда одна, то знаю наверное… который час. Переселяюсь мысленно в вашу комнату, пью с вами чай; иногда хожу по комнате и всегда, когда одна, так живо представляю себя с вами вместе, что сия обманчивая прелестная мечта услаждает на минуту мои горести.

2 августа, в 10 часов утра.

Здравствуйте, милый друг. Нынешнюю ночь я провела прекрасно: видела вас во сне. Будто я была в вашей комнате, и Иммортель тоже. Зачем все это не наяву? Скажите, мой ангел, как вы думаете, всегда ли он будет любить меня? Не знаю почему, но меня преследует безумная мысль, что он разлюбит меня, как только узнает о моем положении, – и мысль эта сокрушает мне сердце. Развейте мои сомнения, успокойте меня, мой ангел, ведь я больная, со мной надобно обращаться с осторожностью.

Прощайте, единственный мой друг, будьте здоровы, милый ангел. Ради любви ко мне, оправдайте меня перед Ольгой А., что ей не отвечаю: у меня так мало времени.

Магденко еще у нас и останется до 4-го числа. Муж с ним очень хорош, но на свой лад, обиняками кормит, а он делает вид, будто не замечает, – и я тоже. Вчера ввечеру он был у меня в кабинете, и я ему давала читать «Любовь есть кризис». Он до чрезвычайности хвалил перевод, хвалил многие места, он имеет это на немецком, это Шиллера сочинение; но говорит тоже, что «мы не боги и земля не Олимп». Прощайте, моя родная, Христос с вами, на будущей почте поищу послать что-нибудь Лизе на ее именины. Грустно очень, что здесь нельзя ничего достать. Прощайте еще раз, сокровище мое, с нетерпением буду ожидать вашего журнала. Скажите мне, мой ангел, как вы думаете, ежели я вправду беременна, приезжать мне к вам для родов? Я так полагаю, что нет, потому что, коли я снова приеду к вам одна, мне потом и вовсе будет не уехать. Кажется, я уже вам писала, что в Петербург не поеду, решение это твердо.

Прощайте, единственное мое утешение, ради всего святого, берегите свое здоровье, видит бог, оно дороже мне моего собственного.

Завтра состоится бал. После того как письма эти будут отправлены, я снова начну свой дневник и уж тогда все вам опишу.

Пожалуйста, обнимите за меня вашу сестрицу, ее мужа и детей. Как я завидую судьбе г-жи Бухариной, что она снова

окажется неподалеку от Лубен. Когда б она могла оценить всю полноту своего счастья! Кланяйтесь от меня всем моим знакомым. Передайте от меня Иммортелю все, что только подскажет вам ваше доброе сердце, а главное, чтоб он был здоров и т. д. и т. п.

Прощайте же, меня торопят, да хранит вас господь, мой ангел. Любите по-прежнему вашу навеки Анету.

№ 22

Псков. 1820 г. 2 августа в 2 ч. пополудни.

Только что совершила небольшую прогулку с Магденкой, Катенькой и Кир И. Он обмолвился, что муж обещал ему погостить у него недельку в лагере вместе со мною. Он был очень удивлен, когда я сказала, что хоть общество его мне и очень приятно, но я сделаю все от меня зависящее, чтобы в этом не участвовать. Мне надобно совершенно отказаться от общества, чтобы сохранить свои силы для выполнения тяжкого своего долга. Не могу я выносить оскорбительные подозрения, коими он беспрестанно мне досаждает. Я слишком страдаю нравственно, чтобы чувствовать себя хорошо в обществе порядочных людей. Так ужасно быть вынужденной все время краснеть. А оставаясь в одиночестве, я проводу время с пользой и выиграю и в спокойствии, и в своих занятиях.

После обеда мой муж и Магденко отправились в гости за десять верст отсюда. Вы не представляете себе, до чего он милый. Мы провели два часа в приятнейшей беседе, и вы догадываетесь, конечно, что говорил более всего он и доставил мне изрядное удовольствие своими шутками над милым племянничком, который при своем недалеком уме и самом дурном воспитании ужас до чего самолюбив. Добрый г-н Магденко изо всех сил старался, чтобы тот почувствовал себя более непринужденно, но из этого ничего не получилось. Мне досадно, что он старался понапрасну. Керны не умеют быть любезными, они слишком высокого мнения о себе, и это мешает им понять, как мало они из себя представляют. И мой дорогой супруг, не то обиженно, не то шутливо, кивал головой, делая вид, будто он разумеет больше, нежели хочет показать, а сам-то ровно ничего не понимал, вы же знаете, тонкая, остроумная беседа нам недоступна, это не наше дело, не про нас это писано.

Когда Магденко уходил, он хотел непременно через час возвратиться и пожалел, что у него нет с собою часов. Я предложила ему свои, те, что были у меня на шее, а как стала их

ему надевать, цепочка зацепилась за его пуговицы, и тут он стал говорить всякие любезности, что вот теперь он закован в цепи, а потом сказал, что по его неловкости я сразу могу увидеть, как он к ним непривычен. Чтобы выйти из затруднительного положения, я стала говорить, что прошу его набраться терпения, ведь он так часто мне его проповедует, и вот теперь я покажу ему пример своего долготерпения, а уж он, разумеется, не пожелает выглядеть в моих глазах дьяволом, проповедующим мораль.

Муж просил меня сыграть на фортепиано и спеть, а я отказалась самым решительным образом – нет, это был не каприз – я слишком уважаю Магденку, чтобы хотеть прослыть в его глазах капризной; но просто я хорошо понимаю, что лишь немногим людям моя игра и пение могут доставить удовольствие, и эти немногие – в Лубнах. Мне тяжело подойти к фортепианам с тех пор, как л узнала, что игра моя могла действовать на чувства достойнейшего в мире существа. Я твердо решилась, если возможно, не ехать к Магденке после той неприятной истории, о коей вы знаете. Поймите, мой ангел, душе моей должно теперь чуждаться удовольствий. Если бы не подозрения насчет моей беременности, я бы убежала отсюда куда глаза глядят, только бы избавиться от этого несчастия – разделять судьбу с таким грубым, неотесанным человеком. После завтрашнего празднества я хочу затвориться в своей комнате, никого решительно не видеть, только писать вам да молиться богу, взывая к божественному милосердию его, дабы он как-нибудь соединил меня с вами или же принял меня в лоно свое.

3 августа, в 11 час. утра.

Сейчас приезжал офицер еще раз просить меня быть сегодня у них на бале хозяйкою, я еще спала, когда муж мой вторично за меня дал слово. Сейчас зовут меня гулять пешком, я долго отговаривалась, но наконец должна была согласиться, и я пойду.

5-го, в полдень.

Бал был великолепнейший, но мне не очень было весело, потому что Катя захворала немножко. На другой день Лаптев у нас обедал и еще кой-кто. Как ни мало обходителен мой драгоценный супруг, он страсть как любит устраивать приемы и ради них просто готов разориться. Напрасно мы с Магденкой отговаривали его, ничего из этого не вышло, он все твердил, что должен показать Лаптеву, кто он такой.

Бедная моя дочка все еще не совсем здорова. Магденко просидел у нас за полночь. Он чуть ли не со слезами умолял меня сделать ему честь и присутствовать на его празднике, если только

Катенька поправится, но я решительно отказала ему – можно еще выносить оскорбления, если их слышат одни стены, а на людях это слишком тяжко. Единственная моя защита – это одиночество.

Вы только представьте себе – вчера мы втроем сидели в моем кабинете, я очень тревожилась за Катеньку и шутя ему сказала, что у него, так же как и у меня, на болоте глаза. Так вообразите, он до того разобиделся, что сказал мне при Магденке: «По милости твоей должен кулаками слезы утирать». Я прямо была поражена. Одно из двух – либо нам не жить вместе, либо мне не выходить из своей комнаты: никакие удовольствия не окупят всех этих мучений и не исцелят моих душевных ран. Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что в тысячу раз лучше было бы мне оставаться у вас.

В 6 часов вечера.

Катеньке, благодарение богу, получше, и я немного успокоилась. Сам Лаптев заезжал узнать о ее здоровье и передал мне книгу трагедий, переведенных Висковатовым, – это один поэт, который живет здесь неподалеку. Его вдохновляла любовь, а потому я нахожу, что места, где он говорит об этом предмете, довольно хороши. Так как вам, может быть, никогда не представится другой случай прочитать его перевод, я с удовольствием посылаю вам выписки из наиболее красивых мест. Это по-русски, стало быть, вы и другим сможете доставить удовольствие их прочитать.

№ 23

…часов вечера.

Итак, посылаю вам выписки из Гамлета, это не изящные, но лучшие места из очень посредственного перевода. Сейчас можно видеть, какого роду сочинитель; я думаю, он очень успешно бы писал в нежном роде, не выходя из Своей сферы. Надеюсь, что вам будет приятно читать этот маленький отрывок. Завтра 6-е августа, день веселия и удовольствия в Лубнах; у вас, верно, будет много гостей, и я боюсь, чтобы не сбылась пословица «Les absents ont toujours tort»[28], нет, я уверена, что никакие удовольствия вас не заставят забыть о бедной вашей Анете, печальной псковской затворнице; в теперешнем моем состоянии я много нахожу сходства с наказанием Тантала, который, утопая в роскоши, просил из милости каплю воды для прохлаждения пылающей внутренности. Так точно и я окружена удовольствиями, всякого рода почтением и привязанностью всех

окружающих меня, я кровью бы заплатила за одну нежную ласку моей несравненной маменьки, ваш взгляд, мой ангел, придал бы мне бодрости; но это тщетные желания.

Вотще простру от сердца руку,
Ни голос твой, ни взор меня не усладят.

Прощайте, мой бесценный ангел, удовольствие с вами беседовать заставило меня забыть, что мне нужен, очень нужен покой; Христос с вами.

6 августа, в 6 ч. вечера.

Целый день не имела силы взять перо в руки, противоположность окружающих вас сегодня удовольствий и снедающих ежеминутно меня горестей терзала мою душу. Сейчас имела маленький разговор с моим мужем и получила от него честное слово не требовать от меня выездов никуда, он осенью поедет в Петербург и позволяет мне остаться дома. Ежели же ему не дадут дивизии, то будет проситься за границу до получения оной или до войны; а я имею приехать к вам. – Вы не будете столько жестокосерды, чтобы запретить или отсоветовать мне это, а, верно, примете опять меня с чувством нежнейшей привязанности и позволите посвятить это время дружбе к вам или, лучше сказать, любви. Одна эта мысль впредь будет поддерживать мое существование, одна эта надежда будет отныне подкреплять мою жизнь; это не прежде может случиться, как с будущей весной. Если луч этого благополучия будет иметь на вас столько влияния, сколько на меня, то я довольна, и не имею нужды в другом уверении вашей привязанности ко мне. Благодарю моего создателя за посланное в скорби мне утешение и совсем неожиданно. Теперь постараюсь сообщить вам отрывки из г-жи Сталь, которые я нарочно выписала, надеюсь, что вы их одобрите, наши вкусы так согласны, я бы их перевела, но не имею лексикона, боюсь испортить слог, постараюсь когда-нибудь и доставлю вам.

№ 24

«*Обыкновенно те, которых блаженство никогда не было прерываемо, почти не замечают течение оного. Но это уже не то – когда оно удаляется, огорчение показывает всю цену оного, и несчастие заставляет чувствовать все то, что они теряют*» – это из г-жи Бэрной – перевела я.

Этот отрывок очень справедлив и приличен к теперешнему моему состоянию, одна только разница: что я очень чувствовала цену того блаженства, которым у вас наслаждалась; но мне кажется, что я теперь не довольно благодарна за оное и не довольно великодушно переношу мои горести. Никто из окружающих меня не может постигнуть моего состояния, и справедливо говорит г-жа Сталь: «*Надобно иметь воображение, чтобы отгадывать страдания сердца, и самые лучшие люди в свете иногда бывают тяжелы и просты в таких случаях, они проходят, подавляют чувства, как будто наступая на цветы, и удивляются, что они от этого увядают*». Чем больше я читаю г-жу Сталь, тем более ее люблю и почитаю и нахожу суждения ее отличнейшими – в особенности, когда она говорит:

«*В несчастном супружестве есть такие страдания, которые превосходят всевозможные другие горести в свете*».

7-го, 3 часа пополудни.

Сейчас получила неоцененное письмо ваше, мой несравненный ангел; оно имело то же действие, какое все прочие, радости и горе знаменуются у меня одинаковым образом.

Я обливаюсь слезами над умиротворяющими строками вашего письма и горячо молю небо ниспослать мне утешение – и когда-нибудь соединить нас с вами. Я вас уже благодарила, мой ангел, и писала вам, что я А.А. заплатила 9 руб. за закладочку, я с вами квит, в прочем вы бы меня очень обязали, продавая ваши изделия как другим, для меня это ничего не стоит, а вам для аптеки очень нужно; дружбе ни в чем не должно быть отказа; она очищает все, до чего касается, то, что принадлежит мне, принадлежит и вам. Я бы отдала половину своего достояния, когда б это могло вернуть вам здоровье. Только одно место в вашем письме доставило мне удовольствие, не омраченное печалью, – это то, где вы просите прислать вам разные вещи. Чулки уже заказаны, а материю постараюсь получить из Дерпта, как только будет оказия.

Меня очень сокрушает, что вы говорите о милом моем Поле, мне даже приходит в голову несчастная мысль, что сходство его со мною ему вредит, я наверное знаю, что это причина ненависти Лизиной к нему, его прекрасный открытый нрав заставит фальшиво о нем судить, а фальшивые и лицемерные вечно будут торжествовать.

Что до гувернантки, то она оказалась достаточно политичной и поняла, что при поддержке папеньки всего можно достигнуть, вот они, стакнувшись с Лизой, и добиваются его поощрения. Зачем я не там и не могу защитить и утешить бедненького моего

Поля, помогать ему в уроках и оберегать от огорчений бедную маменьку.

Простите мне, если я вам признаюсь, что Лизу люблю гораздо меньше, чем их: можно ли любить тех, кто нас ненавидит так же, как тех, кто любит нас? Согласитесь, что сие невозможно. Письмо моей бесценной маменьки заставило меня горько плакать, я вообразила, что судьба меня навсегда лишила счастия пользоваться вашими нежными ласками и ваш рай – навсегда для меня потерянный рай. Это ужасная мысль! Никакая философия не в силах заставить к этому быть равнодушной; едва ли мысль о религии и вечной жизни может утешить, но вы сами не хотите, чтобы эта мысль единственно занимала мою душу; а хотите, чтоб я не теряла надежды и в этом свете когда-нибудь пожить.

Теперь буду отвечать на письмо А. Н., но лучше сказать на милый ваш журнал. Меня огорчает, что вы не хотите, чтоб это был Иммортель. Мне кажется, что любовь ничем не отличается от дружбы, кроме как чувственностью, а вы довольно меня знаете, чтобы понимать, что у меня к нему этого нет, нет совершенно; я люблю его, как друга, как нежнейшего из друзей; я бы всю жизнь провела с вами двумя, да еще с доброй моей маменькой, и ничего другого бы не желала. Если бы я освободилась от ненавистных цепей, коими связана с этим человеком! Не могу побороть своего отвращения к нему! Мне кажется, ад был бы мне милее рая, когда бы в раю пришлось быть с ним.

Не пугайтесь, только этих чувств уже ничто и никогда не сможет изменить. Но мне и самой непонятно, почему еще большее отвращение вызывает у меня его племянник, может быть, потому, что я весьма приметлива и вижу, что это самый недалекий, самый тупоумный и самодовольный молодой человек, которого я когда-либо встречала. Обо всем-то он судит, на все-то у него готов ответ, ни с чьим мнением он не считается. Он и понятия не имеет о скромности (которая столь же необходима юноше, как и женщине), и вдобавок у него с языка не сходят самые пошлые выражения. Вот вам его портрет, хоть и не лестный, зато точно нарисованный.

Чтобы поймать меня на удочку, надобно половчее за это браться, а этот человек, сколько бы он ни исхитрялся и ни нежничал, никогда не добьется моей откровенности и только зря потратит силы. Но довольно об этом, столь мало интересном предмете, и, пожалуйста, не будем больше и говорить о нем

Слава богу, что Иммортель выздоровел, пусть будет здорова и его душа. Вы пишете, что он человек скромный, и полагаете весьма вероятным, что его чувства ко мне остынут и даже вовсе погаснут. Боже, избави от этого! Скажите ему, что мои к нему

дружеские чувства кончатся только с жизнью моей, а он свои обязан сохранить ради меня, и этим я долга своего отнюдь не преступаю и всегда буду преклоняться перед его достоинствами и боготворить его душу, прекраснейшую из всех, что существуют во вселенной.

Достаточно ли я вам доказала, мой ангел, что моя дружба есть любовь, а любовь значит для меня – дружба. Я надеюсь, что вы мне в этом поверите и дозволите отдаться единственной надежде, которая меня поддерживает.

№ 25

7-го числа, в 7 часов вечера.

Я только что немножко прокатилась в карете, и это принесло мне пользу. Но еще более того – молитва. Проезжая мимо отпертой церкви, я вошла туда. Шла вечерняя служба. Я стала в уголке перед образом нашего спасителя, умирающего на кресте, и горячо молилась, прося небо сохранить мне тех, кого я люблю, и… Вы не можете себе вообразить, как эта молитва меня облегчила, святость места, образ умершего на кресте за нас, все это внушает упование и тихое спокойствие. Г-жа Сталь говорит истинную правду, что это прекрасное обыкновение у католиков, что у них во всякое время церкви отворены, бывают минуты в жизни, где так приятно прибегнуть к молитве в уединенном храме!

8 часов.

Я уже сообщала вам о своих надеждах, которые попеременно то успокаивают меня, то внушают тревогу. Муж мне еще прежде говорил, что не прочь был бы поехать за границу. Я полагаю, что по многим причинам это. было бы для него наилучшим выходом. Пока нет войны, он вряд ли получит дивизию, если же ему попроситься в отставку, это может прогневить государя. Да и что он может делать помимо военной службы? Всякое другое занятие было бы ему не по вкусу, в делах гражданских он ничего не смыслит, он рожден военным. Так что я только одного бы желала – чтобы никто не стал отговаривать его от этого намерения. Во всяком случае, это лучшее из всего, что он может сделать. Только таким способом он получит дивизию. Он останется за границей до начала войны, и это будет для него какое-то занятие. Скажу еще раз – вы дурного мнения о моем вкусе, ежели полагаете, будто одни только романы мне по вкусу. Думаю, я доказала вам обратное уже тем, с каким восторгом высказалась о прекрасном

литературном сочинении, которое я осмелилась оставить у себя, так же как теми выписками из весьма серьезной книги, красоты которой я умею понять и почувствовать.

Воскресенье, 8-го, в 11 часов.

Вернулась из церкви, обожаемый друг мой, где, по своему обыкновению, горячо молилась за всех тех, кто дорог моему сердцу.

Могу теперь вам сказать, что дочке моей гораздо лучше: она очень была больна после того поноса. Благодаря богу и одному прекрасному здешнему врачу, она уже вне опасности, и я на этот счет спокойна. Лаптев подходил ко мне в церкви осведомиться о ее здоровье, и все те, кто ее знают, принимают ее болезнь близко к сердцу. Все ее любят, и в. этом отношении она унаследовала мое счастье. Хоть бы в другом отношении она оказалась счастливее своей матери и судьба ее не походила бы на мою!

2 часа пополудни.

Мне хочется еще раз поговорить с вами о Шиповнике, или Иммортеле, называйте его как хотите; с первым именем я готова расстаться, но уже со вторым – никогда. Я хочу верить, что это крепкая, очень крепкая дружба, и хотела бы ему ее высказать; иначе говоря, если бы мне посчастливилось вновь с ним свидеться, я бы предложила ему относиться ко мне дружески и с доверием и сумела бы и сама отвечать ему тем же. Однако г-жа Сталь говорит еще так: «*Чувства, не совершенно справедливые, более вредят, нежели равнодушие*».

Итак, может быть, не захотели бы принять от меня предлагаемую чистую дружбу, ежели бы в ней скрывались другие чувства, которых нельзя скрыть. Как приятно иметь другом умного, любезного и с познаниями человека. Невежественный друг, как и невежественный возлюбленный, – вещь незавидная. Вот что говорит по этому поводу г-жа Сталь: «*Невежество в праздных людях столько же доказывает сухость души, сколько и легкомыслие ума. Подобный мужчина не заслуживает со стороны рассудительной женщины никакой привязанности*».

Хоть я получила довольно небрежное воспитание, чувство восхищения перед прекрасным, что вложено в меня природой, позволяет мне тотчас же распознать алмаз, будь он даже покрыт самой грубой корой, и мне никогда не пришлось бы краснеть за предмет своей привязанности. Когда способности человека выявляются, так сказать, само собой, без чьей-либо посторонней поддержки, и он выказывает незаурядность и благовоспитанность, кои суть плод его собственных усилий, – это всегда признак

высокой даровитости. Именно таков Иммортель. Благородство и изящество его манер проявляются сами собой, без помощи воспитания, прекрасные свойства его души заметны с первого же взгляда. Стоит ему лишь произнести слово, как сразу угадываешь его ум и те усилия, кои он употребляет, дабы с каждым днем все более обогащать его новыми познаниями. Нет надобности говорить с ним, чтобы узнать его, – достаточно лишь увидеть выражение его глаз, которое то и дело меняется, являя нам верное зеркало прекрасной души его.

Перечитала только что написанное и нахожу, что это очень напоминает панегирик, хотя мне не к чему писать его для вас, ибо вы не хуже меня знаете и угадываете все его достоинства. Это скорее просто портрет, о котором можно сказать, что он не приукрашен, хоть и не дописан.

В 4 часа.

Собираюсь выйти немного подышать свежим воздухом, но сперва хочу переписать для вас из г-жи Сталь прекрасный отрывок о религии. Он в самом деле великолепен. Я старалась перевести его как можно лучше, чтобы вы могли познакомить с ним и того, кто умеет ценить прекрасное во всем. Вы меня понимаете и, разумеется, дадите ему это прочесть. Хоть перевод и дурен, все же через него можно распознать красоту слога писателя.

Сейчас немножко прокатилась, и хотя не рассеяла снедающей меня грусти, но закружила голову и от этого устала немножко. Кир И. был у меня, теперь я ему сказала все препоручения ваши к нему, и он благодарен. Говорит, что и теперь часто мысленно вас на руках носит. Он очень добрый и честный человек, но теперь я редко имею случай его видеть, принял должность старшего адъютанта и все сидит дома. Он уже давно не имеет писем – вот все, что он мог мне сказать, а оба первых письма я читала. То, что было написано ко мне, я зашила вместе с резедой в кусочек материи и привязала к своему крестику, о чем вам, кажется, писала.

Прощайте, добрый мой ангел, до вечера. А пока буду отдыхать. Когда бы я не для вас писала, мне бы казалось, что пишу слишком много. Но ведь это и для меня тоже. Как подумаю, что это может доставить вам приятную минуту, мне и самой делается приятно. Так что я трачу на это время из благородного эгоизма.

№ 26

Вечером в 7 часов.

Мне пришла в голову странная мысль, не должно бы вам о ней сказывать, но, привыкши все разного разбора мои мысли вам открывать, и эту скажу. Вот она: мне вдруг пришло в голову, что мои письма могут вам наскучить, что вы устаете, их читая, это я вообразила особенно с этой почтой; я вам советую читать с расстановкой и сделать дневку хоть на половине.

Теперь скажите мне, справедлив ли мой страх, ежели мои глупости могут хотя малейший сделать вред драгоценному вашему здоровью, я велю красноречию моему замолчать; и поверьте, мой ангел, что жертва меньше с вами беседовать не трудна будет для меня, если противное может быть для вас вредно. Меня очень утешает, что вы маменьке читаете мой журнал; продолжайте, мой бесценный милый ангел, сообщать ей возможные статьи.

Письма ваши и Анны Николаевны я очень аккуратно получаю, но оставляю их у себя до свидания с ней, которое должно быть скоро, потому что мы недавно узнали, что мать ее родила дочь Марью[23] и, верно, не останется долго в Петербурге, она большая хозяйка и не любит столицу. Впрочем, она так считает себя счастливою, что везде довольна своим состоянием.

Я бы очень рада скорее увидеть Анету, было бы с кем душу отвести.

Теперь у меня слезы навернулись на глазах; ваше письмо лежит развернутое на столике – сколько различных, вместе горестных и приятных чувств оно во мне возбудило; начертание руки вашей, надпись земного, потерянного для меня, рая, – все это производит движения души, превосходящие всякое описание. О, боже мой! Какие бы жертвы я в состоянии сделать, чтобы он соединил меня с вами, все, что я имею, отдала бы с радостью. Лишь тогда достало бы у меня силы следовать стезей добродетелей: ни одна из них не осталась бы чуждою моей душе! Всякий бедняк был бы мне другом, всякий несчастный – братом. Теперь же я только то и делаю, что стенаю под бременем собственных горестей, и у меня нет сил на добрые дела; беда моя подавила во мне все способности, и у меня хватает сил только на то, чтобы говорить о ней с единственным сердечным другом моим, лишь на ее груди ища себе утешения, да лить слезы о том, что мы так ужасно далеко друг от друга.

9 часов

Только что у меня снова был разговор с мужем, речь шла о его поездке за границу, он решил в сентябре ехать в Петербург,

там получить отпуск и в начале весны отправиться. Он заявил мне, что готов, ежели я этого хочу, перейти в армию Ермолова, но уж тогда пусть я имею в виду, что мы с ним навсегда расстанемся, – я бы этому только рада была (ибо для меня невозможно составить его счастье), одно лишь меня удерживает – страх доставить неудовольствие папеньке: я была бы безутешна (даже подле вас), зная, что из-за меня он несчастлив. Что вы посоветуете мне, мой ангел?

Напишите, буду ждать вашего ответа со страстным нетерпением.

Ежели вы полагаете это возможным, напишите, что вы на этот счет думаете.

Положение мое достойно жалости. Прощайте на сегодня. Спросите у Иммортеля, рад ли он будет, ежели скоро увидит меня в ваших местах. Спросите его об этом непременно и перескажите мне его ответ, я не успокоюсь, пока не узнаю его. Доброй вам ночи, пусть спит спокойно весь этот маленький мир дорогих мне существ, коих я люблю больше себя самой.

Понедельник, 9-го, в 10 часов утра.

Только что я успела встать с постели, как мне сказали, что приехал Лаптев, чтобы справиться о моем здоровье. Он очень тревожился о Катеньке, но теперь все уже прошло, и она вне опасности.

Прощайте, мой бесценный ангел, Христос с вами. «*Люди холодные и себялюбивые находят особое удовольствие в том, что высмеивают чувство страстной привязанности и готовы объявить неестественным все, чего сами не испытывают» (Сталь).*

Вот точно так же, мой ангел, и все те, кто меня окружают, никогда не способны были судить о силе и природе моей привязанности к вам.

Еще немного о моих делах. Муж твердо мне обещал отвезти меня к вам и там оставить на те месяцы, что он будет на водах – с мая до сентября, – так что ежели только я останусь жива, то все это время буду самым счастливым человеком на свете. Довольны вы, мой ангел? Сдается мне, что эта новость радует вас меньше, нежели меня; или вы не одобряете этого плана? Быть не может. Все, что до меня касается, без сомнения, должно и на вас производить то же действие.

Пора оставить перо, я и так все другие переписки оставила и занимаюсь только журналом. Очень я слабодушна и не умею полезное предпочитать приятному, но зато умею согласить одно с

другим – раз это доставляет вам удовольствие, значит, мне это полезно. Однако прощайте. С тех пор как я сюда приехала, я ни разу не писала Надине, не поздравила Анету и еще не ответила на письмо Каролины. Прощайте же, надобно выполнить все обязанности.

Хотела послать Лизе сапожки, но Ермолай Федорович говорит, что дорого на почту, и хотел ‘послать казенным конвертом, но я это отклонила. Пришлось бы это сделать от его имени, а, говорят, нынче это очень опасно, могут распечатать, и тогда у него будут неприятности.

Боже, сохрани от этого. Вы ведь знаете, что над ним висит еще дело по поводу дуэли, которое зависит от Ротта, и так как он отказывается стать презренным орудием его любовницы, тот воспользуется этим предлогом, чтобы насолить ему. Прощайте еще раз. Всякий раз, как я отправляю мой дневник, мне кажется, будто я снова с вами расстаюсь. Да хранят все силы небесные ваше здоровье и спокойствие всех вас.

Анета, ваша.

№ 27

Псков. 1820-й. Понедельник, 9-го, в 9 часов вечера.

Не успела опомниться, и опять перо в руках. Я отложила все другие письма до отправления журнала, я его отправила в четыре часа, все отдыхала, а теперь, принявшись за перо, нечаянно попался приготовленный номер под руку. Невольного влечения не в силах удержать, и истинно к несчастью могу сказать: вы ни на минуту не выходите из головы или, лучше сказать, из сердца. Ежели я возьму книгу, то единственно для того, чтобы выбирать эссенцию и сообщать вам лучшие мысли.

Хочу написать вам то, что прочитала сейчас у г-жи де Сталь касательно солнца (вы помните тот маленький спор, который закончился тем, что со мной согласились и воздали должное солнцу): «*Когда мы устрашены мраком ночи, нас часто пугают не опасности, коими она подстережет нас, а ее соприкосновенность всякого рода утратам и страданиям, коими она в нас проникает. Солнце же, напротив, есть как бы эманация божества, как бы сияющий провозвестник услышанной молитвы, лучи его нисходят на землю не для того только, чтобы сопутствовать человеку в его трудах, но чтобы изъяснить природе свою любовь*».

«Его лучи сходят на землю не для того только, чтобы сопутствовать, трудам человека, но и чтоб изъяснить любовь Природе».

Не правда ли, что эта мысль божественна? Любите г-жу Сталь! Познакомьте с этой мыслью тех, кто сумеет ее оценить: для этого-то я и перевела последнюю и самую прекрасную фразу. Как дивно это выражено! Кто другой сумел бы столь благородно, столь приятно выразить свой восторг перед этим прекрасным светилом?

Еще небольшой отрывок о Солнце: «*Цветы поворачиваются в свету, чтобы принять его в себя; они закрываются на ночь, а утром и вечером своим ароматом словно выдыхают хвалебные гимны. Когда цветы растят в темноте, они утрачивают присущую им яркость красок; но стоит их вынести на свет, как солнце отражает в них, словно в радуге, многоцветные лучи свои, и кажется, будто оно горделиво любуется собой в той красоте, коей их украсило*».

Это небольшое описание тоже прелестно, не правда ли? Но пора расстаться с вами; покойной ночи; завтра я расскажу вам, как она оценивает франкмасонство.

10 августа, в 10 часов утра. Здравствуйте, нежный друг мой! Вот что говорит она о франкмасонстве: «*Лессинг написал о франкмасонстве Диалог, в котором светлый его ум обнаруживается в высшей степени. Он утверждает, что содружество это имеет целью объединить людей, вопреки тем преградам, что установлены обществом; ибо если общество и образует некую связь между людьми, подчиняя их власти законов, оно же их и разъединяет, благодаря различиям в общественном положении и месту в управлении. Идея братства, этого подлинного образа Золотого века, в франкмасонстве слилась со многими другими идеями, столь же благими и нравственными. Нельзя закрывать глаза на то, что по самой своей природе тайные содружества влекут умы к независимости; однако они весьма способствуют и развитию просвещения, ибо все то, что люди делают по собственной воле и без принуждения, сообщает их суждениям большую силу и широту*».

Я всегда считала эту секту очень полезной: по крайней мере, человек в ней близок к природе, поскольку люди видят друг в друге братьев; и (между нами говоря) я думаю, что когда бы все мы были масонами, то были бы гораздо счастливее.

В 9 часов.

Г-жа Сталь еще говорит, что: «*Из всех чувствований энтузиазм доставляет нам наибольшее счастье, действительно подлинное счастье, то единственное счастье, которое способно заставить нас переносить человеческую жизнь во всех тех положениях, в которые может поставить нас судьба*».

Совершенно с ней в этом согласна, потому что сама это испытала. «*Возможно ли людям общаться с природой без энтузиазма? Разве могли бы они поведать ей о своих холодных расчетах, о жалких своих желаниях? Как откликнулись бы море и звезды на мелкие, ежедневные дела, на суетные стремления каждого человека? Но если душа ваша взволнована, если она ищет во вселенной некое божество, пусть даже алкает она славы и любви – с ней говорят облака, ей внемлют бурные потоки, и кажется, будто ветерок, пробегая по вереску, благосклонно шепчет вам что-то о вашем любимом».*

Она всегда, соединяет любовь со всем изящным и великим! «*Какого только очарования не заимствует язык любви у поэзии и изящных искусств! Сколь это прекрасно – любить и сердцем И мыслью! Варьировать, таким образом, на тысячу ладов чувство, могущее быть выраженным всего одним словом, но для выражения всего все слова на свете кажутся бедными! Проникаться совершеннейшими созданиями воображения, кои вдохновлены были любовью, и в чудесах природы и человеческого гения находить новые Выражения, дабы раскрывать собственное сердце».*

Я кончила читать г-жу Сталь, и теперь у меня нет больше ничего прекрасного. Если бы это не стоило так дорого, я доставила бы себе удовольствие и послала вам эту книгу почтой, чтобы вы могли ее прочесть. Однако скажите все же, хотели бы вы этого? Тогда я вам ее пришлю, как только у меня будут деньги: ибо сознаюсь вам, этот праздник, который мы дали бог знает зачем, обошелся нам около тысячи рублей. Сначала я думала, что это будет танцевальный вечер и можно будет обойтись одним чаем, а пришлось подавать и шампанское, и всевозможные фрукты, и разных сортов мороженое, словом, всего ушло очень много. Магденко удивляется не кстати расточительности. Всем распоряжался племянник, а меня заранее предупредили, что я ничему не должна противиться.

Теперь же я никуда не выезжаю, да и, признаться вам хоть я уверена, что будете сердиться), не хочется на людей глядеть, от всех удовольствий мира отказалась бы сейчас, только бы избавиться от такой жизни. Виновата! Без ужасу не могу вспомнить жестокости, с которой вы изгнали меня из вашего раю! Вы отравили дни мои горестью, я не имею ни минуты покою, ужасная мысль грызет мою душу, что несчастный увидит свет с ненавистью своей матери! Ежели бы и была возможность к вам теперь ехать, то я не решусь родителям показаться в моем положении; всякий прочитает мои чувства на лице моем, а я бы желала скрыть их от самой себя.

Вы знаете, что это не легкомыслие и не каприз; я вам и

прежде говорила, что я не хочу иметь детей, для меня ужасна была мысль не любить их и теперь еще ужасна.

Вы также знаете, что сначала я очень хотела иметь дитя, и потому я имею некоторую нежность к Катеньке, хотя и упрекаю иногда себя, что она не довольно велика. Но этого все небесные силы не заставят меня любить: по несчастью, я такую чувствую ненависть ко всей этой фамилии, это такое непреодолимое чувство во мне, что я никакими усилиями не в состоянии от оного избавиться.

Это исповедь! Простите меня, мой ангел.

№ 28

1820. 10 августа, вечером, в половине одиннадцатого.

Итак, вы сами видите, ничто уже не может помочь мне в моей беде. Господь прогневался на меня, и я осуждена вновь стать матерью, не испытывая при этом ни радости, ни материнских чувств. Мой удел на сей земле – одни лишь страдания. Я ищу прибежище в молитве, я покорно предаю себя воле божьей, но слезы мои все льются, и нет рядом благодетельной руки, что осушила бы их, нет подле меня моего друга-утешителя, который заставил бы иссякнуть их источник или принял меня в лоно свое.

Простите меня, я понимаю, что огорчаю вас. Берегите свое здоровье – этим вы убережете жизнь мою: она в ваших руках. Никого нет на свете, кроме маменьки, кого бы я больше вас любила. Совестно признаваться в этом, но это правда: даже моя дочка не так дорога мне, как вы. И мне нисколько этого не стыдно; ведь сердцу не прикажешь, но все же я должна вам это сказать: будь это дитя от…, оно бы мне дороже было собственной жизни, и теперешнее мое состояние доставляло бы мне неземную радость, когда бы… но до радости мне далеко – в моем сердце ад, повторяю это. Тут не каприз: чувство это непреодолимо, хотя и приводит меня в отчаяние.

Спокойной ночи, мой ангел, и не думайте дурно о вашей Анете.

11 августа, в полдень.

Здравствуйте, мой нежный друг. Нынешним утром мне пришло сразу три приглашения: первое – в Дерпт, на свадьбу одного майора нашего полка; второе – на несколько балов кряду у Магденко в Острове, на 20-е число; а третье – на крестины одного младенца с его величеством императором Александром. Приняла я только последнее: душе моей так чужды сейчас всякие

развлечения. Балы для меня самая безразличная вещь на свете, скорей даже неприятная. Предвижу, что все военные станут приставать ко мне с уговорами, особенно губернатор и Лаптев, но я решила твердо стоять на своем; и потом у меня ведь есть оправдание – нездоровье дочки.

Погода прехолодная и предождливая, чему я очень рада. Когда на сердце весело, тогда приятно и на светлое солнце смотреть, а когда на сердце ненастно, то и в вёдро дождь идет. Молю Бога, чтобы у вас была всегда хорошая погода, совершенное у всех здоровье, спокойствие душевное и милое воспоминание о той, которая вами только дышит. Я не знаю, почему мне вздумалось сделать вам странный, может быть, вопрос и на который требую от вас непременно скорого и решительного ответа. Скажите мне, довольны ли вы будете, т. е. папенька, маменька и все семейство, видеть меня у вас на будущую весну и на долгое, может быть, время? Вам это покажется странно, но я чувствую, что, конечно, не вас и не маменьку, а других мое присутствие может тяготить. Как вы думаете? К сожалению, должна признаться, что только в ваших и маменькиных чувствах совершенно уверена, а это очень тяжело – быть в тягость близким людям, вы, верно, со мной в этом согласитесь. Я уже сказывала вам, что Ермолай Федорович обещался оставить меня, когда поедет за границу, может случиться, что я год у вас пробуду. Ежели, боже сохрани, моим присутствием я кому-нибудь буду в тягость, я этого не перенесу, и потому, мой ангел, я спрашиваю вашего совету и прошу вас отвечать мне откровенно, не судя только по своему сердцу; ежели бы только от него зависело, то я наперед знаю его ответ.

Прочитайте маменьке эти строки и сообщите мне ее мысли. Конечно, я уже не буду та, как прежде, не буду занимать вас моею веселостью, а надоедать вам моею грустью; мне, может быть, прибавится обязанность, и тяжелая обязанность, без любви ужасно тяжелая. Пишите ко мне чаще, ради самого неба, недавно виденный сон подал мысль: ежели вы имеете особенное что-нибудь сказать, то пишите на имя Кира Ивановича, второй пакет вручить не замедля в собственные руки; ежели вы находите это удобным, то, это очень легко, и я верно буду получать ваши письма, ежели нет, то я потерплю, делайте, как вы находите лучшим, я всегда с вами согласна.

В 11 часов вечера.

Доброй вам ночи, ангел мой, спите спокойно. Сегодня я написала к Каролине по тому адресу, который она сообщает – в Могилев на Днестре. Мне от души жаль эту бедную женщину – и

все же я невольно думаю, что судьба ее в тысячу раз счастливее моей. Теперь она снова увидит своих родителей; она пишет еще, что приедет в Лубны, а я снова потеряю эту возможность ее увидеть. Наша с Каролиной судьба напоминает мне мысли г-жи Сталь касательно любви в браке: «*Именно в браке чувствительность сердца является необходимостью; во всех других человеческих отношениях можно удовольствоваться одной добродетелью; но в браке, где судьбы тесно переплетены друг с другом, где два сердца бьются, так сказать, единым порывом, глубокая привязанность есть условие почти обязательное*».

Кто после этого решится утверждать, будто счастье в супружестве возможно и без глубокой привязанности к своему избраннику? Одни только бесчувственные, холодные, глупые женщины, кои от рождения обречены никогда не узнать, как сладостно любить и быть любимой, могут в подобном положении не чувствовать себя безмерно несчастными. А если говорить обо мне, до коей косвенно касаются все эти споры, то вы хорошо знаете, что я отнюдь не принадлежу к их числу; вам известна моя душа – пылкая и любящая до самой крайней степени. Уж не знаю, к счастью или несчастью создал ее такою бог, должно быть, к вечному моему несчастью – и, однако, я не променяла бы ее на другую.

Страдания мои ужасны, но зато мне ведомы и божественные радости. Неоценимо счастье, которое испытала я, живя у вас. Я плавала в море блаженства; а между тем всякая другая спокойно пользовалась бы всем этим, не подозревая, что это, быть может, самое великое счастье на земле.

По крайней мере, я в своей восторженности рассматривала это так.

Прощайте, утешительница моя. Спите спокойно. Пусть приснится вам та, кто счастлива бывает, только когда видит вас во сне.

№ 29

12 августа, 1 час пополудни.

Кир И. сейчас был у меня; я так всегда рада его видеть и Катенъка также, мы вместе вспоминаем наше счастливое пребывание в земном раю.

Вот мое состояние: «*Одной бороться с судьбой, все ближе подвигаясь к могиле, и не иметь подле себя друга, который поддерживал бы вас, который бы вас пожалел, – это такое одиночество, что даже одиночество в Аравийской пустыне может*

дать о нем лишь слабое представление. И когда оказывается, что все сокровища вашей юности растрачены понапрасну… вам представляется, будто вас лишили даров божьих на земле» (Сталь).

Меня лишили самых драгоценных даров божьих, а я должна терпеть и не роптать.

В 4 часа.

День сегодня прекрасный, солнце чудесное – но это только усугубляет мои страдания – все мне вспоминается милый сердцу край. Воображение рисует мне вас, нежный друг мой, в прелестном голубом чепчике, я вижу, как вы гуляете по нашему чудесному саду, а может быть, рядом с вами еще кто-то? И я стараюсь угадать, о чем вы говорите. Не слишком ли это большая самонадеянность – думать, что обо мне?

В 6 часов.

Я только что проехалась в карете. Видела добрейшего Кира Ивановича, сидевшего у своего окна. Он тоже был несказанно рад, увидев меня. Стоило мне завидеть в окне форму их полка, как сердце мое забилось. Когда наконец узрею я того, кто красит ее собою – для меня и всех тех, кто способен оценить истинное достоинство? Пусть будет он счастлив, так счастлив, как я ему того желаю и как он того заслуживает! Мне кажется, что папенька так и не узнал о маленькой прогулке, которую он тайно совершил, чтобы проводить меня. Вы не можете себе представить, как отчетливо воспоминание о той ночи или, вернее, о том утре запечатлелось в моем мозгу, особенно то мгновение, когда карета подъехала к почте, где, я знала, он должен был ждать, а он минутку замешкался, и я испугалась, что его нет! Никогда не сумею описать вам то сладкое чувство, которое испытала я при виде его. Ни одно любовное свидание не может быть столь чарующим. Это мгновение счастья, я смотрела на него с чувством блаженства, я любила его, не испытывая угрызений совести, да и теперь никакие угрызения совести не отравляют моей привязанности к нему.

В 10 часов, после ужина.

Покойной вам ночи, дорогой друг мой. Хоть мне и нечего вам сказать, все же беру перо – по привычке, ибо никогда не ложусь, прежде чем не выполню своей обязанности пожелать вам приятного сна, по крайней мере мысленно, раз уж я так несчастна, что лишена этого в действительности.

Сегодня я плакала горькими слезами, вспоминая последнее

свое прощание с вами, мой ангел. Мне велели обмануть вас, а у меня не хватило на это ни сил, ни мужества. Душа моя хранит воспоминание о последних ваших объятиях. Скорей бы дождаться того часа, когда вновь наслажусь ими и смогу назвать себя вашей счастливою Анетой. А до тех пор жалейте меня и молитесь за меня. Приятного сна вам, ангел мой, друг мой, а также…

13-го в 11 часов утра.

Добрый день, нежный мой друг, как вы себя нынче утром чувствуете? Я только что закончила писать к тетушке Анете и думаю о том, какая разница между нею и вами, между добровольным дружеством и доверенностью вынужденной. На ее примере сразу видишь, как справедлива пословица, что для счастливого отсутствующий всегда не прав.

В 2 часа.

Легко давать советы, когда не способен сочувствовать чужому горю. Хорошо счастливым рассуждать, а несчастный должен молчать, да и не имел бы сил столько, чтобы возвысить голос.

Пока прощаюсь с вами, иду обедать, больше для порядка, нежели с голоду. Мне ничего не хочется, совсем пропал аппетит. Все эти последние дни я ем только постное и буду поститься да 15-го, может, господь сжалится надо мной.

Вечером, в половине 7-го.

Только что ездила кататься с дорогим супругом. Сначала лошади чуть было не опрокинули карету, чему в душе я очень обрадовалась, в надежде, что это может повлечь за собой благодетельный исход, но нет, мы не вывалились. Когда мы проезжали мимо церкви, супруг милостиво разрешил мне в нее войти. Там, в уголочке, я прочла свою обычную краткую молитву, после чего мы продолжали прогулку. Она отнюдь не была приятной, не был приятным и наш разговор, но все же это лучше, чем быть вынужденной появляться в обществе, где всякий втихомолку судит нас и осуждает. Желания у меня теперь, как видите, самые скромные – я хочу даже уже не счастливой, а спокойной жизни – жизни в безвестности и уединении. И более всего уповаю я на будущий май, когда должны осуществиться самые заветные мои желания. Мне нужно спросить вас еще об одном: как вы полагаете, не перестанет он меня любить? Это очень глупый вопрос, но он невольно смущает мою мысль, ибо, говоря по правде, я не представляю себе большего несчастья, чем потеря его привязанности. Если бы по приезде я вдруг нашла перемену даже в одном его обращении со мной, это было бы для

меня большим горем. Не то чтобы я хотела выказывать ему любовь свою (непозволительную с точки зрения этого противного долга), но мне хотелось бы навечно сохранить это сладостное право читать в его глазах, иногда дозволяя и ему читать в моих. Постарайтесь выведать у него, мой ангел, как он отнесется к этому обстоятельству. В том, что я вам предлагаю, нет ничего предосудительного, напротив, это согласуется с велениями самой строгой нравственности и деликатности, иначе, зная вас и ваше сердце, никогда бы не стала о том просить. Дело ведь только в том, что надобно понять, как он встретит меня в случае, если я возвращусь в Лубны. Обрадуется ли он этому известию? Вы это скажите нечаянно, чтоб видеть, какие действия произведут слова ваши. Вы знаете, как нетрудно читать в глазах его все движения прекрасной, благородной души. Не отказывайте в Этом утешении вашей Анете, напишите, что вы об этом думаете и что он вам ответит. Вы меня довольно знаете, праведный мой друг, чтобы быть уверенной, что я не способна на женскую слабость, и для меня не может быть выше блаженства, чем любовь невинная, без угрызений совести.

Завтра суббота. Для меня это день праздничный, потому что я наверное получу от вас письма, а может быть, и какие-нибудь известия через Кира Ивановича об Иммортеле. Я не могу придумать, почему вы то имя больше любите, нежели это? Неужели от неуверенности в продолжении, – горицвет – капля крови. Я вам, кажется, сказывала, отчего я нахожу Иммортель самое приличное имя: потому что однажды он сказал мне то слово, прощаясь со мной, и потом, уходя, повторил его очень выразительно, как выразительно все, что он говорит. А потом я все надеялась на милосердие божие, на то, что не всегда он будет для меня Шиповником, а быть может, когда-нибудь станет Тимьяном рядом с Царицею Лугов, вот потому я и решила, что нужно такое имя, которое прошло бы через все обстоятельства и могло бы подойти ему во всякое время.

Прощайте, мой ангел, покидаю вас: пришли гости, полковник; во вторник я буду крестить и, кажется, с Лаптевым. Какой приятный кум! Прощайте, мой ангел, прижимаю вас к сердцу, вся ваша мысленно.

№ 30

В 8 часов вечера.

Как бы мне хотелось получить ответ на свой вопрос!

Уж такая я нетерпеливая, это один из больших моих пороков.

В 10 часов вечера, после ужина.

Сейчас была у П. Керна, в его комнате. Не знаю для чего, но муж во что бы то ни стало хочет, чтобы я ходила туда, когда тот ложится спать. Чаще я от этого уклоняюсь, но иной раз он тащит меня туда чуть ли не силой. А этот молодой человек, как я вам о том уже сказывала, не отличается ни робостью, ни скромностью; вместо того чтобы почувствовать себя неловко, он ведет себя, как второй Нарцисс, и воображает, что нужно быть по меньшей мере из льда, чтобы не влюбиться в него, узрев в столь приятной позе. Муж заставил меня сесть подле его постели и стал с нами обоими шутить, все спрашивал меня, что, мол, не правда ли, какое у его племянника красивое лицо. Признаюсь вам, я просто теряюсь и придумать не тогу, что все это значит и как понять такое странное поведение. Помню, однажды я спросила племянника, неужели его дядюшка к нему ни капельки не ревнует, и тот мне ответил, что он не смеет ревновать, он, мол, виноват перед ним, сделав несчастье всего его семейства, что ежели бы даже у него и были причины ревновать, он не стал бы этого показывать. Признаюсь вам, что я боюсь слишком дурно говорить о муже, но некоторые свойства его отнюдь не делают ему чести. Ежели человек способен делать оскорбительные предположения насчет своего тестя и собственной жены, то он, конечно, способен позволить племяннику волочиться за ней, дабы возместить ему утрату матери. Я, конечно, могу поверить, что тот, кому из-за каких-то пустяков могут прийти подобные подозрения, и сам на такое способен. Вот каков человек, к которому вы так несправедливо, вернее, так жестокосердно меня отослали. Заикнись я только обо всем этом папеньке, который всегда так строг насчет чести, он бы позволил мне остаться. Но у меня, кажется, никогда недостало бы смелости заговорить с ним об этом.

Прощайте, мой нежный друг. И все же я рассчитываю, ежели доберусь только до вас, ни за что более с вами не разлучаться. Мне отвратительно жить с человеком столь низких, столь гнусных мыслей. Носить его имя – и то уже достаточное бремя. Прощайте еще раз. Молитесь за вашу Анету.

14 августа, в 10 часов утра.

Слава богу, милый друг мой, сейчас только получила ваше письмо! Благодарю небо за то, что вам стало лучше. Известие это возвращает меня к жизни.

Ваши прогулки и беседы с Полем безмерно меня радуют. Отдавайте ему всегда самую лучшую грушу в память о том

времени, счастливом времени, когда я отдавала ему самую лучшую ягодку земляники и чувствовала себя в тысячу раз счастливее, чем если бы съела ее сама.

Сейчас я пишу к вам и пью чай из чашки, которая сделалась мне дорога, потому что в последнее расставанье из нее пил обожаемый Поль. Я теперь никогда не пью чая из другой чашки и всегда ношу то ожерелье, что мы вместе нанизывали, сидя на балконе.

Как я рада, что вы едете к обедне, может случиться, что наши молитвы в одно время будут воссылаемы ко всевышнему и тогда авось будут услышаны.

Насчет А. А. скажу вам, что я очень рада, что от нее отделались; надобно ей отдать справедливость, никуда не годится; уверила меня, что вам заплатила за пояски, увезла мою хорошенькую лорнетку и оборочки, почти из глаз моих старые, все прочее я по записке приняла. Желтое шелковое платье выпросила у меня в день отъезда, а я не умела отказать и отдала. Она не имеет ни стыда, ни совести и точно то есть, что я об ней заключила. За Катенькой теперь ходит Катерина, и я ей очень довольна. Вы мне писали, что имеете прекрасные узоры, так для пелеринки я полагаюсь на ваш вкус, или попросите папеньку, чтоб он для меня выбрал, приятнее будет носить. Хороших и модных узоров я постараюсь для вас достать, мой ангел. Я с вами согласна, что почта вещь неоцененная, и молюсь о царстве небесном тому смертному, который первый это изобрел.

Как мне грустно, мой ангел, что мы не в состоянии теперь никак выкупить бриллианты, а как скоро будут деньги, то я упрошу мужа, чтоб он послал и после непременно их продал. На что они мне? Я намерена и фермуар продать.

Сказать ли вам, мой ангел? Маменька меня огорчила сегодняшним письмом, она никогда так не начинала (друзья мои Ермолай Федорович и Анна Петровна), но прежде – друг мой Анетушка. Скажите ей, чтоб она ко мне так не писала, я даже папенькиным была довольна. Попросите мою родную маменьку, чтоб она меня (Анной Петровной) не огорчала, а называла бы всегда Анетушкой. Она, верно, это сделала от рассеянности, а для несчастной и такая малость много значит.

Папенькиным и вашим письмам более всех довольна. Лизе не верю о грусти ее, что меня нету, я ее очень узнала и знаю, что, может быть, она даже рада моему отъезду. Очень жаль, что она так фальшива и может говорить против своих чувств; это, однако ж, послужит к ее счастью, в нынешнем свете всего более надобно скрывать истинные чувства и показывать ложные – чего я совсем не умею сделать. Оставляю перо, чтобы купать Катенъку,

обнимаю вас, мой ангел, Христос с вами. Это последнее слово, какое я сказала Полю. Дай бог вам здоровья, что расчетливость не заставляет все реже писать, а меня никогда не заставит прекратить мой журнал, разве сил недостанет.

№ 31

14 августа, утром, в половине 12-го.

Как обрадовало и утешило меня сегодняшнее письмо ваше, мой ангел, бог услышал хотя одну маю молитву, подкрепил вас, слава богу, что вы уже выезжать можете. Это мне подает надежду на совершенное ваше выздоровление. Вы мне ничего не пишете насчет вашей мамзели, а папенька, кажется, ею недоволен. Что бы это значило? Ежели она не будет полезна, то не очень приятно платить такую ужасную цену при тесных обстоятельствах и таком расстроенном состоянии.

Вечером, в половине девятого.

Поль мне пишет, что получил хорошенький перочинный ножик и цепочку. Как он добр, что доставляет удовольствие моему любимому братику. Поблагодарите его за это тысячу раз – не забудьте.

Сейчас взглянула на свою штору и вспомнила, что вы еще не знаете ее сюжету. Он состоит в огромной башне на берегу большой реки или озера, осеняемой с правой стороны большим деревом, а влево видна большая дорога, вероятно, ведущая в Лубны, по крайней мере, мое воображение так представляет. По эту сторону, т. е. на противоположном берегу, стоят два егеря, один с ружьем, а другой с трубой, они не в егерских мундирах, но в охотничьих платьях.

Сегодня у меня обедала гостья, молодая вдова, г-жа Фигнер, и после обеда мы вместе с ней катались; она мне признавалась насчет тяжелого характеру ее невестки, бывшей Муравьевой; она только что месяц как к ним приехала, и не знают, дождутся ли ее отъезда, так наскучила. Не довольно иметь блестящее воспитание и хорошую наружность, чтобы нравиться и быть любимой! Хороший нрав и доброе сердце более всего привлекают к себе.

Я сегодня целое после обеда проплакала, это почти, всякий день со мной случается, не исключая тех праздничных для меня дней, когда я имею счастье получить от вас грамотку. Так тяжело видеть себя одну, как в пустыне, не имев, к кому голову приклонить. Я никак не считаю себя счастливее несчастных, невинно заключенных в темницу; они имеют отраду в надежде

быть когда-нибудь освобождены, а я… может быть, осуждена вечно страдать! Скажите мне хотя один раз о роде ваших разговоров на счет мой, предложите ему быть моим Йориком, я с радостью буду его Элизой – хотя по чувствам, если не по достоинству. Вы мне ничего не отвечаете? Какие вы жестокие! Виновата, мой ангел, я брежу, извините беспорядок моих мыслей, я не приготовленное вам пишу, а все вдруг, что приходит в голову, да иначе бы недостало сил столько бумаги марать.

Иногда я воображаю с удовольствием, когда придут счастливые времена, т. е. я буду с вами вместе, непременно будем читать этот нескладный, но справедливый и пространный журнал. Хорошо, если тогда он заставит нас посмеяться.

Напишите мне, пожалуйста, что делают цветы, которые мы с Пашей садили возле балкона; они, верно, не принялись и теперь, может быть, совеем завяли, да я и не знаю ведь, какого они роду, верно резеда. Я уверена, что настоящий хозяин имеет о них попечение, и если они живы, не позволит завянуть резеде.

Как ненавистны мне люди ограниченного ума и при этом еще самонадеянные, а ведь это счастливейшие люди на свете, потому что они воображают, будто стоят гораздо больше, нежели стоят на самом деле. Мой драгоценный супруг, например, вбил себе в голову, будто все заняты его особой и будто он невесть какое важное лицо для России и для армии. Вот теперь он совершенно уверен, что Ротт будет ходатайствовать перед императором, чтобы ему дали 15-ю дивизию, и он уже заранее ломает себе голову, как он будет выходить из затруднений, кои ото за собой повлечет. А я голову готова дать на отсечение, что этого никогда не случится, но если бы случилось, несчастнее меня не было бы на свете, несмотря на то что я имела бы тогда счастье вас видеть и быть подле вас. Но мне пришлось бы тогда страдать не только за себя, но и за всех вас от неприятностей, кои он без конца стал бы учинять; не говоря о том, что при муже у меня совсем другое расположение духа, ибо приходится всякое слово взвешивать, на каждом шагу остерегаться; да и как можно быть веселой и любезной, когда каждую минуту видишь перед собой виновника всех своих несчастий? Для всех, кто знал меня прежде, перемена была бы столь разительна, что это причинило бы вред моей репутации, и, вероятно, я стала бы предметом язвительных насмешек Ротта и Юшкова; уж они бы тогда меня не пощадили, а это огорчило бы и вас, и моих родителей не меньше, чем меня. Но этого не будет, это вернее верного. Ротт не станет обращаться с этим к императору, а его величество (между нами говоря), пока нет войны, не будет торопиться исполнить обещание, данное знаменитому г-ну Керну. Посылаю вам, мой ангел, ту песенку,

которую я вам часто пела; слова очень хорошенькие, и вам, верно, будет приятно ее иметь.

10 часов, после ужина.

Сейчас был у меня спор с уважаемым племянничком, и я решила с сегодняшнего дня больше ничего никогда ему не говорить, кроме «здравствуйте» и «прощайте», потому что заговори я с ним хоть о погоде, он все равно станет мне возражать, а я устала спорить с дураком: ему охота шутить, а он даже понятия не имеет, что такое приличная шутка. Нынче вечером, за столом, он говорил такой вздор, что будь при этом кто-нибудь здравомыслящий, он бы только руками развел при виде разумного человека в одной компании с этими дураками.

Нечего сказать, тяжелая жизнь моя со всех сторон. Хотя бы от одного избавиться, а то двоих уж слишком много для слабого моего здоровья.

Не могу равнодушно видеть дурака, который мечтает о себе, что он 8-е чудо света, и кричит поминутно обо всем свое мнение, наотрез говорит и считает всех глупее себя.

Что может быть путного от молодого человека 18-ти лет; не имея ни скромности, ни ума, ни познаний, ни учтивости, ни любезности, нимало не сумневается во всех этих достоинствах до крайней степени.

№ 32

11 августа, вечером, в половине 11-го, после ужина.

Спокойной ночи, мой ангел. Начинаю этот номер только для того, чтобы пожелать вам приятного сна и всех тех благ жизни, которых недостает вашей Анете, а именно здоровья, счастия и спокойствия. Пусть всегда будут они уделом моего дорогого и единственного друга, а мне пусть останется хоть утешение, что я могу быть покойна за него. Прощайте, мой ангел, до свидания.

Я завтра буду у обедни в соборе. Приезжайте тоже туда. Завтра большой праздник, авось и для меня будет праздник, то есть если я что-нибудь узнаю при посредстве Кира И. Прощайте, мое блаженство. Спокойной ночи, счастливых сновидений. До свидания.

15-го, в половине 5-го.

Я сегодня была у праздника, у обедни, видела там Кира

И., который мне сообщил, что вчерашняя почта была для него так же счастлива, как и для меня. Жду его теперь с величайшим

нетерпением: хоть я и знаю уже, что отдельно для меня там ничего нет, но уверена, что есть что-нибудь обо мне, а это все-таки какое-то утешение. Боже мой, как мало мне иной раз нужно, чтобы почувствовать радость.

Я сегодня слышала довольно хорошую проповедь, где он говорил, что смерть есть лучший советник в благополучии и самый сладкий утешитель в несчастии. Это справедливо, хотя я о последнем только могу судить.

Представьте себе, что мой любезный супруг непременно желает, чтобы я поехала на бал к Магденке, хотя я и сама почти что больна, и дочка еще очень слаба, и ее нельзя везти с собой; так он предлагает оставить ее дома, на попечении двух служанок. Не правда ли, прекрасный план? Уже по одному этому можно судить, что даже дочку свою он не любит, потому что готов рисковать ее жизнью только затем, чтобы не стали говорить, будто он не хочет меня пускать на этот бал.

Я сделаю все возможное, чтобы остаться, но не знаю, что мне делать, если он воспользуется своей властью и велит мне ехать. Зачем вас нету здесь со мною, вы дали бы мне совет. Я не знаю, куда голову приклонить. А теперь советы ваши придут уже слишком поздно. Почему ему не поехать одному? Не так глуп Магденко, чтобы обижаться на то, что ради его бала я не бросаю больного ребенка.

Сегодня я обедала одна, вернее, хуже, чем одна, – с этим идиотом племянником и нашим адъютантом, о котором, если вы хотите его знать, может порассказать вам г-жа (*неразб.*).

Теперь жду Кира И., которого, ежели хотите, будем называть Желтой Настурцией.

Действительно, праздник я провела довольно приятно. Впрочем, все дни проходят у меня приятно и однообразно – один похож на другой.

После вчерашнего, когда дорогому племяннику вздумалось наговорить мне столько глупостей, а его дядюшка на это и слова не сказал, будто его тут и не было, я совершенно откровенно на него дуюсь и с ним не разговариваю. Можно иметь дело с темп, кто понимает приличия, а раз мой дорогой супруг может равнодушно слушать, как мне говорят глупости, мне самой надобно защищаться. После того как ему не удалось уверить меня, что он в меня влюблен, он перечит мне на каждом слове, да так дерзко и неучтиво, что этого невозможно вынести. Я уверена, что ни к какому другому племяннику муж не стал бы проявлять столько снисходительности, но этот делает из него (и желал бы делать и из меня) все, что ему вздумается. Дом наш превратился в какой-то кабак: свечи никогда не гасятся, ни ночью, ни днем,

чтобы было от чего прикуривать трубки; словом, я здесь будто гостья, а он, если судить по его заносчивому тону, тут всему хозяин. Всего несколько дней, как он перестал давать советы, потому что видел, что я им не следую.

Я уже потеряла терпение, ожидая Желтую Настурцию, и если он не придет до того, как вернется… я не смогу узнать о письме, которое он получил, и стану мучиться этой неизвестностью: ведь после ваших писем это большая моя отрада. И как он ни скромен и как ни владеет собой, я понимаю всякое его слово и весь интерес, который он ко мне проявляет. О, если другой удастся понравиться ему, тогда для меня все кончено: я па всю жизнь отказываюсь от любви.

Половина девятого.

Он приходил и передал мне его. Я поехала в карете, нарочно, чтобы свободно его прочитать. За мной следят, так что я шагу не могу ступить, чтобы не вызвать самых оскорбительных подозрений! Право, нет больше моего терпения. Вот уже несколько дней, как он обращается со мной грубо, словно с горничной: курит себе трубку с утра до вечера, обнимается со своим племянничком, а со мной разговаривает с высоты своего величия.

Я отказываюсь от всех благ на свете, дайте мне уединенный угол только, чтоб я об нем не слышала и не видала! Своим поведением он доведет меня до крайности. Можете сказать об этом даже папеньке, я согласна. Я так несчастна, не могу больше выдержать. После того как– в мои годы я от всего отказалась ради своей репутации (уж конечно, не ради него), обращаться со мною подобным образом, – я этого не заслуживаю. Господь, видно, не благословил нашего союза, и, конечно, не пожелает моей гибели, а ведь при такой жизни, как моя, я непременно погибну. Как это можно – не дать ни одной счастливой минутки, доставлять одни только огорчения той, которая ради его спокойствия (во всяком случае, он-то должен так думать) сидит запершись в четырех стенах. И о таком человеке говорят: «Это очень порядочный человек, очень хороший человек!» Так уж ведется на свете! Достойный остается в тени, невежда торжествует. Кто придет мне на помощь, мне, всеми покинутой? Дитя мое не может меня утешить, и я в отчаянии, что оно постоянно видит меня с глазами полными слез.

Вот по какой причине он так настаивал, чтобы я ехала к Магденке: он вообразил, будто мне весьма удобно будет остаться одной, когда он уедет. К кому же теперь он ревнует меня? Кому оказывает эту честь? Ведь я ни одной живой души не вижу. Не

иначе как к Желтой Настурции, – о, несчастный! В этом он может быть спокоен. Я слишком самолюбива и чувствительна, чтобы могла когда-нибудь полюбить своего почтенного супруга, но я слишком уважаю себя, чтобы унизиться до интрижки.

№ 33

В половине 10-го, 15-го числа.

На этот раз вы, верно, испугаетесь величины пакета, семь полных нумеров; но не утешительных. Что же делать, мой бесценный ангел; я этому не виновата вовсе. Я была бы очень счастлива иметь что-нибудь хорошенькое вам сказать, но увы! Надобно было бы лгать, а я не умею.

У меня к вам еще одна просьба. Утешьте моего любезного друга: он очень расстроен, пишет, что не получил еще от Желтой Настурции ни одного письма, а посылает ему уже третье. Пишет об ярмарке, о красавицах, но прибавляет: милых нет. У него новая печатка: слова «дружба» и «любовь», а между ними две руки. Он умоляет, не называя моего имени, сообщить ему известия обо мне. Как мне жаль его! Ради бога, успокойте его, дайте ему прочитать несколько отрывков из моих писем, это доставит ему удовольствие. Он почти болен, – исцелите его, мой ангел. Это будет милосердным делом во имя человечества. Возвратите, если это возможно, спокойствие прекрасной этой душе. В этом не будет ничего предосудительного, и это будет благодеяние, достойное вашего сердца.

Я только что взглянула на себя в зеркало и – поверите ли – почти испугалась, так скверно я выгляжу. Какая разница с тем, какой я была у вас! Мой румянец, моя свежесть, здоровый, счастливый вид – все исчезло. Посинелые щеки, круги под глазами, постоянно полными слез, слишком ясно свидетельствуют о состоянии души моей, Горячая молитва да вы, коей я поверяю свои страдания, – вот единственное утешение, оставшееся мне на сей земле. И еще бываю счастлива, когда меня оставляют в покое в моем углу.

Забыла вам сказать, попросите папеньку, бога ради, чтобы он не заботился с обещанной нам каретой, можно ли с его расстроенным состоянием дарить такую дорогую вещь. Он же одну мне подарил, я, право, довольна. Продажею такой кареты он может заплатить кой-какие долги, и это мне тысячу раз будет приятнее новой модной кареты. Ежели бы этим подарком он мог сделать меня счастливою, то я бы от него не отказалась. Но вы знаете, мой ангел, может ли какая-нибудь карета меня утешить.

Ежели бы и в самом деле такая вещь могла принесть мне удовольствие, я бы с радостью им пожертвовала спокойствию моих родителей, которое не может быть устроено с такою кучею долгов.

11 часов, после ужина.

Нужно признаться, чудесный образ жизни я веду! В доме я словно пятое колесо у колесницы: меня уже не ждут с обедом, без меня садятся за стол; и хоть бы, по крайней мере, извинились, так нет, такие учтивости не про нас писаны. В самом деле, странная вещь получается. Втерся в дом, живет в нем хозяином, на всем готовом, и не только не стесняется и не считается с хозяйкой дома, но не оказывает ей даже простого уважения, словно ее и не существует. Только Керн способен па такую наглость! Просто в себя не могу прийти.

Прощайте, мой добрый ангел, спите спокойно, пусть никакие заботы не потревожат вас, мой добрый, мой ласковый друг. Впрочем, ящик Пандоры уже раскрылся над моей головой, так что все напасти, все горести и печали сыплются на меня, и я уже не боюсь, что они посмеют долететь до вас. Прощайте. Пусть божье благословение снизойдет на вас и отгонит от вас все, что сколько-нибудь напоминает мои страдания. Обнимите за меня добрую и нежную мою маменьку и передайте Иммортелю, что я желаю ему счастия.

16-го, в 10 часов утра

Здравствуйте, мой ангел! Поздравьте меня: сегодняшней ночью счастливее меня не было во всей вселенной. Какой дивный сон! Все силы небесные, соединясь, чтобы меня осчастливить, не могли бы так успеть. Ах, мой ангел, разделите мое восхищение. Какой божественный сон! Но вы еще ничего не знаете, а слушаете только бестолковые восклицания мои. Так знайте же, всю эту ночь мне снился он, то есть мой Иммортель! Я видела его нежным, заботливым, он всюду следовал за мной, словно тень моя! Я плавала в море блаженства и удела своего не променяла бы ни на какое царство. Никогда еще я не видела сна, который бы столь похож был на явь. Обычно все сновидения мелькают, словно тени, сегодня же напротив: я явственно слышала его голос, я держала руку его в своей. О, сладостный мираж! Одного этого было бы достаточно, чтобы разум мой помутился, но нет, я все ясно понимала (и это тоже был сон). Видела я, будто просыпаюсь на своей постели, а подле постели стоит он, скрестив на груди руки, и смотрит на меня; лицо его огненными чертами запечатлелось в душе моей: он бледен и худ, он долго говорил со мной, взял мою

руку, крепко прижал, поцеловал и скрылся тихими шагами; тогда я совершенно проснулась и благодарила творца моего за такой сон. Чувствуете ли вы мой восторг? Ах, мой ангел, в жизни моей не видала такого явственного сна! Ежели б это была истина! Но я не достойна такого благополучия. Это мечта, посланная небом для утешения в моих горестях. Я думаю, если бы он об этом узнал, ему было бы приятно. О, боже мой, как я его люблю! Простите меня, мой ангел, я пишу глупости; но если бы вы только знали, как много во мне жасмина. Только сегодня я почувствовала, как его люблю. Еще раз простите меня, мой нежный друг, пожалейте меня. Прощайте, моя родная, Христос с вами, поцелуйте за меня папеньку, скажите ему, что я очень его люблю. Пора оставить перо, этого вам, верно, будет на месяц читать. Еще раз прошу вас попросить папеньку, чтоб он не беспокоился дарить мне карету, это ни на что не похоже с его расстроенным состоянием, да скажите моей доброй маменьке, чтоб она не огорчала меня Анной Петровной. Я уж и без того достаточно несчастна. Прощайте, мой ангел. Целую вас 156589655676 раз, а люблю в тысячу раз больше, нежели это можно выразить на всех языках мира.

Прощайте. Посылаю вам романс. Быть может, вам он понравится. Завтра крестины и бал. Лаптев будет крестить со мною. Прощайте еще раз. Я уже не прошу вас, чтобы вы всегда любили меня, прошу лишь быть ко мне снисходительной.

Сделайте милость, вышейте мне крестнику шапочку, нетрудную, хорошенькую; пожалуйста, мой ангел, полегче узор.

№ 34

Псков. 1820. 16 августа, в половине 6-го.

Сейчас была у меня гостья пренесносная, сидела очень долго и рассказывала прескучную историю, в которую она несчастливо замешана с католическим ксендзом, насчет неблагочиния, сделанного в церкви; натурально, что она себя оправдывала; не меньше того меня удивило, что она нимало не кажется этим огорчена и шутит, что ее имя будет известно государю.

Я ее проводила и хочу рассеять мысли, немного прокатиться, голова болит; сегодня рассталась с журналом, который теперь на дороге к вам, и я как будто опять осталась сиротою, до субботы и до будущего понедельника, потому что минута отправки оного мне почти столько же приносит удовольствия, сколько получение ваших строк; я воображаю удовольствие, которое он вам принесет, и это меня утешает.

Сегодня мне пришлось довольно изрядно поспорить с моим почтенным супругом по поводу его высокочтимого племянника. Так как у них один и тот же характер, дядюшка просто души не чает в этом прелестном дитяти, и, по его мнению, во всем виновата я. Но тут я сказала ему, что не желаю быть пустым местом в его доме, что ежели он позволяет своему племяннику ни во что меня не ставить, так я не желаю тут долее оставаться и найду себе убежище у своих родителей. Он мне ответил, что его этим не испугаешь и что, ежели мне угодно, я могу уезжать, куда хочу. Но мои слова все же подействовали, и он сделался очень смирен и ласков. Тем не менее я решила, что останусь у своего отца в первый же раз, как к нему поеду. Постараюсь сделать это так, чтобы папенька не догадался, не хочу его огорчать, но ежели он спросит, я ничего не стану от него скрывать, и тогда, надеюсь, все будет кончено. Что мне щадить его после того, как все вокруг ему милее, чем я, даже кучер и его противная жена? Никому не убедить меня, что он меня любит, никому на свете. Я знаю, как ведут себя, когда любят.

10 часов вечера, после ужина.

Мой драгоценный супруг еще раз говорил со мной о своем племяннике. А я перво-наперво доказала ему, что виновата не я, а он, потом сказала, что, уж конечно, не я сделаю первый шаг. Тот ко мне не подходит, не желает мне ни доброго утра, ни спокойной ночи, так что, полагаю, это я должна быть на него в обиде, и клянусь, что и шага не сделаю к примирению. Вы довольно меня знаете, чтобы судить, люблю ли я ссориться и злое ли у меня сердце. Могу сказать, не хвалясь, что нет человека, с коим я не могла бы ужиться. Ежели кто характером со мной не схож, по мне лучше относиться друг к другу с полным, равнодушием. Вот и тут так же. Так ведь нет, этому господину хотелось во что бы то ни стало сделаться моим другом, чтобы во всем меня наставлять, а в дружестве приказывать нельзя. Душа у меня нежная, но я разборчива даже в выборе друзей, а из опыта я знаю, как опасно дарить свое доверие каждому. Человеку бездушному я никогда не доверюсь. Вот потому-то этот господин, разозленный моею холодностью, и решил все говорить мне наперекор и на каждом шагу чинить мне тысячу неприятностей.

Но довольно о сем неприятном предмете, поговорим о другом. Сон мой не выходит у меня из головы, воспоминание производит содрогание, и слезы навертываются на глазах. Прелестная мечта, что ежели сновидение произвело такое влияние на чувства мои, что бы сделала сущность? О, я думаю, я не пережила б такого блаженства.

Зачем нет у меня такого дара слова, чтобы я могла передать вам все, что я испытываю? Мой язык слишком беден, перо мое отказывается это выразить. И я замечаю, что двадцать раз принимаюсь писать одно и то же, все боюсь, что вы недостаточно поймете. Зачем я не с вами? Я перелила бы в ваше сердце все чувства, что волнуют мое.

Покойной ночи, мой ангел. Желаю вам, чтобы сны ваши доставляли вам половину того наслаждения, какое сегодняшний мой сон принес мне. Конечно, нынешнюю ночь я уже не испытаю такого счастья, как в прошедшую.

Ежели это случится, то боюсь… Да хранит Бог вас и меня тоже.

Августа 17-го, утром, в половине девятого.

Добрый день, вот вам новость: мой драгоценный супруг назначен дивизионным командиром 2-й дивизии. Бог знает, где эта дивизия, как узнаю, сообщу вам. Я не очень этому радуюсь, потому что для меня всюду будет одно и то же. Что меня огорчает, так это то, что уж тогда мне нельзя будет читать прекрасные письма Иммортеля к Желтой Настурции. А вы так мало сообщаете мне о моем Иммортеле. Хоть он очень сдержан и никогда не называет моего имени, но я знаю, кто у него в мыслях, и это уже утешение. Я и сегодня видела его во сне и… но это был только сон в сравнении с тем; тот был совсем похож на явь. Это незабвенный сон!

№ 35

17 августа, в 9 часов утра.

Приказ этот дан его величеством в Воронеже. Сейчас мне сказали, что дивизия эта стоит под Могилевом; это совсем неподалеку от вас, но, не знаю почему, это меня не радует. Я стараюсь понять, почему же. Я бы радовалась, если бы беременность не делала мне жизнь невыносимой. Ведь если бы не это, я тотчас же приехала к вам; теперь же, если я приеду, для вас это будет не удовольствием, а мучением.

Может быть, я окажусь совсем близко от доброй Дарьи Петровны[24], и это уже будет мне утешением. Напишите, какое впечатление произведет на вас эта новость. Покидаю вас, чтобы немного приготовить к вечеру свой туалет, потому что как раз сегодня я буду крестить, а после будет танцевальный вечер. На мне будет синее платье такой волнистой материи, называется муаровая, отделка простая из такого же атласа; на голове ничего,

а на шее цепочка и часы. С тех пор как у меня на кресте висит драгоценный талисман, я выдумала, когда для бала мне должно бы скинуть с шеи шнурок, то чтоб с ним ни на минуту не расставаться, я просто его кладу за платье, а возвращаясь, опять надеваю.

Я сейчас перечитала последнее письмо Иммортеля к Желтой Настурции. Как я жалею его, что нет у него никакого утешения. Он пишет: я сердит без сердца. А это сердце принадлежит мне! Как я счастлива! И как достойна жалости. Но вот доказательство, что принципы у меня хорошие: я чувствую, что истинно счастливой была бы, только если бы могла любить его законно, иначе даже счастье быть с ним было бы для меня счастьем лишь наполовину.

В половине двенадцатого.

Все являлись поздравлять моего дорогого супруга, и он сейчас мне сказал, что в дивизию мы поедем к 1 сентября, а оттуда он отправится в Петербург. А я, если вы мне позволите, приеду к вам.

За богом молитва не пропадет, а за царем – служба. Я думала, что со мной ничего уже счастливого случиться не может, и потому сначала эта весть не принесла мне ни малейшего удовольствия; а теперь, обдумавши, вижу, что в сентябре я смогу вас обнять, и эта мысль приводит меня в трепет от восхищения: рука дрожит, насилу пишу; скажу теперь, как Сен-Пре[25]: «Боже, ты дал мне силы перенести величайшие горести, дай теперь столько, чтобы вынести величайшее блаженство!» Итак, я вас увижу опять, вот толкование чудесного сна. Как бог милостив до меня, грешной, он услышал мои стенания, внял жарчайшим пламенным молитвам моим и, конечно, продлит дни мои до счастливой минуты нашего соединения.

Оставляю перо, слишком расстроена, не могу писать, поеду немножко прокатиться. Сердце бьется сильно, очень сильно. Боже всемогущий, благодарю тебя, стократ благодарю.

В час пополудни.

Сейчас ездила кататься, думала зайти в церковь и там благодарить бога, но все заперты, и я возвратилась. Была у меня Желтая Настурция. Он хороший человек, и мне его жалко: он так несчастлив. Я всегда буду помнить об его услугах. К нему дурно относится Лаптев, а мой драгоценный супруг не умеет быть благодарным; и потом – разве к лицу генералу испытывать благодарность к своему подчиненному, бедному офицеру. Мне так жаль этого бедняжку. Сегодня он мне признавался, что ему

почти жить нечем. Душевно бы желала ему помочь, да не знаю как. Если бы мой драгоценный супруг больше бы считался с моим мнением, я просила бы у него взять его с собой адъютантом, но он, конечно, никогда этого не сделает.

Я думаю, он скорей не расстанется со своим, хоть это и гудица, но зато приятель его возлюбленного племянника.

В три часа пополудни.

Квартировать мы будем в Старом Быхове. Кажется, это в настоящее время местопребывание тетушки Дарьи Петровны, и, может быть, приехав туда, я увижу ее вновь здоровой и уже готовой ехать в Лубны. Очень буду рада ехать вместе с нею и доставить вам двойное удовольствие.

18-го, в 11 часов утра.

Вчера были крестины. Потом были танцы. К вечеру пришло письмо от Магденки, в котором он настоятельно просит меня приехать к нему на бал. Уже решено было, что я не поеду. Губернаторша страшно удивилась, когда я ей сказала, что не я это решаю. Она сказала, что брачный союз должен зиждиться на дружбе, а не на подчинении. Я это тоже превосходно знаю, только, к несчастью, у меня все обстоит иначе. После ужина она говорила об этом с моим драгоценным супругом, который почел нужным выказать весь свой прелестный характер, сказавши, что будет так, как хочет он. В карете он принялся орать как зарезанный, что, мол, никто на свете не убедит его, что я остаюсь ради ребенка; он-де знает настоящую причину, и ежели я не поеду, то он тоже останется. Я не хотела унижаться и не оправдывалась. Ежели после всего, что я сделала, он так дурно обо мне думает и со мной обращается, как с крепостной, мне невозможно далее оставаться с ним, не желаю я, чтобы обо мне говорили, будто я бросила больного ребенка и помчалась на бал. Достаточно и без того он позорит меня своей очаровательной манерой себя вести, я гораздо меньше буду рисковать своей репутацией, ежели стану жить отдельно. В самом деле, с тех пор как здесь этот племянник, я просто мученица. И еще он сказал мне вчера в карете, что если я хочу, то могу уезжать, ему это совершенно безразлично.

Во имя самого неба, прошу вас теперь, поговорите с папенькой; я в точности выполняла все папенькины советы насчет его ревности, но скажите ему, пусть не думает, будто его можно переубедить. Только Ершов, или Петр Мартынович, или его любезный племянничек еще могут похвалиться, что он их слушает благосклонно, да еще Аннушка – только они еще могут

притязать на близкие с ним отношения. Ежели родной отец не заступится за меня, у кого же искать мне тогда защиты? Рада бога, вступитесь за меня перед ним. Строки эти я обливаю слезами. Доколе буду я их лить? Уже полдень, а я все еще его не видела.

№ 36

18-го числа, в полдень.

Сейчас принесли мне холстинку и шерсть, которую я выписывала из Дерпта для вас, жаль мне очень, мой ангел, что холстинка не такого цвету, как вы желали, но она очень тонка и хороша, другого цвета не нашли; я постараюсь еще выписать и ту сама привезу, шерсть тоже посылаю, но она не очень хороша. Посылаю Лизе на именины модный платочек, который прошу вас ей вручить от меня, желаю душевно, чтобы понравился.

У меня большое желание самой написать папеньке и просить его защитить меня, только не знаю, одобрите ли вы это. Впрочем, можете показать ему в моем дневнике те места, какие сочтете подходящими. Поверьте мне, не могу я дольше терпеть. Простой солдат и то более уважительно относился бы к своей жене. Он должен был бы иметь ко мне жалость хотя бы из-за моей несчастной беременности, но ведь это бездушное существо, у него каменное сердце.

Сейчас они там обедают, а я осталась с вами, чтобы излить вам свои горести. Нет, мне решительно невозможно переносить далее подобную жизнь, жребий брошен. Да и в таком жалком состоянии, всю жизнь утопая в слезах, я и своему ребенку никакой пользы принести не могу. Я все выносила, пока мне приходилось терпеть только от него, но теперь это уже чересчур. Я прекрасно вижу, откуда все это идет. Вы представьте себе, он посмел сказать моей горничной, что будь у него такая жена, он бы бил ее палкой и сослал в монастырь. И еще он ей сказал, что я-то, конечно, отправлюсь к своим родителям, но Катенька останется. Понимаете всю эту дерзость и наглость? Он ведь знает, что эти слова будут мне переданы. И я вынуждена это выносить, и все это будет дозволяться ему и впредь.

Теперь умоляю вас, расскажите обо всем папеньке и умолите его сжалиться надо мной во имя неба, во имя всего, что ему дорого. Маменьке об этом говорить не нужно; и так она слишком рано про то узнает.

Ради бога, не очень огорчайтесь, мой ангел; если это повредит вашему драгоценному здоровью, я буду самым

несчастным человеком на свете.

В 6 часов вечера.

Не стану ждать до понедельника, а пошлю вам этот дневник послезавтра, то есть в пятницу. Представьте себе ужасное мое положение: все это время я пролежала, даже пошевелиться не могла от слабости и расстройства, не обедала, все только плакала, а он со мной даже словечка не сказал, никакого не выразил беспокойства, и ведь нет у вето иной причины сердиться, кроме той, что мне тошно ехать на этот бал. Можете вы вообразить себе мои страдания, мой ангел? Вы ведь знаете мое сердце, оно не выносит одиночества, а этакое положение еще в тысячу раз тяжелее, клянусь вам.

Вчера губернаторша рассказывала мне об одной из своих сестер, как та была помолвлена, но она за нее жениху отказала. Она так сказала: «Когда я увидела, что она сделалась с ним очень холодна и что он до чрезвычайности ревнив, я, не говоря ни слова ни отцу, ни мужу своему, ни ей самой, взяла да и отказала ему, потому что поняла, что она с ним счастливой быть не сможет». А я про себя подумала: «Зачем не было у меня такой вот доброй сестры, которая предотвратила бы вечное мое несчастье?» Много было людей, которым угодно было устроить этот брак, но не нашлось ни одной души, которая не допустила бы его, а именно это должно было сделать, видя мое к нему отвращение.

Но довольно об этом. Мне совершенно ясно, что далее так продолжаться не может, не то вам скоро придется услышать что-нибудь ужасное. А этот племянник – боже мой, я голоса его не могу слышать без содрогания. О, если бы папенька мог сейчас видеть, как я страдаю, он пришел бы мне на помощь, я в этом уверена. Его сердце облилось бы кровью, видя мои страдания. Федор И. – пустяки в сравнении с ним. Когда человек холоден, потому что таков его характер, это еще можно перенести, но когда холодность происходит от злобы, от презрения к тебе и сопровождается самыми оскорбительными подозрениями! Это убийственно! Его поведение сделало его для меня «толь отвратительным, что я рада была бы бежать, куда угодно, только бы ничего не слышать о нем, он мне стал невыносим. Вот сейчас он приходил, целый час плевался у меня в комнате и ушел, не сказав ни единого слова.

Нет, не могу я больше его выносить. Этот человек посмел мне нынче сказать, будто я назначаю свидания в церквях, а он, мол, так деликатен и великодушен, что никому не позволяет худо обо мне говорить. Люди, которые знают его характер, нарочно, чтобы его позлить, говорят ему обо мне гадости, а он их слушает. Ради

бога, ежели хотите увидеть меня еще живой, скорей пришлите мне позволение приехать к вам!

Они там сейчас ужинают, а я вот уже целый день как ничего не ела. Но я не голодна – слезами насытилась. Представьте себе, этот дорогой племянничек говорит, что-де дядюшка его до женитьбы был прекрасным человеком и что мне следовало бы о нем заботиться, ведь он-то все время заботится обо мне. Я спросила, что же он такое для меня делает, так племянник со свойственной ему глупостью ответил, что он-де покупает мне всякие вещи, а я их всем раздариваю. На это я ему сказала, что он сам не знает, о чем говорит, что не в этом состоит забота, и просила его не говорить больше о том, чего он не понимает. Слыханное ли дело – мужу подсчитывать, какие вещи он купил жене! Эти люди никакого понятия не имеют о благородных поступках, о деликатности. Этот племянник лишь приблизил час нашего разрыва, давно уже неизбежного. В самом деле, невозможно это долее терпеть.

19-го утром.

Здравствуйте, мой нежный друг, мой ангел-хранитель. Как вам спалось? В добром ли вы здравии? Вчера к вечеру я совсем расхворалась, но, благодарение богу, теперь мне полегчало. Это было оттого, что я целый день ничего не ела.

На днях мы посылаем адъютанта в мою деревню за деньгами на дорогу. Прощайте, мой ангел, я устала, очень устала. Прощайте.

№ 37

Августа 19-го, в 10 часов утра.

Я, право же, не знаю, что делать. Меня во что бы то ни стало хотят заставить ехать на этот бал, и мне не с кем посоветоваться. Между тем собственный разум говорит мне, что ежели я стану безропотно переносить подобные подозрения, тем самым я докажу, что я их заслуживаю.

Это предел жестокости, со мной обращаются самым возмутительным образом и после этого хотят, чтобы я веселилась и появлялась на людях. Это неслыханно!

Я собираюсь ему заявить, что на этот раз исполню его желание и поеду, но после всех этих недостойных подозрений пусть и он исполнит мое и разрешит мне прямо отсюда отправиться в Лубны.

Прощайте, мой ангел, плачу и еду, но получила слово, что

мне позволят ехать домой, хотя несколько времени отдохну, если нельзя будет надеяться на дальнее спокойствие. Прощайте, мой бесценный ангел, должна оставить перо; извините, что шерсти мало посылаю, сколько достала, Христос с вами, мои родные, помолитесь за меня, грешную, ваши праведные молитвы скорей дойдут к престолу всевышнего творца нашего.

В скором времени после получения сего вы, может быть, увидите вашу Анету в объятиях ваших. Примете ли вы меня по-прежнему? Мысль эта меня тревожит. Неужели может меня постигнуть и это несчастие? Боже избави и сохрани, этого уже я не перенесу; но нет, вы знаете мое сердце, мои чувства вам известны, они достойны вашей привязанности и любви и вечно, вопреки всем бедам, пребудут одинаковы. Прощайте еще раз, до свидания, мой ангел-хранитель, покровитель и утешитель. Прощайте все, что для меня есть дороже в свете. Христос с вами! и со мной также. После получения сего письма уже во Псков не адресуйте ваши письма, а в Старый Быхов. Я и там недолго пробуду. Еще раз до свидания. Вечно ваша Анета.

№ 38

1820. Псков. 24 августа, в 10 часов утра.

Я хочу и дальше писать свой дневник – до тех пор, пока не буду подле вас и он уже будет не нужен. Нынче наш адъютант отправляется за деньгами к тетушке Анете.

Он может быть обратно не ранее как через десять дней, а до тех пор мы не уедем. В этом промедлении виноват все тот же любезный племянник. Он собирается по пути заехать к г-же Тормасовой, но перед этим хотел еще быть на бале у Магденки. Малейшие его прихоти – закон, а мне, бедной, приходится запастись терпением.

Мой дорогой супруг посылает своей племяннице мои красивые часики, и хоть мне их и жалко, но я отдала их, даже не показав своего огорчения; не хочу, чтобы он думал, будто подобные вещи способны меня расстроить. Но такие поступки (*неразб.*).

Мне кажется, мой дорогой супруг намерен посадить себе на шею этих двух особ, нисколько не заботясь, приятно мне это или нет. Я думаю, вы еще помните, как он, будучи со мной помолвленным, лил слезы, вспоминая ту женщину. А мои родители, видя, что он даже в тот момент, когда женится на их дочери, не может позабыть свою любовницу, позволили этому совершиться, и я была принесена в жертву. Ведь могли же они

видеть, что любовь его ко мне не столь уж велика, раз он оплакивает другую. Роковое ослепление!

Снова берусь за перо, дорогой мой друг. Как хотела бы быть уже подле вас, чтобы спрашивать ваших советов и откровенно разговаривать с вами.

Мы уже готовимся к отъезду, и это немного придает мне сил, потому что я уверена, что, после того как прибудут деньги, устройство всех дел займет не больше дня.

10 часов вечера.

Только что был у меня Желтая Настурция. Он еде г в Митаву, и я ему дала поручение привезти оттуда чулок, коими поделюсь с вами, мой ангел. Еще я написала одному посреднику насчет бонны для Катеньки – немки или англичанки.

Прощайте, нежный друг мой, доброй ночи, спите хорошо и, главное, спокойнее, чем ваша Анета.

25-го, в 11 часов утра.

Здравствуйте, мой ангел, каково вам спалось? Я спала хорошо, насколько это для меня возможно. Считаю часы и минуты, которые мне осталось провести вдалеке от вас, радость моя единственная.

У меня до вас просьба, мой ангел. Велите приготовить для меня маленькую комнату, что рядом с вашей. Здесь я никого не обеспокою и буду чувствовать себя всего приятнее. Уже одно то, что вы днем и ночью будете рядом со мной, способно усладить печальное мое существование. Ежели боитесь, что там сыро, прикажите поставить железную печку – их ведь много у папеньки. Я уверена, что это не будет для него беспокойством.

Впрочем, весьма вероятно, что я приеду прежде, чем до вас дойдут эти строки. Для меня то было бы большим Счастьем.

Только что ушли от нас гости – бывший мой обожатель, дивизионный адъютант, который в Риге женился. Он старший адъютант. Это человек неглупый, потому что, к счастью, я никогда не нравилась дуракам.

Хочу идти в лавки, чтоб купить чего-нибудь для дорожного капота, это меня утешает. Забыла вам сказать, что Магденко подарил меня прекрасным мылом, духами и перчатками. Так рад был меня видеть, что все на свете хотел отдать, выпросил у мужа позволение подарить мне шелковых чулок с узорами и будет нас провожать до Орши.

В 10 часов вечера.

Я получила очень хорошие книги, французские –

«Надгробные речи» Флешье[26] и «Новую Элоизу», а еще «Сентиментальное путешествие» Стерна[27], тоже по-французски. Хоть они у меня есть и по-русски, но снова их перечитываю. Я в восторге, что у меня есть «Новая Элоиза», там есть места в самом деле восхитительные, которые в русском переводе совершенно пропали. Некоторые из них перепишу для вас завтра, ежели буду чувствовать себя получше. А то сегодня мне весь день так было плохо, что я не могла этим заняться.

Итак, до завтра. Сегодня я поехала проводить мужа до дома одного купца, он ездил в его баню. Добрые купчихи, увидевши меня, стали меня умолять, чтобы я на минуточку зашла в дом; невозможно было отказать им. Я провела там целый час одна, чуть не умерла со скуки, потому что хозяйки только то и делали, что подавали и убирали всякую всячину и нельзя было отказаться; но я нисколько не раскаиваюсь, потому что это доставило мне случай заказать им снетки самого лучшего качества, чтобы отвезти маменьке. Я приказала их высушить, перебрать и посолить как можно чище. Мне так сладко заниматься чем-нибудь, что до вас относится.

Хочу еще написать к Каролине, чтобы она, если сможет, осенью приехала в Лубны со мной повидаться. Мне хочется приуготовить себе всякого рода удовольствия, чтобы хоть как-то вознаградить себя за горести, кои я испытала и не перестаю испытывать ежечасно. Что бы там: ни говорили, но я по себе знаю, что чувствительное сердце никогда покоя не имеет и не так просто его удовольствовать. Вы это знаете, мой ангел, лучше, чем кто-нибудь другой, вы не раз мне за это выговаривали, между тем как я видела, что вы не можете со мной не соглашаться и в глубине души меня оправдываете.

Прощайте же. Как видите, моя привязанность к вам сильнее моей усталости, ибо я забываю о ней, когда к вам пишу, и не замечаю, как перо выпадает из моих рук и что надобно отдохнуть. Еще раз прощайте. Если бы мои предчувствия осуществились и мы в самом деле могли бы вместе читать эти строки! Желаю вам спокойствия, прелестный друг мой. Ваша навечно Анета.

Да хранит его Господь.

№ 39

26 августа, в 1 час пополудни.

Здравствуйте, нежный мой друг. Время идет, и все ближе и ближе счастливая минута, когда я смогу вас обнять. Не знаю, отчего меня мучит какой-то страх. Воображение рисует страшные картины. Это уже не то сладостное видение, о коем я недавно писала вам. Я уже не могу, уже не смею представить его себе

таким нежным, каким бы желала вновь увидеть. Не знаю почему, но он теперь видится мне очень холодным, очень серьезным и более далеким, чем когда-либо. Мысль об этом сокрушает меня и тревожит невыразимо. Как бы хотела я, чтобы рядом был кто-нибудь, кто бы разуверил меня, кто бы меня приободрил. Я сама стараюсь побороть свои сомнения. Но они обычно одерживают верх, и я снова и снова предаюсь им.

Вот небольшой отрывок о любви: «*О, сколь сладостны заблуждения любви! Льстивые слова ее в некотором смысле правдивы; разум здесь молчит, но говорит сердце. Влюбленный, восхваляющий в нас несуществующие совершенства, в самом деле видит их такими, какими он их себе воображает. Он не лжет, изрекая ложь. Он льстит не яз раболепия, и если ему и нельзя верить, то, по крайней мере, его можно уважать».*

Это очень верно, ведь я хотя и не верю всему тому, что он написал мне в альбом, но верю, что писал он это от чистого сердца. Он сам обманывался, ибо любовь слепа, но вовсе не хочет обмануть, в этом я присягнуть готова. Вот по этому и узнается истинная любовь.

В 6 часов вечера.

Я теперь читаю «Новую Элоизу» и нахожу, что книга эта достойна того, чтобы ее читали все те, кто восторгается прекрасным, но непременно по-французски. Самое большое ее достоинство, на мой взгляд, в красоте слога и выборе выражений. В ней столько прекрасных мест, что

Я не в состоянии все их переписать, а между тем мне бы хотелось, чтобы вы разделили мой восторг, как разделяете все самые сокровеннейшие мои мысли, – одним словом, я хотела бы читать эту книгу вместе с вами. Мне очень досадно, что я не смогу ее привезти, – она чужая, а купить я хочу что-нибудь более полезное. Мне обещали «Гений христианства»[28] и «Характеры» Лабрюйера[29], и у меня уже есть русские трагедии г. Озерова[30]. Они превосходные и смогут заинтересовать еще кое-кого. Мы перечитаем вместе моего сладостного Стерна, мое сокровище; не подумайте, что у меня плохой вкус (в отношении книг); вы, надеюсь, уверены в противном; но чтобы в этом убедиться, возьмите в папенькиной библиотеке «Литературную смесь» Стюара[31], третий том, и прочитайте на странице 111-й «Письмо женщины о сентиментальном путешествии Стерна», и уж тогда, держу пари, что вы не станете более сомневаться в моем вкусе, по крайней мере, в отношении книг.

В 10 часов вечера.

Спокойной вам ночи, мой ангел. Хоть Руссо и говорит: «*Терпение горько, но плод его сладок*», но я скорее согласна с г-жой де Севинье[32] в том, что: «*Сбывшаяся надежда бывает омрачена долгим ожиданием*». Я все терпение потеряла, ожидая счастливой минуты выезда нашего отсюда. Почивайте покойно, мой бесценный ангел. Христос с вами. А.

27 августа, в 4 часа вечера.

Я продолжаю читать «Новую Элоизу»; восхищаюсь слогом, но очень многие места мне не нравятся; об этом мы поговорим вместе. Спокойной ночи, ангел мой, я до того слаба, что не в силах далее вам писать. Завтра счастливый день – суббота. Пусть и на этот раз улыбнется мне счастье и я, как обычно, увижу дорогие очертания вашего почерка.

Я немножко проглядела «Сентиментальное путешествие» по-французски и, представьте себе, русский перевод нахожу приятнее; не знаю, красота ли перевода или прелестные замечания, кои придают очарование всей книге, только, на мой взгляд, по-русски она написана гораздо лучше, нежели по-французски. Вы знаете, что ведь вполне возможно, чтобы перевод был лучше подлинного сочинения, и доказательство тому «Мой друг, хранитель-ангел мой!», который в тысячу раз лучше, чем «*Я так тебя люблю*».

Прощайте, мой ангел, мое всё. Да будет спокоен ваш сон, да не омрачат его никакие горести и заботы.

28 августа, 9 часов утра.

Сейчас получила письмо ваше, ангел мой, проклятая почта! Клянусь небом и всем, что для меня дороже в мире, что наверно не пропускала, можно ли мне это сделать, когда у меня только и занятия, что с вами беседовать, считать дни и минуты от прихода почты до отправления писем; нет, она неисправна и меня несколько раз огорчала, бог с нею, теперь она мне не нужна; только я намерена вам доказать, мой ангел, когда я буду с вами вместе, кто из нас больше писал, все ваши письма у меня в сохранении, я знаю, что и мои также. Тогда не трудно будет судить. Прощайте, мой ангел, вы удивитесь, как я мало теперь пишу. Одна-единственная мысль заглушает все прочие, а более всего расхолаживает меня уверенность, что я буду у вас раньше, чем этот дневник.

Я нынче ездила с визитом к одной даме, здесь неподалеку, и провела очень приятных два часа. Я видела их искренние сожаления со мною расстаться и пользовалась приятным удовольствием видеть себя истинно любимой этими добрыми

людьми; это чувство услаждает и в горестях; жалкий человек, кто им не пользуется и не умеет ценить опыт.

Христос с вами, мой ангел, вы из мыслей у меня не выходите ни на минуту.

Ваша *Анета.*

Вечером 29-го, в 8 часов.

Я сегодня была у обедни, молилась за вас и за скорое соединение с вами; впрочем, день провела по обыкновению, т. е. очень скучно и к тому же грустно. Что может быть горестнее моего положения – не иметь около себя ни души, с кем бы могла излить свое сердце, поговорить и вместе поплакать. Несчастное творение я. Сам всемогущий, кажется, не внемлет моим молитвам и слезам. К умножению моих печалей вы ничего не отвечаете на мои письма, и я не знаю, найду ли я подле вас отраду в удовольствии вашем меня видеть? Я уже вам сказывала, что я не сомневаюсь в собственной особе вашей, но желала бы, чтобы папенька и маменька столько имели удовольствия меня видеть, сколько я почитаю блаженством быть у них, и хотя этим бы вознаградили меня за все претерпенные горести в разлуке с ними.

№ 40

1820, Псков, 29-го, вечером, в половине девятого.

Маменька со своим чувствительным сердцем очень может судить о мучительном моем положении, пусть только вспомнит свое состояние, когда она оставляла своих родителей. С нежно любимым мужем, с милыми детьми, в цветущем состоянии, что способствовало ежеминутно делать жизнь ее спокойною и приятною, а тут ей сопутствовал всегда кто-нибудь из родных ее. Возьмите теперь противоположность моего состояния, с таким же чувствительным сердцем, обремененным всеми возможными горестями, должна проводить дни мои, оставлена всею природою, с тем человеком, который никогда не может получить моей привязанности, ни даже уважения. Он обещал мне отпустить меня к вам, по усиленным просьбам моим, вскоре по приезде в Старый Быхов, теперь опять отговаривается и хочет, чтобы я пробыла там до отъезда его в Петербург, что не прежде будет, как в конце октября; ему нужды нет, что я буду делать во время его разъездов одна, с ребенком, в этом несчастном городе и как потом я в холод и колоть поеду в октябре; но я настою, чтобы ехать, как прежде сказано, и ежели он эгоист, то я вдвое имею право быть оной, хоть для тех, которым моя жизнь и благосостояние еще дороги.

Впрочем, это последнее время совершенно заставило меня потерять терпение, и я бы в ад поехала, лишь бы знала, что там его не встречу.

Вот состояние моего сердца; прощайте, мой ангел, все сказала вам, что было на душе.

Христос с вами, мои родные.

30-го августа, 1820, в 11 часов утра.

Сегодня праздник; у меня обедают гости, а теперь супруг мой у развода. Я сейчас писала к Каролине и просила ее, если можно, приехать в Лубны, когда я там буду. Мы надеемся выехать очень скоро, т. е. прежде 5-го сентября. Ежели бы все так шло, как бы я хотела, то, наверное, я приехала бы прежде этого письма; но надобно повиноваться судьбе и дожидаться, когда будет богу угодно доставить меня к вам.

Прощайте, мой бесценный ангел, должна оставить перо: уже первый час, скоро будут гости, это несносно. Хотела послать вам выписки из «Элоизы», но не успею, а особенно все примечательные места спишу и вам привезу. Прощайте, мое сокровище драгоценное, Христос с ваий, моя родная, до смерти не хочется оставить перо, а, кажется, уже кто-то едет. Прощайте, мое всё; возьмите на себя труд сказать много хорошего Иммортелю. Любите оба вам вечно по гроб преданную Анету.

Письма А. П. Керн к Пушкину и Пушкина к А. П. Керн

А. Г. Родзянко и А. П. Керн – Пушкину

10 мая 1825 г. Лубны <А. Г. Родзянко>

Лубны 10-го майя 1825-го года
пред глазами Анны Петровны

Виноват, сто раз виноват перед тобою, любезный и дорогой мой Александр Сергеевич, не отвечая три месяца на твое неожиданное и приятнейшее письмо, излагать причины моего молчания и не нужно, и излишнее, лень моя главною тому причиною, и ты знаешь, что она никогда не переменится, хотя Анна Петровна ужасно как моет за это выражение мою грешную головушку. Но, невзирая на твое хорошее мнение о моих различных способностях, я становлюсь в тупик в некоторых вещах и, во-первых, в ответе к тебе. Но сделай милость, не давай воли своему воображению и не делай общею моей неодолимой лени, скромность моя и молчание в некоторых случаях могут быть вместе с обвинителями и защитниками ее; я тебе похвалюсь, что благодаря этой же лени я постояннее всех Амадисов[1] и польских и русских, итак, одна трудность перемены и переноски своей привязанности составляет мою добродетель, *следовательно,* говорит Анна Петровна, *немного стоит добродетель ваша!* А она соблюдает молчание, – <*Керн:*> Молчание знак согласья. – <*Родзянко:*> И справедливо. Скажи, пожалуй, что вздумалось тебе так клепать на меня, за какие проказы? – за какие шалости? – но довольно, пора говорить о литературе с тобою, нашим Корифеем. – <*Керн:*> Ей-богу, *он* ничего не хочет и не намерен вам сказать! насилу упросила! – Если б вы знали, чего мне это стоило! – <*Родзянко.*-> Самой безделки; придвинуть стул, дать перо и бумагу и сказать: пишите. – <*Керн:*> Да спросите, сколько раз повторить это должно было! – <*Родзянко:*> Repetitia est mater studiorum. Зачем не во всем требуют уроков, а еще более повторений, жалуюсь тебе, как новому Оберону[2], отсутствующий, ты имеешь гораздо более влияния на *ее,* нежели я со всем моим присутствием, письмо твое меня гораздо более поддерживает, нежели все мое красноречие. – <*Керн.*-> Je vous

proteste qu'il n'est pas dans mes fors! – <*Родзянко.*-> А чья вина? – вот теперь вздумала мириться с Ермолаем Федоровичем, снова пришло остывшее давно желание иметь законных детей, и я пропал, тогда можно было извиниться молодостию и неопытностию, а теперь чем? – ради бога, будь посредником! – <*Керн:*> Ей-богу, я этих строк не читала! – <*Родзянко:*> Но заставила их прочесть себе 10 раз. – <*Керн.*-> Право, не 10.– <*Родзянко.*> А 9 – еще солгал. Пусть так, тем-то Анна Петровна и очаровательнее, что, со всем умом и чувствительностию [светской] образованной женщины, она изобилует такими детскими хитростями – но прощай, люблю тебя, и удивляюсь твоему гению, и восклицаю:

О, Пушкин, мот и расточитель
Даров поэзии святой
И молодежи удалой
Гиерофант и просветитель,
Любезный женщинам творец,
Певец [бр<одяг>] разбойников, Цыганов,
Повторение – мать учения *(лат.)*.
Уверяю вас, что он не в плену у меня! *(фр.)*
Безумцев, рыцарей, Русланов,
Скажи, чего ты не певец.

Моя поэма *Чупка* скончалась на тех отрывках, что я тебе читал, а две новые сатиры пошлю вскорости напечатать.

Аркадий Родзянко.

<*А. П. Керн*>

Вчера *он был вдохновен мною!* и написал – Сатиру – на меня. Если позволите, я вам ее сообщу.

Стихи насчет известного *примирения.*

Соч. Аркадий Родзянко сию минуту.

«Поверьте, толки все рассудка
Была одна дурная шутка.
Хвостов <в> лирических певцах;
Вы *не притворно* рассердились,
Со мной нарочно согласились,
И кто, кто? – я же в дураках.

И дельно; в век наш греховодный
Я вздумал нравственность читать:

И совершенство посевать
В душе к небесному холодной;
Что ж мне за все советы?
– Ах! Жена, муж, оба с мировою
Смеются под нос надо мною:
«Прощайте, будьте в дураках!»

NB: Эти стихи сочинены после благоразумнейших дружеских советов, и это было его желание, чтоб я их здесь переписала.

Пушкин – А. П. Керн

25 июля 1825 г. Михайловское

Я имел слабость попросить у вас разрешения вам писать, а вы – легкомыслие или кокетство позволить мне это. Переписка ни к чему не ведет, я знаю; но у меня нет сил противиться желанию получить хоть словечко, написанное вашей хорошенькой ручкой.

Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у Олениных. Лучшее, что я могу сделать в моей печальной деревенской глуши, – это стараться не думать больше о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости ко мне, вы тоже должны были бы пожелать мне этого, – но ветреность всегда жестока, и все вы, кружа головы направо и налево, радуетесь, видя, что есть душа, страждущая в вашу честь и славу.

Прощайте, божественная; я бешусь и я у ваших ног. Тысячу нежностей *Ермолаю Федоровичу* и поклон г-ну Вульфу.

25 июля

Снова берусь за перо, ибо умираю с тоски и могу думать только о вас. Надеюсь, вы прочтете это письмо тайком – спрячете ли вы его у себя на груди? ответите ли мне длинным посланием? пишите мне обо всем, что придет вам в голову, – заклинаю вас. Если вы опасаетесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, измените почерк, подпишитесь вымышленным именем, – сердце мое сумеет вас угадать. Если выражения ваши будут столь же нежны, как ваши взгляды, – увы! – я постараюсь поверить им или же обмануть себя, что одно и то же. – Знаете ли вы, что перечтя эти строки, я стыжусь их

сентиментального тона – что скажет *Анна Николаевна? Ах вы, чудотворка или чудотворица!*

Знаете что? пишите мне и так, и этак, – это очень мило[29].

Пушкин – А. П. Керн

13 и 14 августа 1825 г. Михайловское

Перечитываю ваше письмо вдоль и поперек и говорю: *милая! прелесть!* божественная!…а потом: *ах, мерзкая!* – Простите, прекрасная и нежная, но это так. Нет никакого сомнения в том, что вы божественны, но иногда вам не хватает здравого смысла; еще раз простите и утешьтесь, потому что от этого вы еще прелестнее. Напр., что вы хотите сказать, говоря о печатке, которая должна для вас *подходить и вам нравиться* (счастливая печатка!) и значение которой вы просите меня разъяснить? Если тут нет какого-нибудь скрытого смысла, то я не понимаю, чего вы желаете. Или вы хотите, чтобы я придумал для вас девиз? Это было бы совсем в духе Нетти[1]. Полно, сохраните ваш прежний девиз: «*не скоро, а здорово»,* лишь бы это не было девизом вашего приезда в Тригорское – а теперь поговорим о другом. Вы уверяете, что я не знаю вашего характера. А какое мне до него дело? Очень он мне нужен – разве у хорошеньких женщин должен быть характер? главное – это глаза, зубы, ручки и ножки – (я прибавил бы еще – сердце, но ваша кузина[2] очень уж затаскала это слово). Вы говорите, что вас легко узнать; вы хотели сказать – полюбить вас? вполне с вами согласен и даже сам служу тому доказательством: я вел себя с вами, как четырнадцатилетний мальчик, – это возмутительно, но с тех пор, как я вас больше не вижу, я постепенно возвращаю себе утраченное превосходство и пользуюсь этим, чтобы побранить вас. Если мы когда-нибудь снова увидимся, обещайте мне… Нет, не хочу ваших обещаний: к тому же письмо – нечто столь холодное, в просьбе, передаваемой по почте, нет ни силы, ни взволнованности, а в отказе – ни изящества, ни сладострастия. Итак, до свидания – и поговорим о другом. Как поживает подагра вашего супруга? Надеюсь, у него был основательный припадок через день после вашего приезда. *Поделом ему!* Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтительностью, испытываю я к этому человеку! Божественная, ради бога, постарайтесь, чтобы он играл в карты и чтобы у него сделался приступ подагры, подагры! Это моя единственная надежда!

Перечитывая снова ваше письмо, я нахожу в нем ужасное *если,* которого сначала не приметил: если моя кузина останется,

то осенью я приеду и т. д. Ради бога, пусть она останется! Постарайтесь развлечь ее, ведь ничего нет легче; прикажите какому-нибудь офицеру вашего гарнизона влюбиться в нее, а когда настанет время ехать, досадите ей, отбив у нее воздыхателя; опять-таки ничего нет легче. Только не показывайте ей этого; а то из упрямства она способна сделать как раз противоположное тому, что надо. Что делаете вы с вашим кузеном?[3] напишите мне об этом, только вполне откровенно. Отошлите-ка его поскорее в его университет; не знаю почему, но я недолюбливаю этих студентов так же, как и г-н Керн. – Достойнейший человек этот г-н Керн, почтенный, разумный и т. д.; один только у него недостаток – то, что он ваш муж. Как можно быть вашим мужем? Этого я так же не могу себе вообразить, как не могу вообразить рая.

Все это было написано вчера. Сегодня почтовый день, и, не знаю почему, я вбил себе в голову, что получу от вас письмо. Этого не случилось, и я в самом собачьем настроении, хоть и совсем несправедливо: я должен быть благодарным за прошлый раз, знаю; но что поделаешь? умоляю вас, божественная, снизойдите к моей слабости, пишите мне, любите меня, и тогда я постараюсь быть любезным. Прощайте, *дайте ручку.*

14 августа

Пушкин – А. П. Керн

21 (?) августа 1825 г. Михайловское

Вы способны привести меня в отчаяние; я только что собрался написать вам несколько глупостей, которые насмешили бы вас до смерти, как вдруг пришло ваше письмо, опечалившее меня в самом разгаре моего вдохновения. Постарайтесь отделаться от этих спазм, которые делают вас очень интересной, но ни к черту не годятся, уверяю вас. Зачем вы принуждаете меня бранить вас? Если у вас рука была на перевязи, не следовало мне писать. Экая сумасбродка!

Скажите, однако, что он сделал вам, этот бедный муж? Уже не ревнует ли он часом? Что ж, клянусь вам, он не был бы неправ; вы не умеете или (что еще хуже) не хотите щадить людей. Хорошенькая женщина, конечно, вольна… быть вольной[30]. Боже мой, я не собираюсь читать вам нравоучения, но все же следует уважать мужа, – иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не принижайте слишком это ремесло, оно необходимо на свете. Право, я говорю с вами совершенно чистосердечно. За 400 верст вы ухитрились возбудить во мне ревность; что же должно быть в 4

шагах? (NB: Я очень хотел бы знать, почему ваш двоюродный братец уехал из Риги только 15-го числа сего месяца и почему имя его в письме ко мне трижды сорвалось у вас с пера? Можно узнать это, если это не слишком нескромно?) Простите, божественная, что я откровенно высказываю вам то, что думаю: это – доказательство истинного моего к вам участия; я люблю вас гораздо больше, чем вам кажется. Постарайтесь хоть сколько-нибудь наладить отношения с этим проклятым г-ном Керном. Я отлично понимаю, что он не какой-нибудь гений, но в конце концов он и не совсем дурак. Побольше мягкости, кокетства (и главное, бога ради, отказов, отказов и отказов) – и он будет у ваших ног, – место, которому я от всей души завидую, но что поделаешь? Я в отчаянии от отъезда Анеты; как бы то ни было, но вы непременно должны приехать осенью сюда или хотя бы в Псков. Предлогом можно будет выставить болезнь Анеты. Что вы об этом думаете? Отвечайте мне, умоляю вас, и ни слова об этом Алексею Вульфу. Вы приедете? – не правда ли? – а до тех пор не решайте ничего касательно вашего мужа. Вы молоды, вся жизнь перед вами, а он… Наконец, будьте уверены, что я не из тех, кто никогда не посоветует решительных мер – иногда это неизбежно, но раньше надо хорошенько подумать и не создавать скандала без надобности.

Прощайте! Сейчас ночь, и ваш образ встает передо мной, такой печальный и сладострастный: мне чудится, что я вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста.

Прощайте – мне чудится, что я у ваших ног, сжимаю их, ощущаю ваши колени, – я отдал бы всю свою жизнь за миг действительности. Прощайте, и верьте моему бреду; он смешон, но искренен.

Пушкин – А. П. Керн

28 августа 1825 г. Михайловское

Прилагаю письмо для вашей тетушки; вы можете его оставить у себя, если случится, что они уже уехали из Риги. Скажите, можно ли быть столь ветреной? Каким образом письмо, адресованное вам, попало не в ваши, а в другие руки? Но что сделано, то сделано – поговорим о том, что нам следует делать.

Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его, но знаете как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых лошадей на Остров и приезжаете… куда? В Тригорское? вовсе нет: в

Михайловское! Вот великолепный проект, который уже с четверть часа дразнит мое воображение. Вы представляете себе, как я был бы счастлив? Вы скажете: «А огласка, а скандал?» Черт возьми! Когда бросают мужа, это уже полный скандал, дальнейшее ничего не значит или значит очень мало. Согласитесь, что проект мой романтичен! – Сходство характеров, ненависть к преградам, сильно развитый орган полета, и пр. и пр. – Представляете себе удивление вашей тетушки? Последует разрыв. Вы будете видаться с вашей кузиной тайком, это хороший способ сделать дружбу менее пресной – а когда Керн умрет – вы будете свободны, как воздух… Ну, что вы на это скажете? Не говорил ли я вам, что способен дать вам совет смелый и внушительный!

Поговорим серьезно, т. е. хладнокровно: увижу ли я вас снова? Мысль, что нет, приводит меня в трепет. – Вы скажете мне: утешьтесь. Отлично, но как? влюбиться? невозможно. Прежде всего надо забыть про ваши спазмы. – Покинуть родину? удавиться? жениться? Все это очень хлопотливо и не привлекает меня. – Да, кстати, каким же образом буду я получать от вас письма? Ваша тетушка противится нашей переписке, столь целомудренной, столь невинной (да и как же иначе… на расстоянии 400 верст). – Наши письма наверное будут перехватывать, прочитывать, обсуждать и потом торжественно предавать сожжению. Постарайтесь изменить ваш почерк, а об остальном я позабочусь. – Но только пишите мне, да побольше, и вдоль, и поперек, и по диагонали (геометрический термин). Вот что такое диагональ[31]. А главное, не лишайте меня надежды снова увидеть вас. Иначе я, право, постараюсь влюбиться в другую. Чуть не забыл: я только что написал [письмо] Нети[1] письмо, очень нежное, очень раболепное. Я без ума от Нети. Она наивна, а вы нет. Отчего вы не наивны? Не правда ли, по почте я гораздо любезнее, чем при личном свидании; так вот, если вы приедете, я обещаю вам быть любезным до чрезвычайности – в понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг игрив, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно, и всю неделю – у ваших ног. – Прощайте.

28 августа.

Не распечатывайте прилагаемого письма, это нехорошо. Ваша тетушка рассердится.

Но полюбуйтесь, как с божьей помощью все перемешалось: г-жа Осипова распечатывает письмо к вам, вы распечатываете письмо к ней, я распечатываю письма Нетти – и все мы находим в них нечто для себя назидательное – поистине это восхитительно!

<П. А. Осиповой>

Да, сударыня, пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает. Ах, эти люди, считающие, что переписка может к чему-то привести. Уж не по собственному ли опыту они это знают? Но я прощаю им, простите и вы тоже – и будем продолжать.

Ваше последнее письмо (писанное в полночь) прелестно, я смеялся от всего сердца; но вы слишком строги к вашей милой племяннице; правда, она ветрена, но – терпение: еще лет двадцать – и, ручаюсь вам, она исправится. Что же до ее кокетства, то вы совершенно правы, оно способно привести в отчаяние. Неужели она не может довольствоваться тем, что нравится своему повелителю гну Керну, раз уж ей выпало такое счастье? Нет, нужно еще кружить голову вашему сыну, своему кузену! Приехав в Тригорское, она вздумала пленить г-на Рокотова и меня; это еще не все: приехав в Ригу, она встречает в ее проклятой крепости некоего проклятого узника и становится кокетливым провидением этого окаянного *каторжника!* Но и это еще не все: вы сообщаете мне, что в деле замешаны еще и мундиры! Нет, это уж слишком: об этом узнает г-н Рокотов, и посмотрим, что он на это скажет. Но, сударыня, думаете ли вы всерьез, что она кокетничает равнодушно? Она уверяет, что нет, я хотел бы верить этому, но еще больше успокаивает меня то, что не все ухаживают на один лад, и лишь бы другие были почтительны, робки и сдержанны, – мне ничего больше не надо. Благодарю вас, сударыня, [за ваше] за то, что вы не передали моего письма: оно было слишком нежно, а при нынешних обстоятельствах это было бы смешно с моей стороны. Я напишу ей другое, со свойственной мне дерзостью, и решительно порву с ней всякие отношения; пусть не говорят, что я старался внести смуту в семью, что *Ермолай Федорович* может обвинять меня в отсутствии нравственных правил, а жена его – издеваться надо мной. – Как это мило, что вы нашли портрет схожим: «смела в» и т. д. Не правда ли? Она отрицает и это; но конечно, я больше не верю ей.

Прощайте, сударыня. С великим нетерпением жду вашего приезда… мы позлословим на счет Северной Нетти[1], относительно которой я всегда буду сожалеть, что увидел ее, и еще более, что не обладал <?> ею <?>. Простите это чересчур откровенное признание тому, кто любит вас очень нежно, хотя и совсем иначе.

Михайловское.

Госпоже Осиповой.

22 сентября 1825 г. Михайловское

Ради бога, не отсылайте г-же Осиповой того письма, которое вы нашли в вашем пакете. Разве вы не видите, что оно было написано только для вашего собственного назидания? Оставьте его у себя, или вы нас поссорите. Я пытался помирить вас, но после ваших последних выходок отчаялся в этом… Кстати, вы клянетесь мне всеми святыми, что ни с кем не кокетничаете, а между тем вы на «ты» со своим кузеном, вы говорите ему: *я презираю твою мать.* Это ужасно; следовало сказать: *вашу мать,* а еще – лучше – ничего не говорить, потому что фраза эта произвела дьявольский эффект. Ревность в сторону, – я советую вам прекратить эту переписку, советую как друг, поистине вам преданный без громких слов и кривляний. Не понимаю, ради чего вы кокетничаете с юным студентом (притом же не поэтом) на таком почтительном расстоянии. Когда он был подле вас, вы знаете, что я находил это совершенно естественным, ибо надо же быть рассудительным. Решено, не правда ли? Бросьте переписку, – ручаюсь вам, что он от этого будет не менее влюблен в вас. Всерьез ли говорите вы, уверяя, будто одобряете мой проект? У Анеты от этого мороз пробежал по коже, а у меня голова закружилась от радости. Но я не верю в счастье, и это вполне простительно. Захотите ли вы, ангел любви, заставить уверовать мою неверующую и увядшую душу? Но приезжайте, по крайней мере, в Псков; это вам легко устроить. При одной мысли об этом сердце у меня бьется, в глазах темнеет и истома овладевает мною. Ужели и это тщетная надежда, как столько других?.. Перейдем к делу; прежде всего, нужен предлог; болезнь Анеты – что вы об этом скажете? Или не съездить ли вам в Петербург? Вы дадите мне знать об этом, не правда ли? – Не обманите меня, милый ангел. Пусть вам буду обязан я тем, что познал счастье, прежде чем расстался с жизнью! – Не говорите мне о восхищении: это не то чувство, какое мне нужно. Говорите мне о любви: вот чего я жажду. А самое главное, не говорите мне о стихах… Ваш совет написать его величеству тронул меня, как доказательство того, что вы обо мне думали – на коленях благодарю тебя за него, но не могу ему последовать. Пусть судьба решит мою участь; я не хочу в это вмешиваться… Надежда увидеть вас еще юною и прекрасною – единственное, что мне дорого. Еще раз, не обманите меня.

22 сент. Михайловское.

Завтра день рождения вашей тетушки; стало быть, я буду в Тригорском; ваша мысль выдать Анету замуж, чтобы иметь пристанище, восхитительна, но я не сообщил ей об этом. Ответьте, умоляю вас, на самое главное в моем письме, и я поверю, что стоит еще жить на свете.

Пушкин и Анна Н. Вульф – А. П. Керн

8 декабря 1825 г. Тригорское

< Пушкин >

Никак не ожидал, чародейка, что вы вспомните обо мне, от всей души благодарю вас за это. Байрон' получил в моих глазах новую прелесть – все его героини примут в моем воображении черты, забыть которые невозможно. Вас буду видеть я в образах и Гюльнары и Лейлы[2] – идеал самого Байрона не мог быть божественнее. Вас, именно вас посылает мне всякий раз судьба, дабы усладить мое уединение! Вы – ангел-утешитель, а я – неблагодарный, потому что смею еще роптать… Вы едете в Петербург, и мое изгнание тяготит меня более, чем когда-либо. Быть может, перемена, только что происшедшая[3], приблизит меня к вам, не смею на это надеяться. Не стоит верить надежде, она лишь хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем. Что поделывает ваш муж, мой нежный гений? Знаете ли вы, что в его образе я представлю себе врагов Байрона, в том числе и его жену.

8 дек.

Снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, что иногда вас ненавижу, что третьего дня говорил о вас гадости, что я целую ваши прелестные ручки и снова перецеловываю их, в ожидании лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны и т. д.

<Анна Н. Вулъф>

Наконец-то, милый друг, Пушкин принес мне письмо от тебя.

Давно было пора получить мне от тебя весточку, так как я не знала, что и подумать о твоем молчании; однако из письма твоего я не вижу, что могло тебе помешать писать ко мне, и не могу понять, на какое письмо ты мне отвечаешь – на то ли, которое я тебе послала через мадмуазель Ниндель, или на другое; твои

письма всегда меня сбивают с толку.

Алексей писал мне, что ты отказалась от намерения уехать и решила остаться. Я поэтому совсем было успокоилась на твой счет, как вдруг твое письмо так неприятно меня разочаровало. Почему ты не сообщаешь мне ничего определенного, а предпочитаешь оставлять меня в тревоге?

Не бойся за свои письма, можешь писать теперь просто на мое имя в *Опочку*. Моих писем больше уже не вскрывают, они тащатся через Новоржев и иногда могут даже затеряться. Вполне ли решен твой отъезд в Петербург? Последнее событие не изменит ли твоих планов? Байрон помирил тебя с Пушкиным; он сегодня же посылает тебе деньги —125 рублей, его стоимость. Следующей почтой постараюсь прислать тебе свой долг, мне очень неприятно, что я заставила тебя так долго ждать. Сейчас не могу заговаривать об этом с матушкой, она очень больна, уже несколько дней в постели, у нее рожистое воспаление на лице…

Что тебе еще рассказать? Этой зимой надеюсь непременно уехать в Тверь, а покамест томлюсь, тоскую и терпеливо жду: отвечай мне поскорее. Бетшер давно уже в Острове, *но нам от этого не легче. Прощай, мой друг,* навсегда твоя подруга.

Анета.

Анна Н. Вульф и А. П. Керн – Пушкину

16 сентября 1826 г. Петербург
Петербург, 16 сентября.

<Анна Н. Вульф>

Я так мало эгоистична, что радуюсь вашему освобождению и горячо поздравляю вас с ним, хотя вздыхаю, когда пишу это, и в глубине души дала бы многое, чтобы вы были еще в Михайловском, [и] все мои усилия быть благородной не могут заглушить чувство боли, которое я испытываю оттого, что не найду вас больше в Тригорском, куда влечет меня сейчас моя несчастная звезда, чего бы только не отдала я за то, чтобы не уезжать из него вовсе и не возвращаться туда сейчас. – Я послала вам длинное письмо с князем Вяземским – мне хотелось бы, чтобы оно не дошло до вас, я была тогда в отчаянии, узнав, что вас взяли', и не знаю, каких только безрассудств я не наделала бы. Князя я увидела в театре и занималась только тем, что лорнировала его в течение всего спектакля, я надеялась тогда рассказать вам о нем! – Я была чрезвычайно рада вновь увидеться

с вашей сестрой – она очаровательна – знаете, я нахожу, что она очень похожа на вас. Не понимаю, как не заметила я этого раньше. Скажите, пожалуйста, почему вы перестали мне писать – из равнодушия или забвения? Гадкий вы. Вы не заслуживаете любви, мне надо свести с вами много счетов – но горе, которое я испытываю оттого, что не увижу вас больше, заставляет меня все забыть. *Бедному богдыхану1 сколько хлопот, я думаю, в Москве – я думаю, он устанет внимать гимну беспрестанно. – А. Керн вам велит сказать, что она бескорыстно радуется вашему благополучию < А. П. Керн:> и любит искренно без затей. <Анна Н. Вульф:>* Прощайте, мои радости, миновавшие и неповторимые. Никогда в жизни никто не заставит меня испытывать такие волнения и ощущения, какие я чувствовала возле вас. Письмо мое доказывает,

какое у меня доверие к вам. – Надеюсь поэтому, что вы не станете меня компрометировать и разорвете это письмо; получу ли я на него ответ? —

Господину Александру П. – подставному братцу, дабы не скандализовать общество.

Алексей Н. Вульф, Анна Н. Вульф и Пушкин – А. П. Керн

1 сентября 1827 г. Тригорское

<Алексей Н. Вульф>

Точно, милый мой друг, я очень давно к тебе не писал; главнейшая причина была та, что я надеялся ежедневно ехать в Петербург, но теперь, когда я вижу, что сия желанная минута не так скоро приближится, я решил тебе снова напомнить обо мне. – Судьбе угодно, чтобы прежде, нежели я вступлю на опасную стезю честолюбия, я бы поклонился праху предков моих, как древние витязи севера, оставляя родину, беседовали на могилах своих отцов – коих в облаках блуждающие тени – прости, мой ангел, я было хотел себя сравнить с Оссиановыми героями и уже был на пути – но сестра, которая, стоя перед зеркалом, взбивала кудри, дала мне заметить, как хорошо у ней [ле<вая>] правая[32] сторона взбита, и тем прервала полет моей фантазии.

<Анна Н. Вульф>

Не могу вытерпеть, чтоб не прервать его поэтического рассказа [за кото < рый >] и чтоб не сказать тебе, что ты обязана сему двум тарелкам орехов и яблоков с зернышками,

которые он съел для вдохновенья[33], et cela par sympathie en voyant dans ma lettre que tu mangeais du pâté et lui mange des noisettes et des pommes etc. etc.[34] – < *Алексей Н. Вульф:* > Ты видишь, что сестра не дает.

< Пушкин >

Анна Петровна, я Вам жалуюсь на Анну Николаевну – она меня не целовала в глаза, как вы изволили приказывать. Adieu, belle dame[35].

Весь ваш Яблочный Пирог.

<Алексей Н. Вульф >

Равно как и Александр Пушкин мне, сказать тебе без дальних околичностей, что я на сих днях еду в Тверь, а после, когда бог поможет, и к Вам, в Питер. Вот тебе покуда несколько слов, приехав в колыбель моей любви, я напишу тебе более. Здравствуй.

1 сентб. Тригорск.

Распечатав пакет, ты найдешь на нем вид Тригорского[1], написанный Александром Сергеевичем Пушкиным. Сохрани для потомства это доказательство обширности *Гения,* знаменитого поэта, обнимающего все изящное.

Пушкин – А. П. Керн

*Май 1833– март 1836 г. Петербург*Прошу Вас, милая Анна Петровна, прислать ко мне Арендта', но только не говорите об этом бабушке и дедушке[2].

Е. М. Хитрово – А. П. Керн

1830-е годы. Петербург

Получила вчера утром ваше милое письмо, сударыня, и сама приехала бы к вам, если бы не серьезная болезнь моей дочери. Если бы вы смогли посетить меня завтра в полдень, я была бы вам очень рада

Ел. Хитрова.

Е. М. Хитрово и Пушкин – А. П. Керн

1830-е годы. Петербург

< Е. М. Хитрово – рукою Пушкина >

Дорогая г-жа Керн, у нашей малютки корь, и с нею нельзя видеться; как только моей дочери станет лучше, я приеду вас обнять.

Ел. Хитрова.

< Пушкин >

У меня такое скверное перо, что госпожа Хитрова не может им пользоваться, и мне выпала удача быть ее секретарем.

Е. М. Хитрово – А. П. Керн

1830-е годы. Петербург

Вот, дорогая моя, письмо от Шереметева – сообщите, что в нем. Я собиралась сама вручить вам его, но мне не везет, начался дождь.

Ел. Хитрова.

Пушкин – А. П. Керн

1830-е годы. Петербург

Вот ответ Шереметева. Желаю, чтобы он был вам благоприятен – г-жа Хитрова сделала все, что могла. Прощайте, прекрасная. Будьте покойны и довольны и верьте моей преданности.

Пушкин – А. П. Керн

(Отрывок)

1830-е годы. Петербург

Раз вы не могли ничего добиться, вы, хорошенькая женщина, то что уж делать мне – ведь я даже и не красивый малый… Все, что могу посоветовать, это снова обратиться к посредничеству…

Примечания

Воспоминания о Пушкине

Написаны в конце 1850-х годов, вскоре после переезда А.П. и А.В. Марковых-Виноградских в Петербург. Точная дата написания неизвестна. Местонахождение рукописи не установлено. Впервые напечатаны при жизни А. П. Керн (Марковой-Виноградской) в журнале «Библиотека для чтения», 1859, т. 154, апрель, с. 111–144, с приложением четырех писем Пушкина во французских оригиналах и переводах, без указания имени автора.

Первоначально «Воспоминания» были переданы поэтессе Е. Н. Пучковой, обещавшей помочь их напечатать. Но обещания своего Пучкова не выполнила и вернула рукопись. Тогда, по-видимому, при содействии кого-то из общих знакомых, Анна Петровна передала их Анненкову, продолжавшему собирать свидетельства современников о Пушкине и после того, как в 1855 году вышли его «Материалы для биографии А. С. Пушкина», составившие первый том Сочинений Пушкина под его редакцией. Сама мысль приняться за воспоминания, надо полагать, возникла у Керн под впечатлением от труда П. В. Анненкова. Естественно, рукопись не могла не заинтересовать исследователя. Он подверг ее некоторой обработке и передал для опубликования своему приятелю и единомышленнику – в то время редактору «Библиотеки для чтения» А. В. Дружинину.

Лицо, с обращения к которому начинает А. П. Керн свои воспоминания, было скрыто ею под инициалами Е. Н. Вопрос о том, кто эта «почтенная и добрая Е. Н.», издавна занимал читателей и исследователей. Точный ответ дает указанное выше письмо А. П. Керн к Анненкову. Е. Н. – это Екатерина Наумовна Пучкова.

Е. Н. Пучкова (1792–1867) была известной в свое время поэтессой. Ей адресованы две эпиграммы Пушкина-лицеиста – «Зачем кричишь ты, что ты дева…» и «Пучкова, право, не смешна…». В 1850-х годах стала членом кружка, собиравшегося у О.

С. Павлищевой; здесь она встречалась с А. П. Керн.

[1]*Оленина,* рожд. Полторацкая, Елизавета Марковна (1768–1838) – тетка А. П. Керн, старшая сестра ее отца; была замужем за Алексеем Николаевичем Олениным (1763–1843), президентом Академии художеств и директором Публичной библиотеки, признанным знатоком и ценителем искусства. Дом Олениных на набережной Фонтанки, близ Обухова моста (ныне набережная Фонтанки, 101), был широко известен в Петербурге как место, где

собирались виднейшие представители художественной интеллигенции – писатели, художники, актеры – разных направлений, куда стекались все новости художественной жизни столицы. Постоянными посетителями оленинских вечеров были Крылов, Жуковский, Гнедич, Батюшков, Озеров, молодой Пушкин, Кипренский, Семенова, Яковлев…

Двоюродный брат А.П. Керн, племянник Е.М. Олениной и отца Анны Петровны П.М. Полторацкого, *Полторацкий* Александр Александрович (1792–1855) служил в гвардии, вышел в отставку в чине капитана; с 1834 года был женат на Е. П. Бакуниной, предмете первой любви Пушкина-лицеиста.

[2] 28 декабря 1818 года умерла Екатерина Павловна, сестра Александра I, королева Вюртембергская.

[3] Первая встреча Пушкина с А.П. Керн в доме Олениных произошла в январе – начале февраля 1819 года.

[4]*Плещеев* Александр Алексеевич (1778–1862) – друг В. А. Жуковского и А. И. Тургенева, член литературного кружка «Арзамас».

s Строка из басни И. А. Крылова «Осел и Мужик» (1819).

[5] В восьмой главе романа «Евгений Онегин», строфах XIV–XVI и XXX, как предполагают, Пушкину виделась графиня Наталия Викторовна Строганова, рожд. Кочубей (1800–1854); мог вспоминать он и А. П. Керн и ее мужа – генерала. Но называть

конкретный прототип в данном случае вообще представляется неправомерным.

[6] В приведенных стихах имеются по сравнению с оригиналом расхождения в пунктуации и мелкие неточности; 13-я и 14-я строки XIV строфы читаются:

> Du comme il faut (Шишков, прости:
> Не знаю, как перевести).

[7] Первое издание «Кавказского пленника» вышло в Петербурге в конце августа или начале сентября 1822 года, с портретом Пушкина, гравированным Е. Гейтманом. Первое издание «Бахчисарайского фонтана» – в Москве 10 марта 1824 года. «Братья разбойники» впервые появились в альманахе А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева «Полярная звезда» на 1825 год, отдельным изданием вышли в 1827 году. Первая глава «Евгения Онегина» вышла в Петербурге 18 февраля 1825 года.

[8]*Родзянко Аркадий Гаврилович* (1793–1846) – автор лирических стихов и сатир, в большинстве не опубликованных. В 1818–1819 годах, служа в Петербурге в лейб-гвардии Егерском полку, был близок к декабристским кругам, состоял членом

литературно-политического общества «Зеленая лампа». По-видимому, здесь он познакомился с Пушкиным, и между ними установились приятельские отношения. В 1821 году Родзянко вышел в отставку и поселился в своем богатом имении Родзянки Хорольского уезда Полтавской губернии, недалеко от Лубен, где жила у родных А. П. Керн. На протяжении 20-х годов Родзянко поддерживал сношения с Пушкиным, обмениваясь письмами и поэтическими посланиями, несмотря на то, что Пушкин был крайне возмущен выпадом Родзянко против него в сатире «Два века» (см. его письмо А. А. Бестужеву 13 июня 1823 г.). О посещении Пушкиным Родзянко в его имении при «возвращении с Кавказа» нет никаких сведений, кроме сообщения Керн.

[9]*Вульф Анна Николаевна* (1799–1857) – двоюродная сестра и ближайшая подруга А. П. Керн, дочь ее дяди, брата матери, Николая Ивановича Вульфа и Прасковьи Александровны, рожд. Вындомской, во втором браке Осиповой. Получив первоначальное воспитание вместе с А. П. Керн в доме их деда И. П.

Вульфа в тверском имении его Бернове, она жила главным образом в Тригорском, псковском имении матери, временами наезжая в оставшееся после смерти отца тверское имение Малинники или в Петербург. В Тригорском в 1824–1825 годах она близко познакомилась с Пушкиным и увлеклась им, сохранив глубокое безответное чувство к нему на всю жизнь. О своем чувстве она откровенно писала поэту в 1826 году из Малинников в Михайловское (см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 267–268, 270, 273–274). Письма эти – выразительные человеческие документы. Сохранились далеко не все из них. Письма Пушкина к Ан. Н. Вульф не сохранились вовсе, кроме двух шутливых записок. По-видимому, они были уничтожены самой Анной Николаевной, как и ее многолетняя переписка с А. П. Керн. Начитанная, любящая и понимающая поэзию, добрая и отзывчивая Ан. Н. Вульф прожила невеселую одинокую жизнь, будучи в постоянной материальной зависимости от матери, ее понятий и капризов. Скончалась она в Тригорском 2 сентября 1857 года.

А.П. Керн допускает неточность, говоря, что Анна Николаевна «часто бывала в доме Пушкина», – конечно, не она бывала у Пушкина в Михайловском, а он постоянно бывал в доме Вульф-Осиповых в Тригорском.

Прасковья Александровна Вульф-Осипова, рожд. Вындомская (1781–1859), приходилась теткой А. П. Керн, так как была первым браком замужем за родным ее дядей, братом матери, – Николаем Ивановичем Вульфом. Ранние годы провела в имении Тригорское, где получила первоначальное воспитание и образование под

наблюдением отца – Александра Максимовича Вындомского, отставного полковника, энергичного помещика, человека по своему времени образованного и не лишенного даже литературных интересов, о чем свидетельствует сохранившийся альбом с выписанными его рукою стихами. После смерти отца, а затем и первого мужа Прасковья Александровна унаследовала имения Тригорское в Псковской губернии и Малинники в Тверской, где главным образом и жила со своими детьми от первого брака Алексеем, Анной, Евпраксией, Валерианом и Михаилом Вульф, от второго брака Марией и Екатериной Осиповыми и падчерицей Александрой. Рачительная помещица, не стеснявшаяся крутых мер в обращении как с крепостными, так и детьми, она в то же время постоянно пополняла свои знания путем чтения, изучения иностранных языков и проч. и стала человеком подлинно образованным, выделявшимся из окружающей среды просвещенным умом, широтой духовных интересов, самостоятельностью суждений. За это ее ценили и уважали такие люди, как В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, бывшие с нею в переписке. Пушкин на протяжении двух десятилетий поддерживал с П. А. Вульф-Осиповой самые добрые отношения, справедливо видя в ней не только незаурядного человека, но и искреннего, бескорыстного друга, готового всегда прийти ему на помощь в любом трудном деле. Сохранилась обширная переписка Пушкина с П. А. Вульф-Осиповой, ей посвящено несколько стихотворений поэта. А. П. Керн много говорит о Прасковье Александровне в воспоминаниях о своем детстве; подробную ее характеристику дает в письме к П. В. Анненкову, написанном вскоре после смерти П. А. Вульф-Осиповой

[10] Письмо Пушкина к А.Г. Родзянко, о котором здесь идет речь, было написано в Михайловском 8 декабря 1824 года. Стихи Пушкина приведены неточно. Полный и точный текст их такой:

Прости, украинский мудрец,
Наместник Феба и Приапа!
Твоя соломенная шляпа
Покойней, чем иной венец;
Твой Рим – деревня; ты мой Папа,
Благослови ж меня, певец!

Приводимые слова из письма не цитата, а пересказ по памяти. У Пушкина: «Баратынский написал поэму (не прогневайся, про *Чухонку),* и эта чухонка говорят чудо как мила. – А я про *Цыганку;* каков? подавай же нам скорей свою *Чупку* – аи

да Парнас! аи да героини! аи да честная компания! Воображаю, Аполлон, смотря на них, закричит: зачем ведете мне не ту?» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 128–129).

[11] Послание Пушкина «К Родзянке» («Ты обещал о романтизме…») является ответом на письмо Родзянко и Керн от 10 мая 1825 года. При жизни Пушкина не печаталось.

[12] В Тригорском летом 1825 года А. П. Керн гостила с середины июня по 19 июля, когда вместе с П. А. Вульф-Осиповой и ее дочерьми – Ан. Н. и Е. Н. Вульф – уехала в Ригу. Там в это время ее муж Е. Ф. Керн занимал должность военного коменданта.

[13]*Рокотов* Иван Матвеевич (1782—после 1840) – псковский помещик, владелец села Стехнево Новоржевского уезда, в 40 верстах от Михайловского и Тригорского. Часто бывал у Вульф-Осиповых, посещал и Пушкина.

[14] «*Сказка про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров»* позже, в 1827–1828 годах, была записана со слов Пушкина молодым литератором Владимиром Павловичем Титовым (1807–1891), посещавшим литературные собрания у Дельвига, и напечатана с согласия Пушкина в альманахе «Северные цветы» на 1829 год под названием «Уединенный домик на Васильевском».

[15] Поэма «Цыганы» была закончена Пушкиным в Михайловском осенью 1824 года.

[16] Посещение А. П. Керн Михайловского происходило в ночь с 18 на 19 июля 1825 года. В прогулке принимали участие, кроме нее и Пушкина, «тетушка» – П. А. Вульф-Осипова, «сестра» – Ан. Н. Вульф и двоюродный брат – Ал. Н. Вульф.

Алексей Николаевич Вульф (1805–1881) – старший сын П.

А. и Н. И. Вульфов. Первоначальное образование получил в Горном корпусе. С 1822 по 1826 год – студент Дерптского университета, где подружился с Н. М. Языковым. С 1829 года служил в гвардии. В 1833 году вышел в отставку в чине штабс-ротмистра и всю дальнейшую жизнь, без малого пятьдесят лет, провел помещиком в своих имениях Малинники и Тригорское. Скончался в Тригорском 17 апреля 1881 года, там асе похоронен – на семейном кладбище Вульф-Осиповых на Городище Вороиче. Со своей двоюродной сестрой А. П. Керн Вульф был дружен на протяжении всей жизни. С Пушкиным у него установились приятельские отношения сразу по приезде поэта в Михайловскую ссылку осенью 1824 года. Проводя каникулы в Тригорском, он постоянно общался с Пушкиным, особенно летом 1826 года, когда привез в Тригорское Н. М. Языкова. Известны письма и стихотворные послания Пушкина Вульфу; о нем – «дерптском

студенте» – поэт писал в «Заметке о холере» (1831). Вульф уделяет много внимания Пушкину в своем «Дневника», содержащем интересные и важные, но не всегда вполне достоверные сведения (см.: Вульф А. Н. Дневники. М.: Федерация, 1929).

[17] Керн имеет в виду строки из V строфы третьей главы романа «Евгений Онегин»:

Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.

[18] «*Приют задумчивых дриад*» (лесных нимф) – строка из I строфы второй главы романа «Евгений Онегин». А. П. Керн относит ее к парку Михайловского, подчеркивая тем самым, что видит прямую связь между пейзажем «Онегина» и окружавшей Пушкина в псковской деревне природой.

[19] Керн ошибается, говоря, что накануне ее отъезда из Тригорского Пушкин принес ей «экземпляр 2-й главы *Онегина*». Вторая глава вышла из печати в октябре 1826 года. Это могла быть только первая глава, вышедшая в феврале 1825 года.

[20] Посвященное А. П. Керн стихотворение Пушкина «К» («Я помню чудное мгновенье…») было впервые напечатано в альманахе «Северные цветы» на 1827 год. Беловой автограф до нас не дошел. М. И. Глинка написал музыку на эти слова зимою 1840 года.

[21] Стихотворение Ивана Ивановича Козлова (1779–1840) «Венецианская ночь. Фантазия» (1824).

[22] Письмо Петру Александровичу Плетневу (1792–1865), поэту, критику, одному из близких друзей Пушкина, издателю его сочинений и помощнику во многих житейских делах, было написано 19 июля 1825 года.

[23] Письмо Пушкина к П. А. Вульф-Осиповой, где поэт «очертил портрет» А. П. Керн, не сохранилось. Намек на него содержится в приписке к письму от 28 августа 1825 года, адресованной якобы П. А. Осиповой, на самом же деле предназначенной также для А. П. Керн («Как это мило, что вы нашли портрет схожим: «смела в» и т. д.») (П у ш к и н А. С. Полн, собр. соч. Т. 13. С. 216; оригинал по-французски).

[24] Полный текст писем Пушкина, которые цитирует А. П. Керн, в точном переводе, принятом академическим Полным собранием сочинений Пушкина, см. на с. 271–280 настоящего издания.

[25] Пушкин приехал в Петербург после освобождения из

ссылки 22 мая 1827 года. Его родители, Н. О. и С. Л. Пушкины, жили в это время в доме Устинова на набережной Фонтанки, у Семеновского моста (дом сохранился – набережная Фонтанки, 92, у Семеновского моста).

[26] А.П. Керн ошибочно называет среди друзей Пушкина, посетивших его в Михайловском, Е.А. Баратынского и не называет И. И. Пущина.

[27] Трактир Демута, где неоднократно останавливался Пушкин в 1827–1831 годах, считался одной из лучших петербургских гостиниц; находился он на набережной Мойки, возле Невского проспекта (дом перестроен, участок дома № 2 40).

[28] А. П. Керн с сестрой Елизаветой и отцом П. М. Полторацким в 1827 году жила на набережной Фонтанки, близ Обуховского моста, в доме генеральши С. И. Штерич – том самом, который ранее принадлежал Е. М. Полторацкой-Олениной и где в 1819 году произошла первая знаменательная встреча Керн с Пушкиным.

[29] День именин Пушкина – 2 июня.

[30]*Норов Абрам* (Авраам) *Сергеевич* (1795–1869) – в 1820-е годы активно выступал как поэт и переводчик, был членом «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» и «Общества любителей российской словесности»; позже – академик, сенатор, министр народного просвещения.

[31] Младший брат Пушкина, Лев Сергеевич (1805–1852), служил на Кавказе в Нижегородском драгунском полку в 1827–1829 годах и позже, в 1836–1841 годах.

[32]*Ивелич* Екатерина Марковна, гр. (1795–1838) – близкая знакомая А. П. Керн и семьи Пушкиных.

[33]*Веневитинов* Дмитрий Владимирович (1805–1827) с 1826 года жил в Петербурге и часто посещал литературные собрания у Дельвига. Известна его восторженная любовь к кн. З. А. Волконской.

[34]*Хомяков* Алексей Степанович (1804–1860) – поэт и публицист славянофильского направления.

[35] Стихотворение А.А. Дельвига «На смерть Веневитинова» («Дева и Роза») написано в 1827 году и впервые напечатано в альманахе «Северные цветы» на 1828 год.

[36] Поэма «*Полтава*» была написана Пушкиным в течение 1828 года. «*Ударил бой, Полтавский бой!*» – стих третьей песни поэмы. В окончательной редакции: «И грянул бой, Полтавский бой!»

[37] Стих из поэмы Пушкина «Цыганы».

[38]*Барков Дмитрий Николаевич* (1796 – после 1855) – известный в свое время театрал и поэт-дилетант. В 1819 году был

членом «Зеленой лампы». Соль шуточного стихотворения Пушкина в том, что однофамилец Д. Н. Баркова Иван Барков (1732–1768) был известен как автор порнографических, «срамных» стихов.

[39] Младшая сестра А. П. Керн – Елизавета Петровна, в замужестве Решко.

[40] Пушкин подарил А. П. Керн отдельное издание поэмы «Цыганы», вышедшее в 1827 году.

В рукописи А. П. Керн «Мысли и замечания, выдержки из писем в Малороссию», хранящейся в Рукописном отделе Пушкинского дома (14.332/LXXX662), содержится такая запись разговора с Пушкиным по поводу поэмы «Цыганы»:

«А ведь Зарема-то ваша интереснее Марии», – сказала я ему когда-то.

«Я люблю Зарему», – отвечал он. «Ваши «Цыганы» лучше всего, что вы написали», – сказала я.

«Я и сам того же мнения, их не поняли, не оценили!..»

[41] «*Я ехал к вам. Живые сны…»* – стихотворение «Приметы». Написано в январе 1829 года. Напечатано в альманахе «Подснежник» в апреле 1829 года. В окончательной редакции четвертый стих первой строфы: «Сопровождал мой бег ретивый».

[42] Стихотворения «*Город пышный, город бедный…»* и «*Пред ней задумчиво стою…»* («Ты и Вы») обращены к Анне Алексеевне Олениной, которой в это время (1828 г.) Пушкин был увлечен и даже просил ее руки.

[43] Дельвиг с женой уехал в Харьков по служебным делам в феврале; вернулся в Петербург 7 октября 1828 года.

[44] Стихи «*Как в ненастные дни собирались они…»* известны и в непечатной редакции (см. письмо Пушкина П. А. Вяземскому от 1 сентября 1828 г.), которую, вероятно, и посылал Пушкин Дельвигу через А. П. Керн.

[45] Квартира Дельвига в 1827–1829 годах находилась на Загородном проспекте (продолжение Владимирской улицы), в доме Кувшинникова (Московская часть, № 167 и 168), а с осени 1829 года по январь 1831 года в доме Тычинкина, против Владимирской церкви.

[46] *Лангер* Валериан Платонович (1799 – после 1870) – лицеист 2-го курса, художник-литограф, с 1841 года почетный вольный общник Академии художеств. *Эристов* Дмитрий Алексеевич (1797–1858) – лицеист 2-го курса, чиновник и литератор. *Яковлев* Михаил Лукьянович (1798–1868) – товарищ Пушкина и Дельвига по Лицею (прозвище «Паяц»), на их слова написал несколько романсов, которые сам исполнял, обладая хорошим голосом; хранитель архива 1-го курса Лицея и устроитель празднования

годовщин 19 октября. *Комовский* Сергей Дмитриевич (1798–1880) – товарищ Пушкина и Дельвига по Лицею (прозвище «Лисичка»), впоследствии крупный чиновник, автор недоброжелательных воспоминаний о Пушкине. *Илличевский* Алексей Дамианович (1798–1837) – товарищ Пушкина и Дельвига по Лицею (прозвище «Олосенька»), поэт, в Лицее соперничавший с Пушкиным, автор книжки стихов «Опыты в антологическом роде» (1827).

[47]*Подолинский* Андрей Иванович (1806–1886) – поэт романтического направления, пользовавшийся значительной известностью в 20—30-х годах, автор поэм «Див и Пери» (1827), «Борский» (1829), «Нищий» (1830), «Смерть Пери» (1837) и большого числа лирических стихотворений, вошедших в двухтомное собрание его стихотворений и поэм (1837). А. П. Керн поддерживала знакомство с Подолинским в течение многих лет. *Щастный* Василий Николаевич (1802—после 1854) – поэт, переводчик и журналист. Известностью пользовались его переводы из «Крымских сонетов» Мицкевича, с которым он познакомился в 1828 году, вероятно у Дельвига; был постоянным посетителем дельвиговских вечеров и активно сотрудничал в «Северных цветах» и «Литературной газете»; переведенное Щастным стихотворение А. Мицкевича «Фарис» написано в 1828 году и посвящено И. И. Козлову.

[48]*Голицын* Сергей Григорьевич, кн. (1803–1868) – музыкант и поэт-дилетант, бывший в дружеских отношениях с М. И. Глинкой.

Тесное дружеское общение М. И. Глинки (1804–1857) с А. А. Дельвигом и его кругом относится к 1828–1829 годам. В своих «Записках» Глинка рассказывает: «Летом того же 1828 года Михаил Лукьянович Яковлев, композитор известных русских романсов и хорошо певший баритоном, познакомил меня с бароном Дельвигом, известным нашим поэтом. Я нередко навещал его; зимою бывала там девица Лигле, мы играли в 4 руки. Барон Дельвиг переделал для моей музыки песню «Ах ты, ночь ли, ноченька…», и тогда же я написал музыку на слова его же «Дедушка, девицы раз мне говорили…»; эту песню весьма ловко певал М. Л. Яковлев». (Глинка М. И. Литературное наследие. Т. 1. С. 110). Рассказывает Глинка и о посещении Дельвига на даче летом 1829 года, и о совместной поездке в середине того же лета на Иматру.

[49]*Мицкевич* Адам (1798–1855) был выслан из Польши в Центральную Россию под надзор полиции в 1824 году и с конца 1827 года до отъезда за границу весною 1829 года жил в Петербурге. В это время он близко сошелся с Пушкиным, Дельвигом и их кругом, был постоянным посетителем

дельвиговских литературных собраний.

[50] Стихотворение Подолинского «Портрет» посвящено А. П. Керн; в 1828 году оно было вписано автором в ее альбом. Впервые опубликовано в альманахе «Подснежник», 1829.

На стихотворение Подолинского Пушкин сочинил пародию, которую тогда же, в 1829 году, записал в тот же альбом А. П. Керн:

Когда, стройна и светлоока,
Передо мной стоит она,
Я мыслю: «В день Ильи-пророка
Она была разведена!»

Стихотворение «К», откуда А. П. Керн приводит последние шесть строк, по-видимому, также посвящено ей и написано в 1828 году.

Утверждение А. П. Керн, что Пушкин многими стихами Подолинского «восхищался», не подтверждается известными фактами.

[51] *Розен* Георгий (Егор) Федорович, барон (1800–1860) – писатель и критик, автор многочисленных лирических стихотворений и исторических трагедий. Им написано либретто оперы М.

И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). В 1828–1829 годах сблизился с кругом Пушкина – Дельвига, печатался в «Северных цветах» и «Литературной газете», часто посещал дельвиговские вечера.

[52] Пушкин уехал в Москву в начале марта 1829 года.

[53] Мать А. П. Керн – Екатерина Ивановна Полторацкая (рожд. Вульф) – скончалась в начале 1832 года.

[54] *…одна дама* – Е. М. Хитрово.

[55] Младшая дочь Керн – Ольга (род. в 1826 г.), умерла, по-видимому, в детстве.

Воспоминания о Пушкине, Дельвиге, Глинке

Написаны в 1859 году в Петербурге как продолжение «Воспоминаний о Пушкине». Впервые напечатаны в журнале «Семейные вечера» (старший возраст), 1864, N3 10, с. 679–693 под названием: «Отрывок из записок. Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке».

[1] Собрания (литературные вечера) у Дельвига в доме Кувшинникова (до конца 1829 г.), а затем Тычинкина (до 1831 г.) происходили регулярно два раза в неделю – по средам и воскресеньям.

[2]*Красный Кабачок* – трактир (ресторан) в нескольких верстах от Петербурга по Петергофской дороге. Пользовался большой популярностью среди светской столичной молодежи в конце XVIII – начале XIX века.

[3] Жена А. А. Дельвига София Михайловна, рожд. Салтыкова (1806–1888). Венчание ее с Дельвигом состоялось 30 октября 1825 года. Вскоре после смерти Дельвига она вторично вышла замуж за С. А. Баратынского, *брала* поэта.

[4]*Сомов* Орест Михайлович (1793–1833) – писатель, критик, журналист, в 1829–1831 годах ближайший помощник Дельвига по изданию «Северных цветов» и «Литературной газеты».

[5] «*Дева и Роза*» и «*На смерть Веневитинова*» – одно и то же стихотворение. См. «Воспоминания о Пушкине» настоящего издания.

[6] Братья Дельвига Александр (1816–1882) и Иван (1819—?) были привезены им в Петербург вскоре после смерти отца (6 июля 1828 г.). Оба впоследствии были военными. Керн указывает возраст братьев неточно.

[7] Письмо С.М. Дельвиг написано 21 июля 1830 года. Лев Сергеевич Пушкин уехал из Петербурга 20-го, Александр Сергеевич приехал в столицу 19-го. Свадьба Пушкина с Н.Н. Гончаровой состоялась 18 февраля 1831 года.

[8] Сестра Пушкина Ольга Сергеевна (1797–1868), бывшая в дружеских отношениях с А. П. Керн, обвенчалась с Н. И. Павлищевым (против воли родителей) 27 января 1828 года.

[9] Под госпожой Н. имеется в виду сама А. П. Керн

[10] «Нам чувство дико и смешно» – строка XIV строфы второй главы романа «Евгений Онегин».

[11] Вероятно, речь идет об Анне Николаевне Вульф.

[12] Четверостишие Илличевского – пародия на

заключительную строфу стихотворения Пушкина «Демон»:

Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

[13] Надежда Осиповна Пушкина скончалась 29 марта 1836 года. Пушкин отвез ее тело в Святогорский монастырь, близ Михайловского, где уже были похоронены ее родители Осип Абрамович и Мария Алексеевна Ганнибалы, и рядом с ее могилой купил место для себя.

[14] В журнальной публикации рассказа А. П. Керн о первой встрече с М. И. Глинкой в Юсуповом саду допущена грубая ошибка: назван Александр Сергеевич Пушкин вместо Льва Сергеевича. А. С. Пушкина в 1826 году не было в Петербурге.

[15]*Базен* Петр Петрович (1783–1838) – француз, принятый на русскую службу Александром I; в 1826 году – генерал-лейтенант-инженер, директор Института инженеров путей сообщения.

[16] С Л.С. Пушкиным Глинка вместе учился в С.-Петербургском Благородном пансионе при Педагогическом институте (1818–1821 гг.).

[17]*Фильд* Джон (1782–1837) – ирландский пианист и композитор; жил в России в 1804–1834 годах.

[18] Дача, которую снимали Дельвиги летом 1829 и 1830 годов и где вместе с ними жила А. П. Керн, находилась на Петербургской стороне, на берегу Невы, у Крестовского перевоза.

[19] Прогулка на Иматру – водопад на реке Вуоксе в Финляндии– проходила 28 июня—1 июля 1829 года (А. П. Керн ошибочно называет 1830-й).

[20]*Будущие* – в терминологии подорожных того времени – люди, сопровождающие путешественника.

[21] Пансионский товарищ и земляк Глинки, с которым он жил некоторое время на одной квартире (Загородный проспект, дом Нечаева) и вместе совершил поездку на Иматру, большой любитель поэзии и музыки, сам писавший стихи, – Александр Яковлевич Римский-Корсак.

[22] Слово «фамилия» финн-таможенник понял как «семья».

[23] Е.А. Баратынский (1800–1844) в 1820–1826 годах служил в Финляндии рядовым Нейшлотского полка.

[24] Певец *Иванов* Николай Кузьмич (1810–1880) весною 1830 года вместе с Глинкой уехал в Италию для усовершенствования и отказался вернуться в Россию, несмотря на требования Николая I. С большим успехом пел в Италии, Франции и Англии.

Глинке дружеское участие в судьбе Иванова и содействие его отъезду за границу доставило серьезные неприятности.

[25] Дочь Дельвига Елизавета Антоновна родилась 7 мая 1830 года (скончалась в 1913 г.).

[26]*Нарышкин Дмитрий Львович* (1758–1838) – камергер, владелец лучшего в России оркестра роговой музыки, состоявшего из крепостных музыкантов.

[27] М. И. Глинка женился на Марии Петровне Ивановой в апреле 1835 года; брак оказался крайне неудачным, и в 1839 году Глинка оставил жену, возбудив дело о разводе. Официальный развод был им получен только в 1846 году, хотя жена его еще в 1841 году тайно обвенчалась с камер-юнкером Н.Н. Васильчиковым, скрыв, что она замужем.

[28] Капельмейстером придворной певческой капеллы М. И. Глинка служил с января 1837 года по декабрь 1839 года.

[29] Весною 1839 года Глинка влюбился в дочь А. П. Керн – Екатерину Ермолаевну (1818–1904). Особенно частые посещения Глинкой А. П. Керн, о которых она вспоминает, относятся к 1839–1840 годам. Брак М. И. Глинки и Е. Е. Керн не состоялся. В 1852 году она вышла замуж за М.О. Шокальского.

[30]*Кукольник* Нестор Васильевич (1809–1868) – поэт, романист и драматург охранительного направления, в свое время пользовавшийся большой популярностью. Глинка был в товарищеских отношениях с Кукольником и писал музыку на многие его произведения.

[31]*«Ходит ветер у ворот…»* – песня из музыки Гяинки к трагедии Н. Кукольника «Князь Даниил Дмитриевич Холмский» (1840), «*Пароход»* – «Попутная песня» (1840), «*Уснули ль голубые…»* – точно: «Уснули голубые…» – это и есть баркарола (1840).

[32] Сын А. П. Керн и Александра Васильевича Маркова-Виноградского Саша – Александр Александрович (1839–1879?).

[33] А. П. Керн с дочерью Екатериной Ермолаевной и маленьким сыном Сашей выехала из Петербурга в Лубны 10 августа 1840 года. По дороге они намеревались заехать в Тригорское к П. А. Вульф-Осиповой. М. И. Глинка сопровождал их до ст. Катежна, а оттуда направился через Смоленск в имение матери Новоспасское.

[34] Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила», задуманная еще в 1837 году, была впервые поставлена на сцене Большого театра в Петербурге 27 ноября 1842 года.

[35] Речь идет об увлечении Глинки Е. Е. Керн и намерении жениться на ней.

[36] «*Вреден север для него…»* – перефразировка стиха II строфы

первой главы романа «Евгений Онегин»: «Но вреден север для меня».

Дельвиг и Пушкин

Написано в 1859 году. Является вариантом первой части предыдущих воспоминаний о Пушкине, Дельвиге и Глинке, однако содержит ряд изменений и дополнений. Рукопись, авторизованная копия, хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинского дома). Впервые напечатано в сб. «Пушкин и его современники», 1907, вып. V.

[1] «Элегия на смерть Анны Львовны» («Ох, тетенька! ох, Анна Львовна…») – шуточное стихотворение, написанное Пушкиным и Дельвигом в апреле 1825 года в Михайловском. Тетка Пушкина Анна Львовна умерла 14 октября 1824 года.

[2] Стихотворение «Романс» написано в 1820 году и напечатано в альманахе А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева «Полярная звезда» на 1824 год.

[3] Стихотворения Е. А. Баратынского были изданы Дельвигом в 1827 году.

[4] Пародия на балладу В. А. Жуковского (перевод из В. Скотта) «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» (1822). В пародии фигурируют реальные лица – журналист и баснописец А. Е. Измайлов, журналист Н. А. Цертелев, журналисты и мелкие стихотворцы

В. Н. Олин, Б. М. Федоров, цензоры А. С. Бирюков, А. И. Красовский, К. К. фон Поль, реальные адреса – район Петербурга Пески, дом Маденова на Песках, где жил А. Е. Измайлов, Конная площадь там же.

[5]*Кок Поль де* (1794–1871) – французский романист.

[6] А. П. Керн допускает хронологическую неточность – поездка на Иматру происходила летом 1829 года, Пушкин женился в феврале 1831 года.

[7]*Ольга* – О. С. Павлищева.

[8]*Хитрово Елизавета Михайловна* (17’83—1839) – дочь М.И. Кутузова. Была в близких, дружеских отношениях с Пушкиным.

[9] Записки Е. М. Хитрово и А. С. Пушкина к Керн в переводах и комментарии к ним см. в разделе «Переписка».

[10]*Дюме* — владелец известного петербургского ресторана на Малой Морской улице (ныне – улица Гоголя).

[11] «Три повести» Н. Ф. Павлова (1805–1864) («Именины», «Аукцион», «Ятаган») вышли в 1835 году. Пушкин в рецензии, оставшейся не опубликованной при его жизни, писал: «Три повести г. Павлова очень замечательны и имели успех вполне заслуженный. Они рассказаны с большим искусством, слогом, к которому не приучили нас наши записные романисты» (*Пушкин*

А.С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 9). Встреченные одобрительно широкими кругами читающей публики, повести Павлова были признаны вредными в официальных правительственных сферах. По распоряжению Николая I переиздание книги было запрещено.

[12]*Бульвер-Литтон* Эдвард Джон (1803–1873) – английский романист и политический деятель. Его роман «Пелам, или Приключения джентльмена» стал известен в России вскоре после выхода (1828). В полном русском переводе был опубликован как приложение к той же 4-й книжке 154-го тома «Библиотеки для чтения», 1859, где напечатаны «Воспоминания о Пушкине»

А. П. Керн. Среди бумаг Пушкина, оставшихся после его смерти, сохранился план и отрывок сочинения, герой которого назван «Русский Пелам». По-видимому, поэт намеревался создать характер, близкий характеру героя романа Бульвера, и описать русское общество 20-х – начала 30-х годов, как сделал это английский романист в отношении английского общества своего времени. Фамилия Пелам встречается в незаконченных произведениях Пушкина «Роман в письмах» (1829) и «Роман на Кавказских водах» (1831).

[13]*Манцони* (Манзони) Алессандро (1784–1873) – итальянский писатель: поэт, романист, драматург, теоретик литературы романтического направления. Один из наиболее популярных его романов – «Обрученные», из жизни Италии XVII века – вышел

в 1825–1827 годах. Русский перевод, выполненный Н. И. Павлищевым, печатался в 1831 году в «Литературной газете». Отдельной книжкой вышел в 1833 году.

Три встречи с императором Александром Павловичем 1817–1820 гг.

Написано во второй половине 1860-х годов. Точная дата написания неизвестна. Местонахождение рукописи не установлено. Опубликовано в «Русской старине», 1870, т. I, изд. 3-е, с. 230–243. Текст дается по этому изданию. Редактор «Русской старины» М. И. Семевский сопроводил публикацию воспоминаний А. П. Керн следующим примечанием: «Приведенный рассказ сообщен нам по поручению его составительницы Анны Петровны Марковой-Виноградской, в первом замужестве генеральши Керн, рожденной Полторацкой. Госпожа Керн была предметом любви Пушкина, и этой страсти русская литература обязана несколькими прелестными стихотворениями, таковы: «Я помню чудное мгновенье…», «Я ехал к вам. Живые сны…» и нек. др. В IV книге Библиотеки для чтения за 1859 г. помещена статья А. П. Керн «Воспоминания о Пушкине», в ней приведено несколько документов, а именно французских писем Пушкина к предмету его пылкого увлечения. Подлинники этих весьма интересных писем ныне принадлежат редакции «Русской старины». В статьях, принадлежащих пишущему эти строки: «Прогулка в Тригорское» (напечатаны в С.-Петербургских Ведомостях, 1866 г., № 139, 146, 157, 164, 168 и 176), передано, между прочим, несколько подробностей об отношениях Пушкина к Анне Петровне Керн. Печатая ныне рассказ г-жи Марковой-Виноградской (Керн), мы не позволили себе смягчить тот порывистый, полный неостывшего увлечения тон, которым проникнут весь рассказ; уже сам по себе, помимо некоторых, хотя и мелких, но небезынтересных подробностей для обрисовки русского общества двадцатых годов, самый этот тон рассказа ныне преклонных лет представительницы тогдашнего общества весьма характеристичен».

[1] Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» впервые был частично опубликован в журн. «Русский вестник», 1865–1866. Первое отдельное издание вышло в 1868–1869 годах.

[2] *Сакен* Роберт Вильгельмович (1752–1837) – фельдмаршал русской армии.

[3] *Тутолмин* Павел Васильевич (1773–1837) – полтавский губернатор.

[4] *Сухозанет* Иван Ануфриевич (1788–1861) – артиллерийский генерал, позднее – генерал-адъютант, директор военной

академии.

[5]*Орлов* Алексей Федорович, гр. (1786–1862) – генерал-адъютант, принимал активное участие в подавлении восстания Семеновского полка в 1820 году и восстания декабристов; с 1844 года – шеф жандармов, с 1856 года – председатель Государственного совета.

[6]*Семейство Раевских:* генерал Николай Николаевич Раевский, герой Отечественной войны 1812 года (1771–1829), в 1815–1824 годах командовал 4-м пехотным корпусом в Киеве; его жена София Алексеевна, рожд. Константинова, внучка Ломоносова (1769–1844); дочери – Екатерина (А. П. Керн ошибочно называет ее Ниной) (1797–1885), жена декабриста генерала М.

Ф. Орлова; Елена (1803–1852); Мария (1805–1863), жена декабриста кн. С. Г. Волконского, последовавшая за ним в Сибирь; София (1806–1891); сыновья – Александр (1795–1868) и Николай (1801–1843). Общение с семьей Раевских оставило заметный след в жизни и поэзии Пушкина.

[7]*Дубельт* Леонтий Васильевич (1792–1862) – генерал, впоследствии (с 1835 г.) начальник штаба корпуса жандармов и (с 1839 г.) управляющий III отделением.

[8]*Мертваго* Варвара Марковна, рожд. Полторацкая, – сестра отца А. П. Керн; с 1804 года была замужем за сенатором Дмитрием Борисовичем Мертваго, автором «Записок» (М., 1867).

[9]*Волконский Петр* Михайлович, кн. (1776–1852) – генерал-адъютант, министр двора.

[10]*Полторацкий* Дмитрий Маркович (1761–1818) – старший брат отца А. П. Керн; жена его – урожд. Хлебникова, Анна Петровна (1772–1842).

[11] Н. М. Карамзин был женат вторым браком на Екатерине Андреевне Колывановой (1780–1851), единокровной сестре кн.

П. А. Вяземского. С лицейских лет и до конца жизни Пушкин питал к ней особую привязанность. Она была среди тех ближайших друзей поэта, с кем он пожелал проститься перед смертью.

[12]*Афросимова* (Офросимова) Анастасия Дмитриевна в конце XVIII – начале XIX века пользовалась особым весом в кругах московского и петербургского «света». Она послужила прототипом Марьи Дмитриевны Афросимовой в романе Л. Н. Толстого «Война и мир», а еще раньше – Анфисы Ниловны Хлестовой в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

[13]*Тетка* – Прасковья Александровна Вульф-Осипова.

[14]*Мойер* Мария Андреевна, рожд. Протасова (1793–1823), – племянница В. А. Жуковского, предмет его многолетней любви и источник поэтического вдохновения. Муж ее – Мойер Иван

Филиппович (1786–1858), профессор хирургии Дерптского университета. Мать ее – Протасова Екатерина Афанасьевна, рожд. Бунина (1771–1848), единокровная сестра В. А. Жуковского.

[15]*Кайсаров* Василий Сергеевич (1783–1844) – в 1805 году адъютант М. И. Кутузова, позднее – генерал, занимавший видные командные посты в русской армии.

[16]*Паулучи* Филипп Осипович, маркиз (1779–1849) – генерал-губернатор Прибалтийского края; в 1824–1826 годах осуществлял наблюдение за ссыльным Пушкиным, так как в его ведении находилась и Псковская губерния.

Из воспоминаний о моем детстве

Эти последние воспоминания А. П. Керн (Марковой-Виноградской) написаны в 1870 году в Лубнах. Впервые опубликованы в 1884 году в журнале «Радуга», N5 18, 19, 22, 24, 25, под названием «Сто лет назад» и в том же году в «Русском архиве», кн. 3, под названием «Из воспоминаний о моем детстве».

[1]*Вулъф Иван Петрович* (…– 1817) – в то время, о котором повествует А. П. Керн, – тайный советник, после кратковременного губернаторствования в Орле доживающий свой век в

богатом родовом имении Берново Старицкого уезда Тверской губернии.

[2]*Вулъф,* рожд. *Муравьева, Анна Федоровна* (…—1810).

[3]*Полторацкая,* рожд. Вульф, *Екатерина Ивановна* (1781–1832) – старшая дочь И. П. и А. Ф. Вульфов.

[4]*Полторацкий Петр* Маркович (1775 – после 1851) женился на Екатерине Ивановне Вульф в 1799 году. Служил по дипломатической части, но рано вышел в отставку. Большую часть жизни прожил в Лубнах Полтавской губернии, где владел несколькими деревнями и семьюстами душами крепостных крестьян, выделенных ему матерью, А. А. Полторацкой. С П. М. Полторацким был знаком Пушкин – они встречались в Петербурге и в тверских имениях Вульфов. О нем в середине ноября 1828 года Пушкин писал А. А. Дельвигу (см.: Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 14. С. 34).

[5]*Полторацкий Марк Федорович* (1729–1795) – из мелких украинских дворян. Обладая прекрасным голосом, был замечен гетманом Украины графом К. Г. Разумовским и привезен в Петербург. Позже состоял директором придворной певческой капеллы. Вторым браком был женат на А. А. Шишковой.

[6] Полторацкая, рожд. *Шишкова, Агафоклея Александровна* (… —1822) – прославилась огромным богатством (по некоторым данным, к концу жизни она владела тринадцатью тысячами душ) и чрезвычайной жестокостью в обращении как со своими крепостными рабами, так и с детьми, которых у нее было более двадцати человек.

[7]*Вульф Николай Иванович* (1771–1813) – один из четырех сыновей И. П. и А. Ф. Вульфов. Служил в гвардии. Вышел в отставку в 1798 году в чине поручика. В 1799 году женился на Прасковье Александровне Вындомской и с тех пор жил в своем наследственном имении Малинники или в псковском имении жены Тригорском.

[8]*Вревская,* рожд. Вульф, *Евпраксия* Николаевна (1809–1883) – младшая дочь Н. И. и П. А. Вульфов. С 1831 года замужем за бароном Б. А. Вревским, товарищем Льва Пушкина по университетскому Благородному пансиону. А. С. Пушкин, познакомившись с Евпраксией Николаевной («Зиной», «Зизи», как звали ее в семье) в Тригорском, когда она была еще девочкой, сохранил с нею до конца жизни самые добрые, дружеские отношения, встречался в Петербурге, навещал в имении Вревских Голубово (20 верст от Михайловского). Е. Н. Вульф посвящены стихотворения Пушкина «Если жизнь тебя обманет», «Зине», она упоминается в романе «Евгений Онегин» и неоднократно в письмах поэта.

[9]*Муравьев-Апостол Иван Матвеевич* (1768–1851) – писатель, член Российской академии, дипломат; отец декабристов М. И., И. И., С. И. Муравьевых-Апостолов.

[10]*Муравьев Михаил Никитич* (1757–1807) – писатель, член Российской академии, товарищ министра народного просвещения и попечитель Московского университета, отец декабристов Никиты и Александра Муравьевых.

[11]*Куракин Алексей Борисович,* кн. (1759–1829) – генерал-губернатор Малороссии, позже – министр внутренних дел.

[12]*Кочубей Виктор Павлович,* гр. (1768–1834) – министр внутренних дел, позже – председатель Государственного совета и Комитета министров.

[13]*Лобанов-Ростовский* Яков Иванович, кн. (1760–1834), был генерал-губернатором Малороссии после кн. Куракина, с 18Q8 по 1816 год.

[14]*Мелиссино* Алексей Петрович (1761–1813) – генерал-майор, убит в сражении под Дрезденом 26 августа 1813 года.

[15]*Львов* Федор Петрович (1766–1836) – литератор, директор придворной певческой капеллы в 1826–1833 годах.

[16]*Богданович* Ипполит Федорович (1743–1803) – поэт. Его «Душенька, древняя повесть в вольных стихах» пользовалась в свое время большой популярностью.

[17] Грамматика французского языка Ломонда вышла в 1780 году и считалась лучшей.

[18]*Жанлис* Стефани-Фелисите де (1746–1830) – французская романистка и автор нравоучительных книг для детей, пользовавшаяся в начале XIX века большой популярностью в России.

[19]*Дюкре-Дюменилъ* Франсуа-Гийом (1761–1819) – французский романист сентиментального направления.

[20]*Муравьев Николай Александрович* (1787–1838) – капитан 1-го ранга, сын А. Ф. Муравьева, петербургского обер-полицмейстера.

[21]*Муравьева,* рожд. Колокольцева, *Екатерина Федоровна* (1771–1848) – жена М. Н. Муравьева, мать декабристов Н. М. и А. М. Муравьевых.

[22]*Муравьев Никита* Михайлович (1796–1843) – сын М. Н. и Е. Ф. Муравьевых, один из руководителей Северного тайного общества декабристов.

[23]*Муравьев Александр* Михайлович (1802–1858) – младший брат предыдущего, декабрист.

[24]*Растопчин* Федор Васильевич, гр. (1763–1826) – генерал-губернатор Москвы в 1812 году.

[25] Вульф, по мужу Понофидина, *Анна Ивановна* (1784–1873) – сестра матери А. П. Керн. Пушкин был знаком с Понофидиными и, по преданию, бывал у них в имении Курово-Покровское, в нескольких верстах от Бернова и Малинников.

[26]*Муравьев Михаил Николаевич* (1796–1866) – впоследствии граф Муравьев-Виленский, ярый реакционер, прозванный «Вешателем».

[27]*Безобразова,* рожд. Полторацкая, Елизавета Павловна – двоюродная сестра А. П. Керн, дочь ее дяди – Павла Марковича Полторацкого.

[28] «*Две горлицы покажут…»* – строки из стихотворения Н. М. Карамзина «Доволен я судьбою…».

Дневник для отдохновения, посвященный Феодосии Полторацкой, лучшему из друзей

Этот «Дневник» А. П. Керн вела летом, с 23 июня по 30 августа 1820 года, в Пскове, где Е. Ф. Керн командовал бригадой. Частями она отправляла рукопись по почте в Лубны, к тетке (двоюродной сестре отца) Феодосии Петровне Полторацкой, которой «Дневник» посвящен и в виде обращения к которой сделаны все записи. Отсюда нумерация отдельных частей (40 нумеров). Позднее все части были переплетены в одну тетрадь, содержащую 76 листов, исписанных с обеих сторон. Тетрадь эта ныне хранится в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома), в составе фонда Марковых-Виноградских.

Записи свои Керн вела по-французски, но нередко перемежала французский текст русскими фразами и целыми страницами. «Дневник» опубликован полностью в переводе на русский язык впервые в издании: Керн А. П. Воспоминания. – М.: Academia, 1929. С. 73—241; затем: А. П. Керн. Воспоминания. Дневники. Переписка. – М.: Худож. лит., 1974, в новом, дополненном и исправленном переводе А. Л. Андрес.

Не сохранилась часть выписок, которые были сделаны Керн на отдельных листах.

[1] «*Язык цветов!*» – условный язык, использующий названия цветов с определенным значением для выражения чувств. Был распространен среди дворянской молодежи тех лет и позже. А. П. Керн в своем дневнике прибегает к нему довольно часто. Так, Шиповником, а затем Иммортелем она называет предмет своей романтической любви – молодого офицера, с которым познакомилась в Лубнах, Желтой Настурцией – дружески расположенного к ней офицера Кира Ивановича.

[2]*Кир Иванович* – офицер, знакомый А. П. Керн еще по Лубнам, однополчанин и приятель «Иммортеля».

[3] Особа, о которой идет речь, вероятно, женщина, привезенная из Лубен для ухода за ребенком.

[4] «*Трумф, или Подщипа*» – комедия И. А. Крылова (1800), сатира на павловское царствование. Широко распространялась в списках.

[5] «*Мой друг-хранитель…*»—из стихотворения В. А. Жуковского «Песня» (1808), переложение стихотворения того же названия французского поэта Фабра д'Эглантина (1750–1794).

[6]*Лаптев* Василий Данилович (1760–1825) – генерал, командир дивизии. Другие генералы, неоднократно упоминаемые Керн: *Гиль-фрейхт* Богдан Борисович (1773–1843), *Ротт* Логин Осипович (1780–1851).

[7]*Магденко* — полковник, служивший с Керном в Лубнах и Пскове.

[8]*Поль* – маленький брат А. П. Керн.

[9]*Коцебу* Август Фридрих (1761–1819) – немецкий драматург и романист. Произведения его в большом количестве переводились на русский язык и пользовались широкой известностью. Реакционный политический деятель, Коцебу был убит студентом Зандом.

[10] Псковским губернатором в 1820 году был Б. А. Адеркас. В 1824–1826 годах с ним приходилось иметь дело ссыльному Пушкину.

[11] Вероятно, Анна Петровна ранее ездила из Пскова в Лубны.

[12]*Фонтенель* Бернар (1657–1757) – французский писатель.

[13]*Катенька* – дочь А. П. Керн, Екатерина Ермолаевна.

[14]*Керн П.* – племянник Е. Ф. Керна.

[15]*Беннигсен* – графиня, жена гр. Л. Л. Беннигсена (1745–1826), начальника штаба русской армии в 1812 году.

[16]*Пьенн* – французская писательница. Ее роман «Два друга» вышел в 1810 году.

[17]*Сталь* Анна-Луиза-Жермена де (1766–1817) – французская писательница и публицистка. Ее книга «О Германии» («De l'Allemagne») вышла в 1810 году.

[18] Резиденцией псковского архиерея был Снетогорский монастырь на берегу Великой, в трех верстах от города.

[19]*Поль* – здесь, вероятно, имя того офицера, которого А. П. Керн обычно называет Иммортелем.

[20] «Je t'aime tant…» – первая строка стихотворения Фабра д'Эглантина «Песня», переведенного В. А. Жуковским («Мой друг-хранитель, ангел мой…»).

[21]*Йорик* – герой «Сентиментального путешествия» и «Писем Йорика к Элизе» Л. Стерна.

[22]*Бухарина* – сестра Ф. П. Полторацкой, двоюродная сестра отца А. П. Керн.

[23] Дочь П. А. Вульф-Осиповой – Мария Ивановна Осипова (1820–1895).

[24] Тетушка Дарья Петровна Полторацкая, по мужу Маркова-Виноградская, – двоюродная сестра П. М. Полторацкого, мать второго мужа А. П. Керн – А. В. Маркова-Виноградского.

[25]*Сен-Пре* — герой романа Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) «Новая Элоиза».

[26]*Флешье* Эспри (1632–1710) – французский духовный оратор и писатель.

[27]*Стерн* Лоренс (1713–1768) – английский писатель, автор широко известных в России книг «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» и «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии».

[28] «*Гений христианства*» – к нига Франсуа-Рене Шатобриана (1768–1848), французского писателя-романтика.

[29]*Лабрюйер* Жан-Батист (1645–1696) – французский писатель. Его «Характеры, или Нравы этого века» вышли в 1688 году.

[30]*Озеров* Владислав Александрович (1769–1816) – автор трагедий, весьма популярных в начале XIX века.

[31]*Сюар* Жан-Батист ‘(1733–1817) – французский писатель и журналист.

[32]*Севинъе* Мари (1626–1696) – французская писательница. Широкую известность приобрели ее «Письма».

Письма А. П. Керн к Пушкину и Пушкина к А. П. Керн

Печатаются по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13, 15, 16. М.: АН СССР, 1937, 1948, 1949.

Автографы в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома). Фонд 244 (Пушкин).

А. Г. Родзянко и А. П. Керн – Пушкину.10 мая 1825 года из г. Лубны в Михайловское

[1]*Амадис* — герой испанского рыцарского романа.

[2]*Оберон* – персонаж комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь», царь фей и эльфов.

Пушкин – А. П. Керн.13 и 14 августа 1825 года из Михайловского в Ригу.

[1]*Нетти* – Анна Ивановна Вульф, по мужу Трувеллер, двоюродная сестра А. П. Керн, дочь ее дяди по матери Ивана Ивановича Вульфа. Жила в Бернове и Петербурге, откуда приезжала гостить в Тригорское к тетке П. А. Вульф-Осиповой и двоюродной сестре Ан. Н. Вульф. Там познакомилась с Пушкиным; была с ним в переписке; Пушкин посвятил ей шуточное стихотворение «За Netty сердцем я летаю…». В 1835 году умерла от родов.

[2]*Кузина* – Анна Николаевна Вульф.

[3]*Кузен*—Алексей Николаевич Вульф.

Пушкин – А. П. Керн.21(?) августа 1825 года из Михайловского в Ригу – т. 13, с. 212–213 и 545–546 (перевод с французского).

Пушкин – А. П. Керн.28 августа 1825 года из Михайловского в Ригу. Приложенное письмо якобы «тетушке» – П. А. Вульф-Осиповой фактически предназначалось также А. П. Керн.

[1]*Северная Нетти* – А.П. Керн.

Пушкин и Анна Н. Вульф – А. П. Керн.8 декабря 1825 года из Тригорского в Ригу.

[1] Издание сочинений Байрона в переводах на французский язык, 4-е (1822–1825) или 5-е (1822).

[2]*Гюльнара и Лейла* – героини поэм Байрона «Корсар» и «Гяур».

[3] Смерть Александра I.

Анна Н. Вульф и А. П. Керн – Пушкину. 16 сентября 1826 года из Петербурга.

[1] Пушкин был увезен из Михайловского в Москву присланным за ним фельдъегерем 4 сентября 1826 года.

[2] Под *богдыханом* А. Н. Вульф подразумевает Николая I, находившегося в Москве по случаю коронации. Там 8 сентября произошла его встреча с Пушкиным.

Алексей Н. Вульф, Анна Н. Вульф и Пушкин – А. П. Керн. 1 сентября 1827 года из Тригорского в Петербург.

[1] Вид Тригорского, рисованный Пушкиным, до нас не дошел.

Пушкин – А.П. Керн. Май 1833 – март 1836 года в Петербурге.

[1]*Арендт* Николай Федорович (1785–1859) – известный врач-хирург, лейб-медик Николая I; лечил Пушкина после дуэли, 27–29 января 1837 года.

[2]*Бабушка и дедушка* – Н. О. и С. Л. Пушкины.

Е. М. Хитрово и Пушкин – А. П. Керн. 1830-е годы. Петербург.

Три записки Е. М. Хитрово и Пушкина к А. П. Керн были включены ею в воспоминания о Дельвиге и Пушкине и впервые напечатаны в 1907 году в сб. «Пушкин и его современники», вып. V. Здесь печатается по академическому Полному собранию сочинений Пушкина, т. 16. Записки связаны с хлопотами (не давшими положительных результатов) Е. М. Хитрово и Пушкина о возвращении А. П. Керн имения, проданного ее отцом, П. М. Полторацким, графу Шереметеву. Хлопоты эти относятся к середине 1830-х годов (после смерти в 1832 г. матери Анны Петровны – Е. И. Полторацкой). Сами записки не датированы.

К этим трем запискам здесь присоединены еще две, написанные самой Е. М. Хитрово, но относящиеся к тому же времени и посвященные той же теме.

Дочь Е. М. Хитрово, о которой идет речь, – Дарья Федоровна Фикельмон; *малютка* – внучка Е. М. Хитрово, дочь Д. Ф. Фикельмон.

notes

Примечания

1

Шарады (*фр.*).

2

А роль змеи, как видно, предназначается этому господину? (*фр.*)

3

Можно ли быть такой хорошенькой! (*фр.*)

4

Я раздумал (*фр.*)

5

Ты произвела сильное впечатление на Пушкина во время вашей встречи у Олениных; он всюду говорит: она была ослепительна (*фр.*).

6

Промелькнувший перед нами образ, который мы видели и никогда более не увидим (*фр.*).

7

«Простите за откровенность» и «Я весьма дорожу вашим мнением» (*фр.*).

Волкодавами (*фр.*).

9

До чего же я был неучтив сегодня! (*фр.*)

10

Чудесно! Чудесно! (*фр*.)

11

Я люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо (*фр.*).

12

Мой милый Пушкин, будьте же гостеприимны и покажите госпоже ваш сад (*фр.*)

13

Вы выглядели такой невинной девочкой; на вас было тогда что-то вроде крестика, не правда ли? (*фр.*)

«Пусть благословенна будет мать» (*ит.*).

15

Здесь и далее курсивом выделен текст, в оригинале написанный по-французски

16

Написано в моем изгнании (*фр.*).

17

Любовь, изгнание (*фр*.).

18

Увеселительные прогулки (*фр.*).

19

Кутеж (*фр.*).

20

Немножко развязно (*фр*.).

21

Ну, как здесь идут дела? (*фр.*)

22

Штаб (*фр.*).

23

Да здравствует Александр! Гордость нашего века (*ит.*).

24

От *фр*. prude – приторно добродетельный, преувеличенно стыдливый, неприступный.

25

Написано П. Керном (*Примеч. А. П. Керн.*)

Тоже. (*Примеч. А. П. Керн*)

27

Написано Е. Ф. Керном. (*Примеч. А. П. Керн.*)

28

Отсутствующие всегда не правы (*фр.*).

29

Последние несколько слов написаны поперек письма в разных направлениях.

30

В подлиннике – игра слов: maitresse *(фр.)* значит – и хозяйка, госпожа самой себе, и любовница.

31

Это фраза написана из угла в угол письма – по диагонали.

(Ошибся, левая). *(Примеч. Ал. Н. Вульфа.)*

33

<Алексей Н. Вульф> кои для меня столь же вкусны, как для тебя пироги яблочные.

34

И это из чувства симпатии, увидев в моем письме, что ты ела пирожные, и он ест орехи и яблоки и проч. и проч. *(фр.)*.

35

Прощайте, прекрасная *(фр.)*.